Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 2
1988

Владимир ВЫСОЦКИЙ. Стихи

Анатолий ЖИГУЛИН. «Черные камни». Автобиографическая повесть

Даниил ГРАНИН. «Запретная глава». Рассказ

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Б. Л. ВАННИКОВ. «Записки наркома»

А. Д. ЛИЗИЧЕВ, генерал армии. «Социалистическая армия и литература»

Статьи **О. ЛАЦИСА, И. ДЕДКОВА, Л. ЛАЗАРЕВА**

Знамя, 1988, № 1, 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Январь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга первая
ЯНВАРЬ
1988

Москва
Издательство
«Правда»

Содержание

Михаил Шатров

ДАЛЬШЕ... ДАЛЬШЕ... ДАЛЬШЕ!

АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ, ПРОИСШЕДШИХ 24 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОЗЖЕ

Людям Октябрьской революции посвящаю

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мы хотим говорить с теми, кто в октябре 17-го года и значительно позже стояли на авансцене Истории, пусть и по разные стороны баррикад.

Мы хотим дать им возможность говорить с нами.

Мы хотим увидеть себя в зеркале Революции, а Революцию — в каждом прожитом нами дне.

Всегда ли голос Революции — чистый и мощный — звучал в полную силу? Когда и почему он становился придавленным и еле слышным? Как мы давали заглушать его? И как нам удалось, несмотря на все это, совершить то, что совершили?

Мы хотим вопрошать прошлое, чтобы двинуться вперед, ничего на этот раз не оставляя за спиной.

Итак, с нами будут говорить...

КОРНИЛОВ, СВЕРДЛОВ, СТРУВЕ, СПИРИДОНОВА, МАРКОВ, КЕРЕНСКИЙ, ТРОЦКИЙ, СТАЛИН, ПЛЕХАНОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЛУКОМСКИЙ, ДЗЕРЖИНСКИЙ, ЗИНОВЬЕВ, КАМЕНЕВ, МАРТОВ, ДЕНИКИН, ДАН, КРУПСКАЯ, БУХАРИН, ФОФАНОВА, РАХЬЯ, ЛЕНИН, а также РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ и полковник ПОЛКОВНИКОВ

Открывается занавес. Полукругом стоят 22 легких кресла, которые займут, выйдя на сцену, наши герои. Один за другим появляются:

Корнилов. Я, генерал Лавр Корнилов, в годину смуты и общего развала, вызванного слюнявыми либералами, повернул войска против Питера, чтобы загнать стадо в стойло, и не преуспел в этом из-за предательства Керенского. Настоящим заявляю: раскаяния не ведаю, корю себя не за выступление, а за мягкость и половинчатость при его осуществлении. 24 октября 17-го года застало меня в Быхове, в женской гимназии, превращенной в тюрьму для выдающихся генералов русской армии — моих соратников по выступлению.

Свердлов. Яков Свердлов, большевик. Погиб на втором году революции по глупой случайности — «испанка», грипп... Тридцати четырех лет... 24 октября был в Смольном. По-моему, в этот день я так оттуда никуда и не вышел, хотя рвался на Сердобольскую в квартиру Фофановой, где мы укрывали Владимира Ильича. В Центральном Комитете по поводу восстания единой точки зрения не было, а счет шел на секунды.

Струве. Петр Бернгардович Струве, философ, экономист, одногодок Ульянова-младшего. В молодости грешил марксизмом, сотрудничал с Лениным, имел неоднократное удовольствие делить с ним трапезу. Моя мачеха Калмыкова была его ярой поклонницей, и он у нас

столовался. Я даже на его «Искру» дал 5 рублей, а может, и больше. Отрезвил 1905 год. Большевизия для меня — смесь русской сивухи с пойлом из Карла Маркса. Помогал Корнилову, Деникину, Врангелю. И дальше, в эмиграции,— тем, кто был рядом. Одинаково сильно ненавидел и Керенского, и Милюкова.

Умирал в 44-м в Париже грустно — Сталин колотил немцев, надеяться, казалось, было не на что. Иные из наших смирились с ним, какая разница, говорили, как будет Царь всея Руси называться — Генеральный секретарь или еще как. Империю расширил, земли отошедшие вернул, войну выигрывает, Россия второй державой мира становится... Я в перекрашенную большевизию не верю.

24 октября, когда еще можно было все повернуть, я в Питере объяснял, умолял, уговаривал, да никто не слушал. По ним колокол звонил, а они и его не слышали.

Спиридонова. Мария Спиридонова, член ЦК левых эсеров, из дворян. В революционном движении с юности, в 22 года, в 1906-м, стреляла в царского сатрапа, была схвачена жандармами, изнасилована. Прошла тюрьмы, этапы, каторгу. До и после Октябрьской революции стояла на позиции сотрудничества с большевиками и разделения с ними государственной власти. Развел нас Брестский мир, хотя лично я сначала разделяла позицию Ленина. 6 июля 18-го года руководила восстанием нашей партии против большевиков. Была арестована, приговорена к одному году условно, затем амнистирована. С 21-го года по 37-й — непрерывная цепь арестов и ссылок, хотя от политической деятельности я отошла, работала бухгалтером. Последний раз была арестована в Уфе. Обвинили в подготовке покушения на правительство Башкирии. Правда, в связи с тем, что все это правительство через несколько дней тоже оказалось в соседних камерах, заменили подготовкой покушения на Ворошилова, если бы он вдруг надумал приехать в Уфу.

Наблюдая за тем, кем и как заполняются камеры, поняла, что произошел антисоветский переворот. Свидетельствовать на процессе Бухарина, что наше июльское восстание было результатом сговора с ним, отказалась. Мои коллеги по Центральному Комитету Камков и Карелин не выдержали и такие показания на суде дали. В 1941 году за несколько часов до прихода немцев в Орел была расстреляна вместе с большевиком Христианом Раковским.

24 октября 17-го года была в Питере, в Смольном, помогала Военно-революционному комитету, куда наша партия входила вместе с большевиками.

Марков. Марков, Сергей Леонидович, генерал-лейтенант, начальник штаба Юго-Западного фронта, был арестован и препровожден в Быхов. После победы в Петрограде жидо-масонского заговора ушел на Дон, где командовал 1-м офицерским полком, а позже дивизией в составе Добровольческой армии. Убит в 18-м году. Со всем заявленным здесь генералом Корниловым полностью солидарен.

Керенский. Я, Александр Федорович Керенский, хочу говорить с вами с высоты прожитых мною восьмидесяти девяти лет. Увы! Я отпраздновал этот день рождения в полном одиночестве. В 1970 году никого из участников октябрьских эксцессов, кроме меня в Нью-Йорке и Молотова в Москве, уже не осталось.

Я пережил Ленина на полвека и своими глазами видел, чем обернулись для России организованные им похороны Февральской революции, февральской демократии, олицетворением которых в глазах народа был тогда я. Да, да, я был воплощением надежд и чаяний русского народа, связанных с демократией. Если хотите, Февральская революция победила только потому, что в Петрограде был я и не было Ленина, а проиграла... *(Повернулся к Корнилову).* Проиграла потому, что Корнилов... эта марионетка в руках безответственных промышленных кругов, заурядный армейский генерал, которого я поднял так высоко... возомнил себя спасителем России. Это он совершил преступление, разрушил единый фронт армии и власти против большевизма... Говорю это вам горько и искренне.

Корнилов *(перебивает).* Так же искренне, как в сентябре 17-го *(читает из старой газеты):* «Я никогда не сомневался в любви Корнилова к Родине. Не в злой воле, а в малом знании и в великой политической неопытности причина его поступков, грозивших государству немалыми потрясениями. Он должен быть казнен, но, когда это случится, я приду на могилу, принесу цветы и преклоню колена перед русским патриотом».

Струве. А что вы хотите от 90-летнего маразматика? Он ничего не знает, а то, что знает,— путает.

Свердлов. На совести этого демократа...

Керенский *(запальчиво).* Вам ли говорить о демократии! Начали с разгона Учредительного собрания, а чем кончили? Вы в 70-м году выгнали из «Нового мира» Александра Трифоновича Твардовского! Еще один признак расцвета вашей демократии?

Свердлов. Не понял. Это к чему?

Керенский. А это к тому, что я буквально до последнего своего вздоха внимательно следил за вашей жизнью и знаю все. Расчеты на мою неосведомленность тщетны! Я следил за всем! Я не генерал Корнилов, которому содержание газет докладывал вестовой, и то не каждый день. В библиотеке конгресса я читал и анализировал все, в том числе и записки друзей Струве, которые популярно объяснили, почему этот господин всегда брызгал слюной при имени Ленина,— ренегаты действительно всегда ненавидят и боятся своего прошлого.

Струве. Был фигляром — фигляром и остался.

Керенский. 24 октября 17-го года я, Министр-Председатель, Верховный Главнокомандующий, как обычно, был на посту в Зимнем дворце в бывшем кабинете Александра III.

Троцкий. Я, Бронштейн, Лев Давидович, партийный псевдоним Троцкий, сын, наверное, единственного в России еврея-помещика. В 18-м году отец, потеряв все свое состояние, навестил меня в Кремле. Для этого ему пришлось 200 километров от Херсона до Одессы пройти пешком. Все, что он думал обо мне, он выразил одной фразой: «Отцы трудятся, трудятся, чтобы заработать что-нибудь на старость, а потом дети делают революцию...» В революционном движении с 1896 года, с семнадцати лет. Участник II съезда партии, примыкал к меньшевикам, затем 15-летняя полемика с Лениным... В 1905 году один из руководителей первой русской революции, председатель Петроградского Совета рабочих депутатов, арестован, судим, приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь, бежал и эмигрировал. В 17-м году после Февраля вернулся, думал, что придется мне учиться у революции, но оказалось, что учителей явно не хватает, и мне самому пришлось учить революцию. В августе я вошел в большевистскую партию, на VI съезде был избран членом ЦК. Осенью снова стал председателем Петросовета, после Октября — наркомом по иностранным делам, наркомвоен, председатель Реввоенсовета республики. Глубокие разногласия с Лениным по коренным вопросам теории и политики, которые вылились позднее в его фразу о моем «небольшевизме», имели место. Глубочайшие разногласия со Сталиным и партией, которые вылились позднее в мое изгнание из страны,— тоже реальность. Моя деятельность за рубежом по созданию IV Интернационала в противовес III — это не выдумка, все это было, как было и многое другое в

этом плане. Я — солдат Мировой Революции, без колебаний отдаю себя на суд потомков.

Единственно, чего не было и быть не могло никогда и что я с презрением отвергаю,— не было разведок, не было никаких контактов со спецслужбами, кроме, пожалуй, одного-единственного... *(Помолчав.)* 20 августа 1940 года у себя в кабинете ударом ледоруба по затылку я был смертельно ранен неким Джексоном, под именем которого действовал испанец Рамон Меркадер... Справило свой бал сатанинское чувство мести.

Сталин. Возмездие не месть, возмездие всегда справедливо. Мы, большевики, всегда стояли на почве этой моральной категории. Что касается нашего испанского товарища Рамона Меркадера, то его роль проста и понятна: он привел в исполнение приговор пролетарского суда.

Троцкий. Вы убили меня даже без видимости суда, Сталин!

Сталин. Мы не собираемся связывать себе руки формальными соображениями, буржуазными моральными категориями, когда речь идет о безыдейной банде шпионов и убийц, давно переставших быть политическим течением в рабочем классе. *(Залу.)* Представляться мне не надо. И вехи моего пути здесь не забыты. Главная из них — я выиграл войну, которой не знала история человечества, сохранил ленинское наследие, построил социализм. Из этого и прошу исходить.

Керенский. Господин Генералиссимус, 7 ноября 1918 года, в первую годовщину октябрьских эксцессов, в газете «Правда» вы писали, что «вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством товарища Троцкого, которому партия обязана прежде всего и главным образом». В 24-м году вы утверждали, что Троцкий вообще никакой особой роли в октябрьском восстании не играл и играть не мог. А в 38-м году, в «Кратком курсе истории ВКП(б)», вы объявили себя фактическим руководителем восстания. Где же правда, господин Генералиссимус?

Сталин. Чем скорее пролетариат забудет о некоторых услугах, оказанных ему этим господином, тем будет лучше.

Плеханов. Плеханов, Георгий Валентинович... Вся жизнь до последнего вздоха отдана русскому рабочему классу, идее социализма. 24-е октября... Канун самого трагического дня моей жизни, когда Ленин повел рабочих на авантюру. Для человека, отдавшего жизнь пропаганде марксизма в России, это был крах... После случившегося я не прожил и года... Мне было всего лишь 62...

Орджоникидзе. Орджоникидзе, Григорий Константинович. В партии с 1903 года. С 26-го кандидат, а потом член Политбюро. Друг Сталина. В 22-м, когда мы занимались образованием СССР и я в Грузии представлял Москву, совершенно глупо вспылил и ударил товарища по партии — знаменитое грузинское дело. Ленин предложил исключить меня из партии на 2 года, чтобы никому не повадно было превращаться в Держиморду. Сталин меня от этой кары спас. Вопрос, который меня сегодня волнует,— проблема сопротивления большевика неправде: где та мера, которая не даст выйти за рамки большевизма?

Лукомский. Лукомский, Александр Сергеевич, 1863—1936, генерал-лейтенант, сподвижник генерала Корнилова, позднее — эмигрант. Изложенное здесь Лавром Георгиевичем разделяю полностью.

Дзержинский *(польский акцент)*. Феликс Дзержинский, поляк, из дворян, в революционном движении с 1892 года.

Пленум ЦК 20 июля 26-го года был для меня последним. Врачи меня предупредили, что выступать нельзя категорически... Но Троцкий, Зиновьев, Каменев так откровенно хотели свернуть голову нэпу, что отмалчиваться, отсиживаться было нельзя... Когда я сошел с трибуны, меня всего трясло... Так есть... через три часа все случилось... Мне было 49 лет... У меня не было шанса прожить дольше... если не в 26-м, так в 29-м, если не в 29-м, так вместе с другими... Почему? Потому что никакого подкопа под Ленина я вынести бы не смог... С болью, страшной болью вспоминаю последний, 14 декабря 22-го года, разговор, когда я неуклюже пытался выгородить Серго и Кобу в грузинской истории, а Ленин смотрел на меня так печально и все понимал. Ведь именно после этого разговора ему стало совсем плохо, и он больше в Совнарком не вернулся. Несу этот груз на себе.

Зиновьев. Зиновьев Григорий Евсеевич.

Каменев. Каменев Лев Борисович.

Зиновьев. В нашей жизни был не только октябрьский эпизод. Было и такое, о чем сегодня жалеть не приходится... и иное, за что мучительно стыдно.

Каменев. И стыдно, и больно, что мы, сотрудники Владимира Ильича, своими признаниями в связях с гестапо... убийстве Кирова... желании реставрировать капитализм... мы не только себя убивали...

Зиновьев. Конечно, до ареста у нас была возможность уйти от всего этого, но... 1 декабря вечером, после убийства Кирова, по всей стране стихийно возникали митинги и собрания... Я как член правления Центросоюза должен был выступить перед коллективом, но говорить не мог, слова застревали... Я был потрясен и потому, что хорошо знал Кирова, и потому, что прекрасно понимал, что нас ждет...

Каменев. Но сил самим принять единственно возможное... единственно верное решение... как это сделали потом Томский, Серго, Гамарник... На это сил не хватило.

Зиновьев. Если бы мы это сделали, мы бы сами подписали в глазах народа свой приговор.

Каменев. Да. Наверное. Но не осквернили бы себя... 24 октября я был в Смольном, принимал активное участие в событиях дня. Ошибка, связанная с нашим выступлением против восстания, была изжита.

Зиновьев. Я в этот день был в подполье, писал статьи для «Правды». В номере за 25 октября две мои статьи — передовая и еще одна.

Мартов. Я тот самый меньшевик Юлий Мартов, имя которого в Советской России было пугалом. Когда-то близкий друг Ленина, один из немногих, с кем он был на «ты»... Да... 24 октября... День накануне... Ну, конечно же, я был в Питере и делал все возможное, чтобы это не произошло, а если произошло, то совсем не так.

Деникин. Деникин Антон Иванович, генерал-лейтенант. Да, да тот самый Деникин... В 42-м году, когда Гитлер стоял у Сталинграда, я с презрением отклонил предложение переселиться в Германию. Краснов пошел к немцам, а я отказался, потому что до конца дней своих, до кончины в 47-м году в Соединенных Штатах, не переставал быть русским патриотом.

Сталин. Я полагаю, что советский народ помнит не того Деникина, который кокетничает своим отказом драться против своей Родины, а того Деникина, который был генералом-вешателем, кровью русских рабочих, русских крестьян залил Россию.

Деникин. Я воевал с ними в отличие от вас. Воевал. 24 октября вместе с генералом Корниловым был в Быхове, по-моему, играли в бильярд.

Дан. Дан, Федор Ильич, меньшевик, врач, до 22-го года был депутатом Моссовета, а затем выслан на чужбину, дожил до победы России во второй мировой войне. Подобно Милюкову, я приветствовал Сталина, понял, что большевизм, несмотря на глубокие недостатки, стал могучим фактором осуществления социалистической идеи. 24 ок-

тября вместе *(жест в сторону Мартова)* с Юлием Осиповичем делал все возможное, чтобы день 25 октября не вошел в историю человечества. К счастью, не преуспел.

Крупская. Крупская, Надежда Константиновна, в партии работала по просвещению. Жена Ульянова. 24 октября сидела в Выборгском райкоме, куда Фофанова приносила записки Ильича, а я их переправляла в Смольный.

Бухарин. Бухарин, Николай Иванович, родился в 1888 году в Москве, в семье учителей. В революционном движении с 17 лет. На VI съезде был выбран в ЦК, в составе которого был вплоть до ареста в 1937 году. Из важнейших этапов моей политической жизни считаю необходимым указать на брестский период, когда я сделал крупнейшую политическую ошибку. Но больше всего виню себя и как большевика и как человека за то, что не смог помешать тому «великому перелому», той «революции сверху», как ее называют, которая произошла в нашей стране в 29-м году.

Сталин. Это моя формулировка. От авторства отказываться не собираюсь.

Фофанова. Фофанова, Маргарита Васильевна, хозяйка последней подпольной квартиры Владимира Ильича. На моих глазах мучился — там дело всей его жизни решается, а он вынужден здесь сидеть. Знаю, меня не любят иные историки. Я говорю, как было, а они меня поправляют, потому что знают, как должно было быть.

Рахья. Эйно Рахья, финн, большевик, расстрелян в 1938 году в звании комкора. В 17-м году по поручению партии охранял товарища Ленина. В конце сентября привез Ильича из Выборга в Питер. Сталин набросился на меня: как посмел без разрешения ЦК? А 24-го вечером опять без разрешения ЦК я проводил Ильича в Смольный. Других «прегрешений» перед партией у меня не было.

Ленин. Ульянов-Ленин. Делать революцию значительно интересней, чем рассказывать или писать о ней. Поэтому займемся делом.

Освещается площадка, на которой выгорожен фрагмент квартиры Фофановой. Ленин стремительно поднимается на площадку, за ним идут Крупская, Фофанова и Рахья.

Ленин *(осматривает декорацию).* Очень похоже... *(На цветы.)* А вот этого не было. Ну, откуда в Питере поздней осенью такие цветы? Художники, очевидно, съездили в музей?

Крупская. Этот угол был весь завален газетами. Я все ругалась...

Ленин. ...неряхой называла...

Фофанова. Владимир Ильич, там детей в пионеры принимают.

Ленин. А детям в первую очередь не нужны потемкинские деревни... *(Реквизиторам, которые окружили площадку.)* И не белая скатерть, а обычная клеенка... *(Скатерть меняют на клеенку.)* Так, хорошо. Мы готовы.

Освещается площадка, на которой выгорожен фрагмент кабинета Александра III в Зимнем дворце. Керенский поднимается в кабинет.

Керенский *(реквизиторам).* На столе у меня был письменный прибор Николая II. А здесь, в углу, Андреевский флаг. Хотя нет, в октябре я уже не был морским министром... *(Реквизиторам.)* Здесь должно быть что-то революционное. Ну, например... ну, например... У Ленина в Кремле был кабинет заурядного директора плохонького банка... Я там не был, но знаю достоверно... Мы вообще никогда не были представлены друг другу, хотя наши судьбы перекрещивались не раз... Мы родились в один день — 22 апреля, правда, я на несколько лет позже... наши отцы в Симбирске трудились на ниве народного просвещения... мне было шесть лет, когда казнили Сашу Ульянова... Отец был потрясен, слег, я запомнил этот день на всю жизнь. В сущности, эта казнь и определила мой уход в революцию... Позднее отец не раз способствовал Ульяновым преодолеть обстоятельства, связанные с казнью Саши... Владимиру дали медаль... Характеристику в университет... Отец в отличие от меня очень высоко его ставил... Нашел! Нашел! Нужен красный бант! Красный бант! *(Приносят красный бант, прикалывают на френч Керенскому, гардеробщики щетками пытаются снять с френча им одним заметную пыль).* Не надо! Не надо! Френч утратит свой демократизм! Вот так... вот так...

Освещается площадка, на которой выгорожен фрагмент комнаты в Смольном, где заседал Центральный Комитет большевиков: столы, венские стулья, несколько кресел. Большевики поднимаются на площадку. Поначалу общение их друг с другом несколько скованно.

Дзержинский. Да, так есть... Это начиналось здесь...

Троцкий *(реквизиторам).* На столе была карта города, нам ее Смилга прислал.

Бухарин. Послушайте, а кто где сидел? Я уже не помню...

Свердлов. Да какое это имеет значение?

Сталин. Это имеет очень большое значение. Я сидел здесь, рядом с Лениным.

Бухарин. Коба, не выдумывай. Ты никогда здесь не сидел, ты всегда курил и поэтому торчал у окна или в углу.

Сталин. Я сидел здесь, рядом с Лениным. В забывчивости вы меня упрекнуть не можете, я всегда помню все.

Свердлов. Кроме того, что Ленина, как и Зиновьева, здесь никогда до 25 октября не было и быть не могло — они были в подполье, а после мы перебрались в кабинет Ильича.

Бухарин. Ну, хорошо, пусть твое место будет здесь. Но согласись, что ты всегда торчал у окна или в углу.

Сталин *(упрямо).* Я всегда был рядом с Лениным.

Троцкий. Это мы в «Кратком курсе» уже читали.

Свердлов. Этих разногласий у нас тогда не было, успокойтесь. *(Бросив последний взгляд на декорацию.)* Мы готовы.

Освещается площадка, на которой выгорожен фрагмент Быховской тюрьмы: классная комната с доской, в центре класса — бильярд, несколько кресел. Генералы поднимаются на площадку, осматривают декорацию.

Деникин. Какое было время... Иных уж нет, а те далече...

Лукомский. Художник — человек даровитый. Схвачено точно.

Марков *(реквизиторам).* Бутылочку коньяка, только шустовского...

Корнилов. Теперь все. Мы тоже готовы.

КВАРТИРА ФОФАНОВОЙ. 0 часов 10 минут 24 октября 1917 года

Фофанова только что вернулась: на стуле сумка с продуктами, торопливо брошенное пальто. Ленин у стола, просматривает принесенные бумаги. Фофанова разливает чай.

Фофанова. Я переволновалась: как вы тут один?

Ленин. Терпеливо ждал. Что на улице?

Фофанова. Спокойно. *(Протягивает чашку чая.)*

Ленин. Спасибо. Давайте мысленно пройдем весь маршрут до Смольного.

Фофанова. Зачем?

Ленин. На всякий случай. Я выхожу из вашего подъезда и поворачиваю...

Фофанова. Никуда вы из подъезда без разрешения ЦК не выходите. А будет разрешение, пойдете не один, поедете.

Ленин. Само собой. Но мало ли какие могут быть непредвиденные обстоятельства? Почему не подготовиться заранее?

Фофанова. А сами не пойдете?

Ленин. Через весь город, где на каждом углу меня могут схватить?

Фофанова. Ну хорошо... Вы выходите из подъезда...

Ленин. И по Сердобольской дохожу до Большого Сампсониевского проспекта...

Фофанова. На углу лавка, бакалея...

Ленин. На углу лавка, бакалея... Это там вы весь вечер потеряли?

Фофанова. Я таких ужасных очередей и не припомню. А что купила? Ерунду одну. *(Вываливает содержимое сумки на стол.)* Пачку сахара, пачку соли, хлеб и мелочь всякую. А заплатила за все это ровно в четыре раза больше, чем в начале лета. Вы бы слышали, что очередь кричала.

Ленин. Что?

Фофанова. Такая злоба, хоть топор вешай. Кто-то из Твери приехал, там вообще хоть шаром покати, вы, говорит, счастливые. Царя скинули, потому что народу совсем невмоготу было, а стало еще хуже. Что происходит, Владимир Ильич?

Ленин. Думаю, что самый критический момент нашей революции.

Фофанова. Сколько их уже было, этих критических моментов...

Ленин. Таких, как сегодня, не было. Любую революцию грубо можно представить тремя основными лагерями, тремя тенденциями... *(Берет пачку соли.)* Вот один лагерь — назад к тому, что было. Полный или не совсем полный, но возврат к старому. Контрреволюция. В основе — ненависть к народу. *(Берет пачку сахара.)* Второй лагерь — перекраска фасада, не меняющая сути старой системы. Топтание на месте, боязнь решительных действий. В основе — страх перед народом. *(Берет буханку хлеба.)* И третий лагерь — только вперед, только полный слом старой системы, ставка на революционную инициативу, самодеятельность масс, вера в народ. *(Поднимается, обходит вокруг стола.)* Да, эти три силы, эти три тенденции. Полгода назад революция провозгласила три лозунга: мир, хлеб и свобода. Что осуществлено? Ничего. Ибо свобода без мира и без хлеба — это не что иное, как свобода умирать от голода или от пули с сохранением возможности произносить при этом любые речи — что ж, утешение для нормальных людей очень слабое... Значит, ни один вопрос Февральской революции не решен — отсюда крах и кризис общенациональный. Нам говорят, что можно всю нацию сплотить на решение этих задач. Этим самообманом, иллюзией кормятся наши соглашатели, но посмотрите сюда — где здесь почва для общенационального единства? Как вы сплотите эти три лагеря? Как впрячь в одну телегу Корнилова, Керенского и нас? *(Сдвигает соль и сахар.)* Вот здесь есть возможность для блока: эти тянут назад, а эти топчутся на месте, а в революции шаг на месте — это уже три шага назад... *(Смотрит со стороны, на придвинутые друг к другу пачки соли и сахара.)* Нет, генералы сегодня не простят Керенскому, что он отвернулся от них во время корниловского мятежа... *(Раздвигает соль и сахар.)* Вот в эту щель мы и должны прорваться, пока они не сговорились друг с другом, плюнув на вчерашние обиды. Сейчас тот самый момент, когда взять власть ради мира, хлеба и свободы можно бескровно, с наименьшими потерями.

Завтра уже такой возможности не будет. *(Улыбнувшись.)* Вот почему мне надо быть в Смольном. Итак, иду по Большому Сампсониевскому до Первого Муринского проспекта. Правильно?

Фофанова. Правильно. На трамвае можно доехать до Боткинской.

Ленин. Нет, рисковать не буду... *(Смотрит на пачку соли.)* Иду по Литейному и сворачиваю на Шпалерную... *(Не выдерживает, берет пачку соли.)* Генералы сегодня, конечно, проклинают тот день, когда поддержали Февраль, и безусловно готовят вторую корниловщину. А Керенский? *(Берет пачку сахара.)* Блок между ними обозначился, хотя механизма единства еще, наверное, нет...

Фофанова. Ну, а Керенский? Куда он-то весь вышел? Теперь о нем и слышать не хотят, всем осточертел.

Ленин. Перекраска фасада — это не революция! Бюрократические игры в реформы и ни одного подлинно революционного шага, чтобы сломать старую бюрократическую машину! Нельзя вызвать героизм и энтузиазм в массах, не разрывая решительно с прошлым, оставляя в полной неприкосновенности весь старый аппарат власти, превращая всю демократию в пустую говорильню. Гигантская заскорузлая армия чиновников, которая будет проводить реформы, подрезающие их господство? Делать революцию руками тех, кто ее так ненавидит? Над кем смеетесь, господа, кого дурачите? Посредством такого аппарата пытаться провести революционные преобразования есть величайшая иллюзия, величайший самообман и обман народа. И Керенский нам это доказал сполна! Нет, он не такой дурак, чтобы публично проповедовать философию топтания на месте. Подождите, говорит он, будет лучшая ситуация, будет более выгодный момент, зачем забегать вперед, зачем раздражать, давайте поступать вдумчиво, ну и так далее. А тем временем под давлением правого лагеря идет на все новые уступки и уступочки, и революционный заряд народа медленно, но верно тает и испаряется. И правые не дураки, зачем им сейчас идти напролом, нахрапом, когда они ежедневно получают по частям то, что им нужно? Здесь революция потеснилась чуть-чуть, здесь еще немного, а здесь уже больше... И наши дураки Балалайкины кричат «Ура! Победа!», усматривая победу в том, что правые не глотают их сразу.

Фофанова. Так что же делать, Владимир Ильич?

Ленин. Идти в Смольный. Вопрос сейчас стоит так: либо сложить руки на груди и ждать, пока задушат революцию, либо рвануться вперед.

Фофанова. Восстание?

Ленин. Да, восстание. Голод не ждет, разруха не ждет, крестьяне, поджигающие усадьбы и захватывающие земли, не ждут. Война не ждет. Генералы в Быхове не ждут. А у нас в ЦК хотят ждать. Вот почему надо идти. Итак, Шпалерная...

Фофанова. Владимир Ильич, посмотрите на часы...

Ленин *(улыбаясь)*. Черт возьми, никак не могу дойти до Смольного, все время кто-то мешает — то генералы, то Керенский, то наши... Спокойной ночи, Маргарита Васильевна, а я еще немного пособображаю.

БЫХОВ. 0 часов 17 минут

На авансцене площадка с фрагментом Быховской тюрьмы и четырьмя генералами. Остальные внимательно наблюдают за «показаниями» генералов, готовые в любой момент вмешаться; манера поведения свободная: выходят, возвращаются, курят и т. д.; Корнилов и Марков, скинув кители, начинают играть в бильярд. Лукомский просматривает газету, Деникин с рюмкой в руке размышляет вслух.

Деникин. Дали мне роту. С чего я начал, молодой военный интеллигент? Решил доказать, что солдату палка не нужна. Рота училась плохо и лениво, и меня убрали. Сверхсрочник фельдфебель Сцепура по этому поводу выстроил роту на плацу, поднял многозначительно кулак в воздух и сказал внятно и раздельно: «Теперь вам не капитан Деникин. Понятно?»

Марков. От двух бортов в середину. Всему виною отмена крепостного права.

Лукомский. Запоздалая отмена. На 20 лет раньше — мы бы давно уже были Европой.

Марков. Присовокупите сюда всю подлую работу, начатую декабристами, продолженную Виссарионом... Герценом... А всякие там Михайловские... Успенские... Щедрины и Ключевские — кто измерит их разрушительный вклад?

Корнилов. Третий от борта в угол. Присовокупите туда же и Бердичев. Стереть бы его с лица земли за все наши обиды, и на его месте — джунгли.

Марков. Зачем джунгли — чертополох.

Деникин. Сегодня стихия захлестывает... И в ней бессильно барахтаются люди-человеки, не слившиеся с ней. Помню вагон, набитый серыми шинелями, а в проходе человек — высокий, худой, в бедном, потертом пальто... Нестерпимая духота, многочасовая пытка стояния, а со всех сторон издевательства. И вдруг истерический крик: «Проклятие! Ведь я молился на русского солдата, а теперь, если бы мог, собственными руками бы задушил!..» Странно, но его оставили в покое...

Лукомский. Тем не менее Февраль открыл для России...

Марков. В Феврале начался путь России на голгофу... Восьмой к себе в угол.

Лукомский. Извините, Сергей Леонидович, согласиться с вами не могу решительно! Неужели у нас с вами такая короткая память? Неужели мы забыли всю бездумность, всю бездарность, если не сказать больше, нашего обожаемого монарха и его режима? Катастрофа продовольственного дела, катастрофа на транспорте, на заводах — мы-то с вами знаем, что это не выдумка социалистов. Бездарность в делах внутренних известна каждому, а бездарность в делах военных, кто, как не мы с вами, ощущали ежеминутно? Итог войны на сегодня — восемь миллионов русских за четыре миллиона немцев — не приговор ли всему строю? Двух русских за одного немца — так, извините, воевать каждый балбес сможет! Романовы с тенью Распутина были обречены, и Февраль для страны был благом. Не случайно весь мыслящий генералитет встретил его с пониманием. Вспомните Брусилова: «Если выбирать между Россией и государством, я предпочитаю Россию». И Лавр Георгиевич поддержал Февраль решительно.

Корнилов. Да, был пленен поначалу.

Лукомский. Не наша вина, что либералы не справились с кораблем и посадили его на мель.

Корнилов. До сих пор стыдно, что имел несчастье согласиться и сам... лично... арестовал Александру Федоровну... Встретила меня достойно... ни слез, ни экзальтации... «Надеюсь, генерал, вы понимаете наше состояние, ведь вы же сами были в плену...» Не перегибаем ли мы, господа, палку, забрасывая их грязью?

Деникин *(Лукомскому)*. Давайте, Александр Сергеевич, подведем итоги Февраля... Армия разрушена, промышленность разрушена, нежелание работать, одна безответственность...

Марков. Страна совещаний, митингов и речей, а жрать нечего!

Лукомский. В мире сейчас нет страны более свободной, чем наша.

Деникин. Россия оказалась недостойной той свободы, которую она завоевала.

Лукомский. Поэтому мы и выступили.

Марков. Да, мы здесь, а Керенский в Зимнем.

Деникин *(Маркову)*. Против предательства никто не застрахован.

Марков. Я вас предупреждал, я вас умолял не верить этому прохвосту!

Деникин. Договоренность Керенского с нами была четкой: мы бросаем конный корпус на Петроград, чтобы разогнать Советы, а он...

Корнилов *(ирония)*. Объявляет нас изменниками революции. Нет, нет, господа, тут мы виноваты сами. Мы себя открыли, и весь этот сброд — от крайне левых до самых умеренных — объединился. Вопрос сейчас перед нами один: продолжать или считать дело оконченным?

Деникин. Страна накануне краха. Кто простит нас, если мы смиримся? И простим ли сами себя?

Лукомский. Меня идеология не интересует, только целесообразность. Черную работу — свернуть голову Керенскому — отдадим большевикам.

Корнилов. Вот это верно. Беспредельная любовь к гибнущей Родине повелевает нам оставаться на посту и вырвать отечество из липких рук. Передайте в Ставку, чтобы войска в случае выступления большевиков не вмешивались. Мы своей ошибки не повторим. Я шутить не люблю. Пусть теперь они пожирают друг друга — крайне левые умеренных и наоборот.

Керенский *(кричит)*. Вот! Вот! Все слышали! Остановите время! Я всегда это утверждал! Они проговорились! Я трагическая жертва борьбы против двух экстремизмов — Ленина и Корнилова! *(На генералов.)* Это они, это они приказали не оказывать мне помощи, когда начнется атака большевиков!

Струве. Вот идиот! Как вы могли объявить Корнилова изменником и этим окончательно все погубить?

Керенский. Поднимая руку на меня, они поднимали руку на демократию в России!

Деникин. Признайтесь хоть здесь, что вы всегда думали не о России, а о себе. Ну, выбросили бы вас из Зимнего, сел бы там Корнилов, но наша Россия-то была бы спасена. А вы побежали за помощью к большевикам, вооружили рабочих, бросили страну влево... петлю на своей шее вы затягивали собственными руками, а здесь... здесь бесстыдно лжете, выгораживая себя!

Керенский. Это неслыханно! Простите, я не могу продолжать... Мне плохо... *(Затихает.)*

Бухарин. Как говорил кто-то из классиков, «за взаимностью мордобоя дело прекратить». А генералам продолжить...

Лукомский *(продолжая)*. Для нас большевизация, скинувшая Керенского, не представляет никакой опасности. Их триумф только усугубит дальнейший развал и анархию. На ликвидацию большевиков мы попросим у вас три недели, не больше.

Корнилов. Нужна стройная система военной диктатуры, гарантирующая возвращение рек в берега. Я шутить не люблю... И если придется, к сожалению, сжечь пол-России и даже залить кровью три ее четверти... не мы сделали этот выбор. Подготовьте утром подробную дислокацию. Давайте выпьем, господа! *(Все встают.)* За фельдфебеля Сцепуру!

Марков. Господи... как мы будем их вешать!

Керенский *(генералам).* Господа генералы, вам не кажется, что ваши три недели тянутся что-то слишком долго?

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 06 часов 30 минут

В кабинет Керенского входит полковник Полковников.

Полковников. Начальник Петроградского военного округа полковник Полковников!

Керенский. Доброе утро, Георгий Петрович.

Полковников. Ночь прошла спокойно. Подвоза продовольствия не было, обеспеченность — менее двух третей нормы.

Керенский. Это потом. Что большевики?

Полковников. Если не питаться слухами, мы полностью владеем обстановкой.

Керенский. Отказ полков покинуть Петроград и пойти на фронт — это слух?

Полковников. Есть распоряжение большевистского Военно-революционного комитета не считать действительными наши приказы без их санкции.

Керенский. Что? И вы об этом молчите? Докладываете мне бог знает о чем...

Полковников. Я вступил в переговоры с ВРК об отмене этого несуразного распоряжения. Само согласие большевиков на переговоры — признак их слабости.

Керенский. Но это же восстание...это мятеж... это вызов, на который я обязан ответить. *(Ходит по кабинету, рассуждает вслух.)* Я сделал слишком много уступок... Да, меня можно упрекнуть в слабости и чрезвычайном терпении, но никто не скажет, что я прибегал к жестокости раньше, чем возникала угроза гибели государства... Да, да... Я жалею, что не умер пять месяцев назад. Я бы умер с великой мечтой, что мы умеем без хлыста и палки управлять своим государством. Неужели Милюков прав, и русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Мне часто говорили, что я слишком верю и много мечтаю. Упрекают, что мы не власть, а слякоть... Что ж... Я попробую меньше верить — верить в человека, в его душу, в его совесть, в его разум. Пусть сердце станет каменным, пусть засохнут все цветы и грезы о свободном человеке, над которыми так смеются, говорят презрительно и топчут. Так я сам затопчу! Не будет этого. Боже, как мне трудно сейчас!

Полковников. Почему, Александр Федорович?

Керенский. Потому что я знаю силу человеческого невежества — не только наших низов, но и всего русского общества: свобода им не нужна, им нужен кулак! Им нужен кулак, а не свобода! Путей соглашения с большевиками нет, дальнейшая отсрочка боя опасна, надо железной рукой принудить большевиков покориться... Конечно, если бы мы не гнушались приемами царского правительства, то мы обязаны были бы спровоцировать большевиков на вооруженное выступление...

Полковников. Не выступят. Они свое выступление приурочивают к завтрашнему съезду Советов. Съезд примет решение о переходе власти к ним, и тогда они пойдут в бой...

Керенский. Я готов отслужить молебен, чтобы они выступили раньше, но, увы, на это надеяться не приходится. Что ж, пусть ждут... Но мы больше ждать не будем... необходимо их упредить, ударить первыми и подтолкнуть на выступление... Приказываю: немедленно закрыть большевистские газеты — за призывы к бунту против Временного правительства. А для равновесия и две крайне правые газеты — «Новую Русь» и «Живое слово». Немедленно найти — я чувствую, что он здесь, в Петрограде! — Ленина, арестовать и препроводить к следователю по особо важным делам Александрову. К вечеру подготовьте подробный план экспедиции по разгрому Смольного. Войска Северного фронта, которые войдут в Петроград с минуты на минуту, поступят в ваше распоряжение. Что касается съезда Советов... Для того, чтобы помешать им собраться,— для этого даже ваших сил хватит. Исполняйте. *(Полковников уходит.)* Жребий брошен, господа!

СМОЛЬНЫЙ. 08 часов 15 минут

Свердлов, Каменев и Сталин ждут, когда Троцкий закончит разговор по телефону.

Троцкий. Конфронтация неизбежна, и она происходит на почве приказа о выводе на фронт гарнизона. Сегодняшняя ночь была критической, мы не спали.

Стремительно появляется Дзержинский.

Дзержинский. Полчаса назад юнкера разгромили типографию, «Рабочий путь» не вышел!

Сталин. Знаем.

Троцкий. Это все я держу в голове и в руках. Владимира Ильича проинформируем обязательно. Привет. *(Кладет трубку.)*

Дзержинский *(взволнованно).* Уверяю вас, разгром типографии — это начало! Мы не имеем права только отвечать! Надо воспользоваться, надо немедленно арестовать правительство — там у Зимнего стоят наши броневики — и развивать успех дальше.

Троцкий. Ни в коем случае! Арест Временного правительства как самостоятельная задача перед нами сегодня не стоит и стоять не может! Использовать для этого наши броневики было бы ошибкой, а вот отбить у юнкеров типографию и выпустить газету... Впрочем, именно это я предложу сейчас Центральному Комитету, хотя все предварительные приказы я уже отдал.

Каменев. Забегание вперед — одна из типичнейших ошибок революционной партии.

Дзержинский. А ты опять предлагаешь плестись в хвосте? Мне надоело это слушать. Вы дождетесь, что рабочие плюнут на нас и пойдут сами.

Сталин. Остынь, Феликс, сейчас соберется ЦК — там и решим.

Троцкий. Феликс Эдмундович, это же так просто: все зависит от съезда, от его твердой политики.

Дзержинский. Вы в ней уверены? Я — нет!

Троцкий. Вот на это и надо направить усилия. Завтра съезд провозгласит переход власти к нам...

Дзержинский. А если не провозгласит? Если заколеблется? Пока что у нас всего 300 делегатов из 670...

Троцкий *(убежденно).* Большинство проголосуют с нами. Керенский, конечно, этому решению не подчинится, и тогда его ликвидация будет полицейским, а не политическим вопросом. Простым тактическим ходом — взятие власти через съезд Советов — мы решаем всемирно-историческую задачу без пролития крови. Просто и красиво.

Сталин. Вопросы, которые можно решить простым поднятием рук,— зачем выносить их на улицу?

Дзержинский. Значит, все, что мы сейчас делаем...

Троцкий. Это оборона, Феликс, это оборона и не более того. Но это отнюдь не значит, что все наши части не должны быть пре-

дельно мобилизованы и быть готовыми. Если хочешь,— активная оборона.

Дзержинский. Какая к черту оборона, когда правительство уже издало приказ об аресте ВРК! *(Свердлову).* Андрей, что ты молчишь?

Троцкий. Если правительство вздумает нас арестовать, то на крыше Смольного мы поставим пулеметы. Я сейчам дам указание. Но я такой прыти от правительства не жду. Оно парализовано, оно только и ждет взмаха исторической метлы, чтобы уступить власть.

Дзержинский. Нам Ленина не хватает, надо с ним советоваться. Давайте отправим за ним верную роту... ему давно уже пора быть здесь.

Сталин. Преждевременно. Мы не можем рисковать его жизнью.

Троцкий. Возьмем власть, и тогда Владимир Ильич въедет в Смольный с почетным эскортом *(улыбается)* и на белом коне... Итак, не даем себя спровоцировать на выступление, не даем себя втянуть, только отвечаем и...

Сталин. Ждем съезда. *(Уходя.)* Вернусь через минуту.

Троцкий. Да, безусловно,— ждем съезда.

Дзержинский *(подсаживаясь к Свердлову.)* Что ты молчишь?

Свердлов. У меня не выходит из головы его крик из последнего письма: «Оборона есть смерть вооруженного восстания».

КВАРТИРА ФОФАНОВОЙ. 8 часов 25 минут

Фофанова и Ленин, обложенный газетами, завтракают.

Фофанова. Ни в одном киоске «Рабочего пути» не было. Я даже на Финлядский вокзал съездила — нет, и никто ничего не знает.

Ленин. Странно. Что на улицах?

Фофанова. Как обычно... спешат на работу...

Ленин. Войск не видели?

Фофанова. Да нет вроде... Не волнуйтесь, Владимир Ильич, все образуется...

Ленин. Такой благоприятной ситуации, как сегодня, может не быть еще сто лет... Мы договорились, что начнем сегодня... Но если там опять возобладало желание ждать съезда — это полный идиотизм или полная измена.

Фофанова. Да ну, какая измена... ну, как так можно говорить?

Ленин. Нервничаю. А как вы думаете, легко мне быть в такой изоляции, когда на карту поставлено все? Почему они не хотят, чтобы я был в Смольном?

Фофанова. Да вас же ловят.

Ленин. В Смольном не поймали бы... Все дело в том, что революции не терпят остановок. Надо всегда идти дальше, глубже... все время вперед... не забегать, но и не плестись... Только не останавливаться... дальше... дальше... как говорил Гете — «вайтер, вайтер...» Вы когда вернетесь?

Фофанова. К восьми.

Ленин. По дороге передайте Надежде Константиновне сие послание.

Фофанова. Владимир Ильич, я знаю, вы, когда волнуетесь, начинаете ходить по квартире... у вас шаги тяжелые, мужские, а соседи снизу знают, что здесь только я живу...

Ленин. Хорошо, я постараюсь... я на цыпочках...

Фофанова. Когда вернусь, как обычно, сначала три раза позвоню...

СМОЛЬНЫЙ. 11 часов 30 минут

Сталин выходит на авансцену.

Сталин. Товарищи попросили меня обрисовать вам положение в городе, как оно складывается на этот час. В Военно-революционном комитете два течения. Первое — за немедленное восстание. Второе — сосредоточить сначала силы. Должен сообщить вам, что Центральный Комитет нашей партии присоединился ко второму — продолжать сосредоточение наших сил. Мы делаем ставку на давление народа на съезд Советов. Старое правительство уступит место новому тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступят массы... *(Отходит в сторону.)* А теперь я хочу категорически протестовать против этой враждебной антипартийной вылазки театра. У меня никогда не могло быть общей позиции с Троцким. Это насилие, мы здесь не вольны, нас заставляют говорить черт знает что в угоду сомнительным взглядам, и мы вынуждены подчиняться! Я протестую!

Дзержинский. Сталин, оставьте театр в покое. Это ваши слова, это ваша позиция, все это было опубликовано в 22-м году в журнале «Пролетарская революция», и вы тогда не протестовали. Почему? Потому что мы все тогда были живы?

Сталин. Мне вообще не нравится, что здесь начинают чрезмерно копаться в грязном белье, выискивать оттенки и оттеночки в наших мнениях, наших взаимоотношениях. Движущая сила истории — народ. Почему здесь нет нашего героического народа? Почему нам не показывают массу, не выводят на сцену тех, кто совершил свой исторический подвиг в октябре 17-го года? Пьеса о революции и без народа! Я полагаю, это не случайно.

Свердлов. Идет другой разговор: как много в жизни, в революции особенно, зависит от тех, кто на капитанском мостике. Вопрос, который интересует всех.

Бухарин. Кроме тех, кто на капитанском мостике.

КВАРТИРА ФОФАНОВОЙ. 12 часов 20 минут

Ленин стремительно ходит по квартире, он явно не спокоен. Плеханов и Мартов поднимаются со своих мест.

Перемена света.

Плеханов. Я хочу говорить с вами по праву первоучителя российской социал-демократии.

Мартов. А я по праву старого... бывшего друга.

Ленин *(резко).* У меня сейчас нет времени на пустые разговоры. Позиции определились, баррикады возведены, доводы друг друга знаем наизусть, в чем смысл новых разговоров?

Мартов. В том, что сегодня перед нами весь ваш опыт, мы можем его спокойно проанализировать и сделать выводы, которые понадобятся тем, кто захочет стать на ваш путь.

Ленин. Почему в этот момент, когда нервы у меня натянуты до крайности, я должен вас слушать?

Плеханов. Да потому, черт возьми, молодой человек, что мы социалисты! Мы разошлись с вами в путях и методах осуществления идеи, но идея-то у нас одна! И любая ваша трагедия — это наша, и наоборот! И кто не будет чужую беду воспринимать как свою собственную,— тот не социалист!

Мартов. Большевики были и остались для меня товарищами, правда, совершающими ужасную ошибку, но все равно товарищами.

Ленин. Ваша ненависть к нам, доходящая до неприличия, сделала вас сегодня знаменем антибольшевизма.

Плеханов. Не отрицаю.
Ленин. А завтра...
Плеханов. Вы отлично знаете, что будет завтра! Завтра ко мне явится Савинков и предложит как самому авторитетному социалисту возглавить новое правительство, которое огнем и мечом уничтожит власть Совета Народных комиссаров. И вы знаете, что я ответил ему! «Я сорок лет жизни отдал рабочему классу не для того, чтобы расстреливать его в ту минуту, когда он ошибся!»
Ленин. Да, я знаю об этом.
Плеханов. А я знаю, что будет с вами через пять лет, как вам поможет в борьбе с проклятой болезнью ваш соратник, ставший вашим надзирателем. И эта трагедия, которая случилась с вами в конце жизни, дает мне надежду, что вы услышите меня.
Ленин. Ну, какой надзиратель? Все гораздо сложнее.
Мартов. После того как были опубликованы дневники твоих дежурных секретарей, где они записывали все свои разговоры с тобой, весь мир знает, какую борьбу ты вел зимой 23-го года за свое право сказать партии последние слова. Как подворовывал лишние минуты диктовок, как мучился без газет и информации. Не надзиратель? Но он же знал, что ты воспринимаешь его опеку как личную несвободу, Фотиева ему аккуратно все докладывала, он же знал, что лечебный режим — полная изоляция от всей жизни, — который он вокруг тебя создал, ты воспринимаешь как результат его указаний врачам, а не наоборот. Если видел, знал, что доставляет столько мучений, столько страданий, почему не отказался, почему не отошел в сторону?
Сталин. Я отказывался, но мою просьбу не удовлетворили.
Мартов. Молчащий, болеющий Ленин устраивал, диктующий — никогда. Вчера генсека потребовал заменить, а что завтра? Поэтому еще строже режим, еще строже изоляция, еще страшнее кары нарушителям.

Перемена света.

Сталин. Послушайте, Крупская, я хочу говорить с вами. Как самочувствие Владимира Ильича? Что нового сегодня на этом фронте?
Крупская. Сносно, но не более того.
Сталин. Я послал ему виноград и груши, мне из Тифлиса товарищи привезли. Это очень хороший виноград, осенний.
Крупская. Спасибо.
Сталин. Скажите, Крупская, а вам известно решение Политбюро о больничном режиме Ильича, вас с ним ознакомили?
Крупская. Да, а что такое?
Сталин. На последнем пленуме ЦК обсуждался вопрос о внешней торговле, который страшно волнует нашего больного.
Крупская. Его волнует, что вы, Бухарин и другие цекисты могли совершить такую ошибку.
Сталин. Он направил Троцкому письмо, из которого даже ребенку ясно, что Ильич в курсе всех дел.
Крупская. Ну и что?
Сталин. Кто вам дал право нарушать решения Политбюро?
Крупская. Вы что это, всерьез?
Сталин. Кто дал вам право информировать Ленина о событиях политической жизни? Вы что, не понимаете характер болезни Ильича? Малейшее волнение может кончиться катастрофой. Нельзя играть судьбой партии.
Крупская. Я что-то ничего не понимаю.
Сталин. Не понимаете? Вы думаете, в партии две дисциплины — одна для всех, другая для жены Ленина? Во что превратится партия, если в ней будет две дисциплины — одна для простых, другая для избранных? Я вам прямо говорю: мы этого не потерпим! Как Генеральный секретарь я запрещаю вам говорить с Лениным на политические темы!

Крупская. Да я лучше всякого врача...
Сталин. Не лучше. Нет и не будет ни у кого монополии на Ленина — ни у жен, ни у сестер... Поднимется, встанет на ноги — тогда пожалуйста!
Крупская. Что вы сказали?
Сталин. Иначе я буду вынужден при все моем уважении к вам поставить вас навытяжку перед Контрольной комиссией. И что решит Контрольная комиссия — пусть у вас иллюзий не будет! Здоровье Ленина — это не ваш семейный капитал. Это капитал всей партии.
Крупская. Жене лучше знать...
Сталин. Спать с вождем не значит знать вождя!
Крупская. Да как вы смеете!

Перемена света.

Ленин. Что с тобой, Надя? Ты чем-то взволнована?
Крупская. Нет, нет, просто быстро шла, устала. Полежу немного. *(Отходит в сторону, Каменеву.)* Лев Борисович!
Каменев. Да, Надежда Константиновна...
Крупская. По поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Владимира Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе... по отношению ко мне... грубейшую выходку.
Каменев. Умоляю вас, не волнуйтесь.
Крупская. Я в партии не один день! За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова.
Каменев. Надежда Константиновна...
Крупская. Интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину.
Каменев. Ну, конечно, конечно!
Крупская. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача... Я знаю, что его волнует, что нет, и уж, во всяком случае, лучше Сталина!
Каменев. Надежда Константиновна, умоляю, возьмите себя в руки!
Крупская. Я прошу вас оградить меня от грубого вмешательства в личную жизнь, от недостойной брани и угроз. В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы у меня напряжены до крайности!
Каменев. Только умоляю вас ничего не говорить об этом Ильичу. Я все улажу!

Перемена света.

Ленин. Прошло почти три месяца — он уладил?
Крупская. Как ты узнал?
Ленин. Что сказал тебе Сталин?
Крупская. Как ты узнал?
Ленин. Не имеет значения. Что он сказал?
Крупская. Ничего он мне не говорил. Ты что-то перепутал, совсем не так понял.

Ленин. Хорошо. Я стал невольным свидетелем твоего разговора с Маняшей.

Крупская. Утром?

Ленин. Да.

Крупская. И дождался, пока ушла Маняша?

Ленин. Что он тебе сказал?

Крупская. Немедленно ложись в постель. Посмотри на свое лицо...

Ленин. Плевать!

Крупская. Возьми лекарство.

Ленин. К черту лекарство! Что он сказал тебе?

Крупская. Тебе нельзя волноваться, ты сейчас доведешь себя...

Ленин. Немедленно скажи. Я ни секунды не буду терпеть оскорбления, нанесенного жене. Нас уже 40 лет назад предупредили, что русская революция даст людям только одно право — право на бесчестье. Согласимся? Умоемся? Большевик без чести...

Крупская. Хочешь заплатить своей жизнью? Неравноценная плата!

Ленин. У чести нет цены! Что он тебе сказал?

Крупская *(понимая, что выхода нет, что от каждого ее отказа возбуждение только нарастает)*. За письмо Троцкому, которое ты мне продиктовал.

Ленин. Что?

Крупская. Обругал. Но я уже сказала ему, что забыла сказанное.

Ленин. Как обругал?

Крупская *(помолчав)*. Сказал гнусность.

Ленин. Какую?

Крупская. Тебе недостаточно?

Ленин. Дай мне стул... поддержи меня...

Крупская. Володя... Володенька... Володя, это все ерунда, я уже забыла...

Ленин. Дай мне руку...

Крупская. Володя! Володя! Не закрывай глаза!

Ленин. Я сейчас... я сейчас... справлюсь...

Крупская. Я позову врачей!

Ленин. Не смей! Это наше! Ему тут же сообщат... Я сейчас... Я сейчас... я только чуть-чуть полежу... закрою глаза... все плывет и мушки... Сейчас мне станет лучше... Мне надо собраться... еще на одно письмо... Возьми меня за руку... сядь рядом... Если уйду, то на минутку... ты не бойся... Я соберусь... я сейчас продиктую все... все, что надо сказать в подобном случае... *(Затихает.)*

Перемена света.

Мартов. Владимир Ильич, да плюнь ты на него...

Плеханов. Разговор у нас серьезный, вы нам нужны в своей боевой форме...

Ленин. А я вас внимательно слушаю. И даже даю слово не перебивать.

Плеханов. Владимир Ильич, нет еще той муки, из которой может быть испечен российский социалистический пирог, не готов еще наш мужик к социализму. Пока ваша знаменитая кухарка научится управлять государством, знаете, сколько горшков будет перебито? Нельзя лезть в воду, не умея плавать, утопим мы социалистическую идею.

Ленин *(нарочито спокойно)*. А кто будет просвещать народ, Георгий Валентинович? Кто будет учить его демократизму? Те, кто отлично знают, что политическое просвещение масс — это конец их власти? А если самому народу взять власть и на почве этой власти заняться просвещением и культурой? Нельзя лезть в воду, не умея плавать? Конечно, Георгий Валентинович. Но ведь и нельзя научиться плавать, не залезая в воду.

Мартов. А меня другое волнует: темный, пьяный народ можно держать в повиновении только дубиной. Я даже спрашиваю себя — не встанешь ли ты, никогда не стремившийся к личной власти, всегда и неизменно отказывавшийся от создания вокруг себя эгоцентристского ореола,— не встанешь ли ты во главе террористической ликвидации революционного периода, или же, наоборот, ты окажешься его жертвой? Хорошо, хорошо, я уже почти физически чувствую твою убийственную иронию. Но послушай не меня, послушай своего друга, единомышленника, которого ты так любишь...

Ленин *(догадался)*. Розу? Розу Люксембург? Конечно, «Письма из тюрьмы»? Да с удовольствием! И хотя, когда она вышла на волю, она кое-что передумала, это дела не меняет — как всегда, у Розы глубокое и серьезное предупреждение! Но учти, она человек убежденный, ершистый, не боишься? Роза, прошу вас!

Роза Люксембург. Во-первых, я очень рада, что впервые могу появиться на русской сцене — раньше я была неудобна. Во-вторых, я скажу здесь о том, что мне никогда не пришлось пересматривать, с чем я родилась как социалистка и с чем умру.

Мартов. Роза, чуть ниже, там, где вы говорите о клике.

Роза. Юлий Осипович, я сама решу, что и когда мне говорить. *(Ленин тихо смеется.)* Большевики, совершив революцию, первыми среди нас стали людьми дела и спасли таким образом честь международного социализма. Слава богу, что они нашли в себе мужество плюнуть на доктринерство своих меньшевиков и наших тупоумных наследников Маркса, лишивших Россию в силу ее отсталости права на пролетарскую революцию. Слава богу, что нашлись, наконец, среди нас люди, всему миру показавшие, что они предпочитают не конгрессы, съезды, доклады и рефераты о революции, а саму революцию!

Ленин. Браво, Роза!

Роза. Конечно, как фанатичную сторонницу демократии, они меня шокировали, но я всегда искала и находила смягчающие обстоятельства. Они были более чем правы, использовав железный кулак для подавления всякого сопротивления, но эти меры не должны были становиться общим правилом на длительное время.

Ленин. Браво, Роза!

Роза. Но, конечно, если политическая жизнь в стране будет задушена...

Мартов. Вот-вот, это место!

Роза *(не обращая внимания на Мартова)*. ...Советы тоже не смогут избежать прогрессирующего паралича. Без общих выборов, свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений в любом общественном институте жизнь затухает, становится лишь видимостью, и единственным активным элементом этой жизни становится бюрократия. Общественная жизнь постепенно погружается в спячку: управляют всего лишь несколько десятков очень энергичных и вдохновляемых безграничным идеализмом руководящих партийных деятелей. Истинное руководство находится в руках этого десятка руководителей, а рабочая элита время от времени созывается лишь для того, чтобы аплодировать выступлениям вождей и единогласно голосовать за заранее заготовленную резолюцию, таким образом, в сущности, это власть клики: конечно же, их диктатура — это не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков. С моей точки зрения, диктатура пролетариата — это самая неограниченная и широчайшая демократия.

Социализм без политической свободы — не социализм. Без свободы не будет ни политического воспитания масс, ни их полного участия в политической жизни. Свобода только для активных сторонников правительства, только для членов партии, как бы многочисленны они ни были, это не свобода. Свобода — всегда и единственно — для тех, кто мыслит иначе. Опасность для большевиков начинается там, где временная отвратительная необходимость превращается в постоянную добродетель.

Ленин. Браво, Роза! *(Мартову, спокойно, даже дружелюбно.)* Ты писал как-то о пятилетнем терроре, который нас ждет. А я тебе скажу, если мы не наладим правильных отношений рабочего с крестьянством, не пять, а двадцать — сорок лет контрреволюции и террора обеспечены! Если мы не вовлечем народ в управление государством, останемся властью для народа, а не самого народа, отдадим страну на откуп бюрократии, политику подменим политиканством, если будем как черт от ладана бежать от демократии, если класс будет подменен партией, партия — аппаратом, а аппарат будет смотреть в рот вождю и оригинальное, отличное от вождя мнение будет преследоваться как государственное преступление, если бурлящая жизнь будет убита страхом и заменена казармой, мы столкнемся с самым страшным вопросом: «зачем?». Это реальная и грозная опасность, такая возможность есть — Роза права! — но этот результат абсолютно не обязателен, он не запрограммирован! Я в этом убежден! Каждый человек, кто умеет читать и мыслить, я надеюсь, разберется, где программа Октября, а где ее искажение и дискредитация. Я совершенно согласен с Розой: опасность в том, чтобы не возвести необходимость в добродетель. *(Мартов и Плеханов молчат.)* Ну, хорошо, давайте вернемся в 24 октября. Да, все кипит, наша роль, уверяю вас, вторична, события ведут партию, а не партия события. Народ все равно выступит, выступит без нас — и тогда торжество анархии и стихии обеспечено. Или мы возглавим движение, облагородим его, внесем сознание. Кровавая диктатура Корнилова — или пролетарская революция, социалистическая демократия. Что делать?

Плеханов. Сейчас надо, конечно, стихию гасить... Гасить всеми средствами. Не дай бог вам спровоцировать нового Корнилова! Пусть буржуазная революция устоится, ее демократическое развитие в конце концов поставит на очередь дня революцию социалистическую, а пока...

Ленин. Вот именно — что пока?

Плеханов. Медленно, постепенно, шаг за шагом...

Ленин *(весело)*. Медленным шагом, робким зигзагом? Давно еще, в ссылке, был у нас свой поэт... мой ближайший друг... прекрасным революционером был в молодости... Какой удивительный товарищ... какой чистый человек... какая умница... Как его нам потом не хватало... А чувство юмора! Наслушался он разговоров об этом — медленно, постепенно, шаг за шагом — и сочинил блистательную пародию... *(Запевает.)*

Грозные тучи нависли над нами.
Темные силы в загривок нас бьют...

(Мартову.) Подхватывай!

Мартов *(смеется, Плеханову)*. Это я сочинил... *(Подхватывает песню.)*

Рабские спины покрыты рубцами,
Хлещет неистово варварский кнут...

Большевики — Свердлов, Бухарин, Сталин, Орджоникидзе, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский, Каменев, Крупская весело присоединяются к поющим, и звучит песня, напоминая им юность, то время, когда все они были вместе.

Но потираючи грешное тело,
Мысля конкретно, посмотрим на дело:
«Кнут ведь истреплется,— скажем народу,—
Лет через сто ты получишь свободу».

Медленным шагом, робким зигзагом
Тише вперед, рабочий народ!

В нашей борьбе самодержца короны
Мы не коснемся мятежной рукой.
Кровью народов залитые троны
Рухнут когда-нибудь сами собой!

Высшей политикой нас не прельстите
Вы, демагоги трудящихся масс,
О коммунизмах своих не твердите,
Веруем в мощь вспомогательных касс!

Если возможно, то осторожно
Шествуй вперед, рабочий народ!

Бухарин. Качать автора!

Общее веселье.

Ленин *(Мартову)*. Вот тебе ирония истории: кто думал, что ты сочинил пародию на самого себя... *(Подсаживается к Мартову.)* Мы с тобой умирали почти одновременно. Когда мне попалась на глаза заметка о твоей болезни... поверь... нам очень тебя не хватало. Ладно, оставим это... *(Поднимается, Плеханову и Мартову.)* Так что же делать, господа, называющие себя товарищами? Что делать 24 октября? Кризис, тупик, какого не было. И с каждым днем все хуже. Так может ли народ, попавший в столь отчаянное, столь безвыходное положение... имеет ли он право броситься в борьбу и вырваться на свободу, даже если имеется только один шанс из ста? И даже если он тем самым нарушит общепринятый порядок вещей? Ответьте, господин Плеханов!

Плеханов. Почему вы меня так не любите, Ленин?

Ленин *(после молчания)*. Никого в своей жизни я так не любил, так не боготворил, как вас... Ослепленный своей влюбленностью, я держал себя, в сущности, как раб, а быть рабом — недостойная вещь... Я долго приказывал себе не видеть... грубости... желания властвовать неограниченно... неискренности... Шахматных ходов... А что осталось от любви?.. Мы все-таки сделали то, чему вы нас учили...

Перемена света.

Крупская. Что с тобой? Тебе лучше?

Ленин. Да, да... Значительно лучше, они мне помогли... Возьми бумагу... Дело не только в оскорблении, речь идет о большем... Пиши.

Крупская. Нельзя, Володя... Я тебя умоляю... Ты не имеешь права...

Ленин. Обязан. Чего бы мне это ни стоило... даже жизни... *(Почти кричит.)* но не будет права на бесчестье! Не будет!

Крупская. Хорошо... хорошо... Только не кричи... Я пишу.

Ленин *(собрав силы)*. Товарищу Сталину... строго секретно... лично... Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить... что сделанное против жены... я считаю сделанным и против меня... Поэтому прошу вас взвесить... согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться... или предпочитаете порвать между нами отношения... С уважением... Ленин... 5 марта 23-го года.

Крупская. Зачем? Зачем ты это сделал, Володя? Ведь это же были твои почти последние слова в этой жизни... Стало опять так плохо, что хуже некуда... а десятого новый удар.

Ленин. Он извинился?

Крупская. Да.

Ленин. Вместе с «Письмом к съезду» это серьезный повод для раздумий.

Крупская *(тяжело вздохнув)*. «Письмо к съезду»...

Ленин. Что?

Перемена света.

Зиновьев *(с трудом)*. Владимир Ильич, дело в том... когда в мае 24-го года, накануне XIII съезда, Надежда Константиновна передала нам это письмо с личными характеристиками, мы были потрясены... Это была бомба, она путала все карты...

Ленин. То есть?

Зиновьев. В руководстве ЦК уже сложилась определенная расстановка сил... работой Политбюро уже более года руководили мы с Львом Борисовичем, отчасти Сталин. Перед диктаторскими амбициями Троцкого стоял надежный заслон в лице нашей тройки. Ваше письмо нарушало равновесие. Оскорбленный Сталин сразу же подал заявление об отставке, мы с трудом уговорили взять его обратно.

Ленин. Я писал съезду, что отношения между Сталиным и Троцким составляют большую половину опасности раскола, который угрожает партии, и, если этому не помешать, раскол может наступить неожиданно. Я писал о грубости и нелояльности Сталина, совершенно нетерпимых в должности Генсека. Я предупреждал вас, что эти качества Сталина — это не мелочь или такая мелочь, которая может получить решающее значение для всех судеб партии. Решающая мелочь. Вы вдумались в это?

Зиновьев. Конечно, мы думали...

Каменев. Мы думали только о том, как сохранить Сталина.

Ленин. Почему? Разве не было людей с хорошей организаторской хваткой, более терпимых, более лояльных, более внимательных к товарищам. Я говорил с вами о Фрунзе... А Дзержинский? И у Сталина могла быть интересная работа, ведь речь шла не об отставке, а о передвижке.

Каменев. Дело в том, что... *(Зиновьеву.)* Я хочу говорить все.

Зиновьев. Говори.

Каменев. Мы договорились между собой, что политический отчет, с которым ранее выступали вы, на XII съезде будет делать Зиновьев, не Троцкий, а именно Зиновьев. Это было очень важно: тот, кто сделает отчет, будет рассматриваться партией как ваш преемник. Сталин нас охотно поддержал. А мы, в свою очередь, взяли на себя обязательство сохранить его на посту Генсека. Пост Генсека не был тогда решающим, да и сам Сталин на роль лидера не претендовал. И он нас в этом качестве вполне устраивал. Понимаете, Владимир Ильич, ни о каком единовластии Сталина речи тогда и быть не могло. Наоборот, он был сторонником коллективного руководства. Уверяю вас, амбиции Льва Давидовича, его потенциальное диктаторство представлялись тогда всем нам гораздо большей угрозой, чем личные качества Сталина... И если уж до конца быть откровенным, нам казалось, что Сталин — в силу его ограниченности — не представляет опасности.

Зиновьев. Конечно, сейчас это выглядит как беспринципная борьба за власть, но тогда речь шла о том, как будет развиваться революция — по Ленину или по Троцкому. Именно этой целью определялись средства борьбы.

Ленин. Я не касаюсь сейчас содержания ваших дискуссий. Я оставляю в стороне их суть и выбор момента — что было по Ленину, что было по Троцкому,— но не надо, Григорий Евсеевич, не надо

снимать с себя ответственность за то, что в важнейшую идейную борьбу вы все — и Зиновьев, и Сталин, и Каменев, и Троцкий — вы все привнесли элементы интриги и политиканства. *(Каменеву.)* Что было дальше?

Каменев. Прочитав ваше письмо к съезду, мы решили во что бы то ни стало Сталина на его посту сохранить. Согласие пленума ЦК на это мы получили сравнительно легко. Больше всего я боялся съезда партии. Я считал, что самое главное не допустить чтения и обсуждения письма на пленарном заседании съезда. Тут ситуация могла выйти из-под контроля. Тогда я предложил прочитать документ каждой делегации отдельно, как говорится, для информации, и тем ограничиться. На самые крупные делегации мы пошли вдвоем — я читал, Григорий Евсеевич выступал... говорил о том, что пленум ЦК решение уже принял, что воля Ильича для нас закон, но есть один момент, где опасения Ильича, к счастью, не оправдались. Нет опасности раскола, и наш Генеральный секретарь замечания в свой адрес учтет, доверие партии оправдает. Эта тактика принесла нам успех. *(Помолчав.)* Простите, это не то слово.

Бухарин. Я был среди тех, кого вся эта операция не взволновала.

Ленин *(после молчания)*. Все мы знаем свой великий народ, его силу, его слабости, его, пока что, забитость и темноту... Национальная спесь нам глаза не закрывает. Но что из этого следует, какое действие? Вот вопрос вопросов, который разделяет людей на партии, философии, определяет политику, нравственность и все остальное. И даже нас, большевиков, людей одной партии, тоже разделяет в конечном счете отношение к народу... С трибун клянемся его именем, а в кабинетах делаем так, как нам удобно. Предпочитаем порядок, когда одни властно вещают, а другие смиренно внемлют. Кардинальный вопрос жизни партии будем решать в кругу партийных сановников, но только не с делегатами съезда, не с партийной массой, которую боимся. И человек в итоге — средство, а не цель. Вот что вас всех объединяет... Социализм ли в таком случае мы строим или нечто такое, что противоположно его принципам и от чего человеку, боюсь, тошнехонько будет... Я говорил Мартову «если», «если», но вы-то сами сознаете, какую роль сыграли в том, что эти опасные, но совсем не обязательные возможности стали реальностью? А все что было потом? Когда вы бросились в объятия к Троцкому и повели атаку на нэп под флагом сверхиндустриализации, наплевав на судьбу крестьян, наплевав на судьбу миллионов живых людей. Сколько здесь большевизма, а сколько принципиальных заблуждений, недопустимых для большевика, сколько беспринципных амбиций и ущемленного самолюбия? Да, товарищи, эти ваши ошибки пострашнее октябрьской будут.

Зиновьев и Каменев подавленно молчат.

Каменев. Мы готовы услышать от вас любую резкость... Только невыносима мысль, что кто-то истолкует ее как освящение того, что произошло потом.

Ленин. Кто вел ваш процесс?

Каменев. Вышинский.

Ленин. Это какой Вышинский? Меньшевик?

Зиновьев. Тот самый. В 17-м году он был председателем Якиманской управы Москвы и, вслед за Керенским, подписал приказ о нашем с вами аресте как немецких шпионов... То, что не удалось тогда, было сделано господином Вышинским двадцать лет спустя.

Керенский. Не скрою, я испытал некоторое чувство удовлетворения.

Ленин *(Каменеву и Зиновьеву)*. Как это было?

Зиновьев. От имени ЦК от нас потребовали ради интересов партии дать согласие на участие в открытом процессе.

Ленин. Ради партии?

Каменев. «Вы боролись против Сталина, партия за вами не пошла. Для того, чтобы ваши сторонники разоружились, действительно порвали с вашими идеями и снова вернулись в партийную веру, надо всем им показать, куда пришла оппозиция, в какое болото завели ее Троцкий, Каменев и Зиновьев...» Что-то в этом роде...

Зиновьев *(ирония)*. Надо было взять на себя совсем немного: по заданию Троцкого мы организовали убийство Кирова и готовили убийство Сталина, Ворошилова и других руководителей партии.

Каменев. И в случае согласия нам, нашим женам, детям, друзьям и товарищам будет сохранена жизнь.

Зиновьев. Владимир Ильич, к тому времени мы уже были и морально, и физически сломлены.

Каменев. Мы сказали Ягоде, что согласны, но при условии, что Сталин подтвердит все свои обещания в присутствии всего Политбюро.

Зиновьев. Когда нас ввели в его кремлевский кабинет, из членов Политбюро там были только Сталин и Ворошилов.

Каменев. Мы остановились посредине кабинета. Они сидели, мы стояли. Все молчали. Наконец, Сталин показал на стулья.

Перемена света.

Сталин. Ну, что скажете?

Каменев. Нам обещали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро.

Сталин. Перед вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что вы скажете.

Зиновьев. За последние два года нам с Львом Борисовичем давалось немало обещаний, но ни одно из них не было выполнено. Можем ли мы теперь полагаться на новые? Когда после смерти Сергея Мироновича нас заставили сказать, что мы несем моральную ответственность за это убийство, Ягода передал нам личное ваше обещание, что это наша последняя жертва. Тем не менее теперь готовится новое судилище, которое покроет грязью не только нас, но и всю партию, всю революцию, дискредитирует саму суть большевизма в глазах всего мира.

Сталин. Пусть нас тут не запугивают. Мы не из пугливых.

Зиновьев. Я взываю к вашему благоразумию... я заклинаю вас отменить этот процесс... Он бросит на страну пятно небывалого позора. Это будет удар по идее социализма... Если вы так хотите нас убить — убейте без шума, но не заставляйте старых большевиков признаваться в том, что они были бандой убийц. Подумайте только, вы хотите изобразить членов ленинского Политбюро и личных друзей Ленина — да, спорили! да, ругались! но ведь были же близки! — вы хотите изобразить нас беспринципными уголовниками, а нашу большевистскую партию... партию пролетарской революции представить змеиным гнездом предателей и шпионов... Если бы Владимир Ильич был жив, если бы он видел все это... *(Не выдержав, рыдает.)*

Каменев. Поймите, если мы, старые большевики, террористы — это значит, мы должны отречься от всех принципов большевизма.

Сталин. Неужели впервой? Возникает законный вопрос: так ли эти люди дорожат своими принципами, своими взглядами, своими убеждениями? Еще никто в истории не перескакивал так легко от одних принципов к другим, никто еще не менял так легко своих взглядов, как эти люди. Со Сталиным — против Троцкого, с Троцким — против Сталина. Если вы так часто отрекались от своих взглядов, так ли тяжело вам будет еще раз отречься? Я думаю, что мы возлагаем на Каменева и Зиновьева не самую тяжелую ношу, во всяком случае, привычную. Сколько воплей, плача и завываний по пустяковому поводу: не раз отрекались, почему бы не отречься еще раз?

Каменев. А вы не допускаете, что мы были с вами до тех пор, пока вы были на ленинских позициях? Что угодный вам принцип личной преданности вместо...

Зиновьев *(испуганно)*. Лев Борисович!

Сталин. Каменев что-то хочет сказать? Мы слушаем. *(Каменев молчит.)* У нас в Политбюро абсолютно правильно говорят: Каменеву и Зиновьеву спасибо за прошлую успешную работу в партии, за прошлую успешную борьбу с троцкизмом, на которой многие учились. Но беда их в том, что они сами отказались от своего хорошего прошлого. Мы должны сказать, что болели за них, старались всемерно сохранить их у руководства партии, но они сами сделали все, чтобы все прежние дружеские нити были разорваны. Им, видите ли, стало обидно, что не они теперь определяют жизнь партии, не они теперь диктуют партии свою волю, не они теперь, образно говоря, на коне. И вместо того, чтобы смириться, обуздать гордыню, приползти на брюхе с покаянием на устах, они пытались схватить жизнь за фалды, они переметнулись к Троцкому. Что говорил великий Ленин о том, как надо поступать при измене вождей? Я тоже ученик Ленина, и я его мысли понимаю так: либо полная и безоговорочная капитуляция, либо пусть уходят. А не уйдут — вышибем.

Зиновьев. Мы во многом виноваты перед партией, мы не хотим сейчас, на краю могилы, обелять себя. Но у нас и в мыслях быть не могло...

Сталин. А кто говорил про меня на пленуме ЦК: «В какое бы положение ни поставила нас зарвавшаяся клика сталинцев, мы до конца будем бороться против могильщиков революции»? Кто говорил про меня, что наши съезды партии являются высшим торжеством аппаратной механики? Кто сладострастно повторял про меня, что я самая гениальная посредственность нашей партии? Кто говорил про меня на XIV съезде партии: «Я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба»? Я никогда ничего не забываю. Вы пигмеи, возомнившие себе, что спасаете революцию... В 17-м году вы все совершили измену делу революции тоже под флагом ее спасения...

Каменев. В 17-м году вы этого не считали. Это вы выступили против предложения Ленина исключить нас из партии.

Сталин. За это мне и попало от Ленина, и поделом. *(Зиновьеву.)* Теперь поздно плакать, о чем вы думали, когда вступали на путь борьбы с ЦК. ЦК не раз предупреждал вас, что ваша борьба кончится плачевно. Вы не послушались, а она действительно кончилась плачевно. Даже теперь вам говорят: подчинитесь воле партии — и вам, и всем тем, кого вы завели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать. Так что вам остается благодарить только самих себя, если дело закончится еще более плачевно, так скверно, что хуже не бывает.

Каменев. А где гарантия, что нас не обманут еще раз?

Сталин. Гарантия? Какая тут, собственно, может быть гарантия? Это просто смешно! Может быть, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций? Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на местечковом базаре, где идет торг насчет украденной лошади, а на Политбюро Коммунистической партии большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны, — тогда,

товарищи, я не знаю, есть ли смысл продолжать с ними разговор. Что? Вот Ворошилов говорит, что, если у Зиновьева и Каменева осталась хоть капля здравого смысла, они должны стать на колени перед товарищем Сталиным за то, что он сохраняет им жизнь. А нет здравого смысла, черт с ними, пусть подыхают! Что скажет нам Зиновьев, есть у него хоть капля здравого смысла?

Зиновьев *(после долгого молчания)*. Есть.

Сталин. Было время, когда Зиновьев и Каменев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросу диалектически. Сейчас они рассуждают как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не может расстрелять их безо всякого суда, если сочтем нужным. Они забывают три вещи: во-первых, судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии... Во-вторых, если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого? В-третьих, товарищи также забывают, что мы, большевики, являемся учениками и последователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними ни числились.

Долгая пауза.

Каменев. Мы согласны. Но мы еще раз хотим уточнить, что никто из оппозиционеров, ни их жены, ни их дети не будут подвергаться преследованиям и впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры.

Сталин. Это само собой понятно.

Каменев. Ради этого мы согласны.

Перемена света.

Свердлов. Сталин, а вы тогда уже знали...

Сталин *(яростно)*. Я всегда знал только одно: все эти Зиновьевы, Каменевы, Бухарины и Рыковы только путались у меня под ногами, хватали за руки и не давали делать то, что завещал нам великий Ленин. А я поклялся у его гроба, и я выполнил свою клятву, что бы вы тут все ни говорили!

Перемена света. Траурный марш.

Сталин. Товарищи! Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь.

25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал ее как самую крепкую и самую закаленную в мире рабочую партию. В жестоких боях выковала наша партия единство и сплоченность своих рядов. Единством и сплоченностью добилась она победы над врагами рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!

Ленин *(не выдержав)*. Прекратите! Я не могу больше это слушать!

Мартов. Ирония истории не обошла и твоего дела.

Ленин *(собрав силы)*. Что ж, как говорится, и был вечер, и было утро.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 12 часов 30 минут

Керенский слушает доклад Полковникова.

Полковников. Все военные училища Петрограда приведены в боевое состояние. Прибывшие из Петергофа юнкера размещены в Зимнем дворце. Перехвачено радио «Авроры» с призывом Военно-революционного комитета действовать осмотрительно, но твердо и решительно.

Керенский. Осмотрительно...

Полковников. По сообщению Малянтовича местопребывание Ленина установлено. Вот-вот он будет арестован. Исходя из стратегической обстановки считал бы необходимым лишить большевиков свободы маневра, лишить их возможности свободно оперировать пространством всего города.

Керенский. Хорошо. Разводите мосты!

Занавес.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СМОЛЬНЫЙ. 13 часов 20 минут

Троцкий *(выходит вперед)*. Нас спрашивают, собираемся ли мы устроить выступление? Это будет зависеть от тех, кто хочет сорвать Всероссийский съезд. Если правительство захочет использовать то короткое время — 24, 48 или 72 часа, которое еще отделяет его от смерти, для того, чтобы напасть на нас, то мы ответим контратакой, на удар — ударом, на железо — сталью!

Правительство Керенского думает, что история делается в салонах и деловых кабинетах, где выскочки-демократы амикошонствуют с титулованными либералами, а вчерашние замухрышки из провинциальных адвокатов учатся наскоро прикладываться к сиятельнейшим ручкам. Дураки! Хвастунишки! Тупицы! История делается в окопах, где охваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы там поднести красного петуха к помещичьей кровле. Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь, отвечает вам история, чем богата, тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало. Вы воображаете всерьез, что история сегодня делается в Зимнем дворце? Вздор, лепет, фантасмагория, кретинизм! История — да будет вам ведомо! — выбрала на этот раз своей подготовительной лабораторией бывший институт благородных девиц. И отсюда она готовит ликвидацию всей нашей помещичье-буржуазной гнили и похабщины. Сюда, в Смольный институт, стекаются закоптелые делегаты фабрик, серые, корявые и вшивые ходоки окопов, и отсюда они раз-

возят по стране новые вещие слова: «Да здравствует социалистическая революция рабочих и крестьян!» *(Отходит в сторону, залу и всем, кто на сцене.)* А теперь я хочу заявить протест против явной тенденциозности театра. Пора же, товарищи, рвать со схемами «Краткого курса»! Я неоднократно писал после Октября, что публично объявляемая нами тактика ожидания съезда Советов не что иное, как сознательная дезориентация Керенского, маневр, притупляющий его бдительность, своего рода камуфляж. Устраивать восстание под голым лозунгом захвата власти партией — это одно, а подготовлять и потом осуществить восстание под лозунгом защиты прав съезда Советов — это совсем другое. Неужели это не ясно? Зачем же по-прежнему идти на поводу у сталинской школы фальсификаторов истории?

Мартов. Послушайте, Троцкий, это неправда. Никто тогда из нас, участников этой драмы, ни в Смольном, ни в Зимнем не отдавал себе отчета в происходящем. Всех тащили за собой события. Вы действительно ждали съезда, и у вас были свои резоны. А всю эту теорию камуфляжа вы прочли у нашего Суханова года через два после революции, а потом уже сделали своей. Она понадобилась вам для того, чтобы снять противоречие между вашей позицией и позицией Ленина, который полагал, что ждать съезда — это полный идиотизм. Уверяю вас, если бы съезд собрался не на фоне восстания,— ни мы, ни эсеры со съезда бы не ушли, и большевистские руки не были бы развязаны. Вы, конечно, сыграли выдающуюся роль в организации восстания, этого опровергнуть никто не может, но если бы не Ленин, не его приход в Смольный в 12 ночи, вы стали бы, как говорят на Западе, человеком «упущенные возможности».

БЫХОВ. 14 часов 40 минут

Генералы обсуждают дислокацию Лукомского.

Марков. Коллонтай.

Корнилов. Безусловно.

Лукомский. Максим Горький.

Деникин. Мартова туда же и Плеханова.

Корнилов. Бронштейн... Каменев... Сталин... И этот, как его — Иоффе.

Марков. Вообще с большевиками ясно — их надо всех.

Деникин. Их хорошо бы все-таки вытащить на процесс, хотя бы главарей.

Марков. Зачем? Главное — не церемониться и не связывать себе руки юридическими формальностями.

Лукомский. Один процесс мы осилим. Мотивированное и хорошо подготовленное обвинение в шпионаже в пользу Германии — это посильнее, чем просто расстрел. Это политический расстрел.

Корнилов. Вся эта левая, так называемая революционная демократия,— здесь вопроса нет. Страна это встретит с пониманием. Я ставлю другую задачу — надо вызвать состояние шока, паралича, чтобы ни одна мразь не посмела поднять голову. Понимаете — шока! Добьемся мы этого, поставив к стенке Ленина с каким-нибудь рабочим? Никогда. А вот если на фонарных столбах закачаются Родзянки и Милюковы, Струве и Бердяевы...

Марков. Не забудьте Керенского!

Деникин. А вот Струве — это уже перебор.

Корнилов. Не страшен перебор, Антон Иванович, страшен недобор. Мы парализуем всю эту публику только в том случае, если невод наш будет достаточно широк. Я шутить не люблю. Всей этой мыслящей, болтающей, претендующей публике — все наши несчастья от нее! — укорот! Пройдет по Руси конвульсия — считайте, победили. Поймите, я человек совсем не кровожадный, я тоже исхожу из целесообразности. Нам с вами надо Россию спасать. Не мы ее на край могилы поставили, а спасать нам.

Лукомский. Только в случае конвульсии мы сможем реализовать наш план стройной системы военной диктатуры. Все население формируется в три армии — на фронте, на транспорте и на заводах в тылу. Советы разгоняются, все массовые организации, профсоюзы распускаются, печать, за исключением нашей, ликвидируется...

Деникин. Ну зачем же, мы все же Европа. Достаточно жесткой цензуры.

Лукомский. Согласен. Все партии будут распущены. Вся общественная деятельность — через новую политическую партию во главе с Корниловым.

Деникин. Тоже не уверен. Нам стоит делать вид, что мы в тени. Мы — генералы, люди дела. Болтающих людей для партии мы всегда найдем.

Марков *(смеется)*. Оставим кого-нибудь на разживу...

Корнилов. Добавьте немедленное расформирование и фильтрацию всех революционизированных частей. Для солдат этих частей — концлагеря с самым суровым режимом и уменьшенным питанием. Режим военно-полевых судов и смертная казнь для гражданских лиц по всей стране. Ни Петрограду, ни Москве я не верю. Пусть там сначала поработают казачки.

Лукомский. Проблема будущего государственного устройства?

Марков. Исходя из исторической традиции, характера нашего мужика, его привычек — ему нужен один. Монархия и только монархия.

Лукомский. Царя лучше посадить на 5 лет позже, чем на 5 минут раньше.

Деникин. Я бы не предрешал. Нам сначала надо въехать в Зимний. Но и потом я не стал бы отказываться от военной диктатуры.

Лукомский. А Учредительное собрание?

Марков. Разогнать сразу же после созыва, если отклонят нашу диктатуру.

Керенский. Подождите! Остановитесь! Все слышали? Вы чувствуете, какая связь между двумя видами русского экстремизма? 5 января 1918 года большевики распустили Учредительное собрание, потому что оно отклонило большевистский режим. А что сделали с депутатами Учредительного собрания господа генералы? Нет, не эти, но их родные братья — Колчак и иже с ним. Я считаю своим долгом обнародовать эту историю! Сначала депутаты-эсеры были арестованы Колчаком в Омске. Большевики подняли восстание, освободили всех арестованных, но *(увлекаясь)*, увы, к сожалению, не смогли удержаться. Колчаковцы предложили всем арестованным вернуться в камеры, гарантируя им жизнь. Наши славные товарищи, те самые депутаты Учредительного собрания, как и подобает честным революционерам, вернулись в свои камеры. И что же? Той же ночью избранников народа выволокли из тюрьмы и всех закололи штыками, даже пули пожалели. Пусть общественность знает об этом! Скажу больше: я всегда полагал, что победа генералов породила бы в России одну из форм военно-фашистской диктатуры! Вот уж воистину путь к могиле!

Корнилов *(Керенскому)*. Хватит болтать! Сейчас три часа пополудни. Лучше скажите, что вы сделали, чтобы раздавить большевиков? Вы начали действовать решительно или до сих пор трусливо топчетесь на месте?

Деникин. Наша правота, господин Керенский, правильность линии, которую мы выработали, подтверждена жизнью, историче-

ским опытом,— именно эти методы и средства позволили Сталину, подобно Петру Великому, вывести Россию в разряд великих держав мира. Существует мнение, говорят, что Черчилля, Сталин, мол, ошибся дважды: когда Ивану показал Европу и когда Европе показал Ивана. Я решительно с этим не согласен, так мог сказать только не русский человек. То, что Ивану была показана Европа,— это было благом, армия осознала себя великой национальной силой. И безусловно, не была ошибкой Сталина демонстрация Европе нашего доблестного Ивана. Пусть это раз и навсегда отобьет у них охоту ходить к нам с мечом.

Сталин. Генерал, если вы такой апологет методов товарища Сталина, почему вас не было среди группы эмигрантов во главе с Маклаковым, которые весной 45-го года в Париже пришли к моему послу Богомолову и заявили, что признают мое правительство как национальное правительство России?

Деникин. Признавая целесообразность методов и средств, которые мы только предполагали применить, а вы, применив, преуспели, я тем не менее категорически отрицаю ваше право на русский престол. Я считаю, что на русском престоле, неважно, как он называется, должен сидеть русский человек.

Сталин *(задет)*. Николай Второй и все русские цари были очень русскими людьми? Вы шовинист, генерал! Не кажется ли вам, что сама постановка такого вопроса для такой многонациональной страны, как наша, просто безнравственна?

Деникин. Я человек прямой: есть вещи, которые мне у вас нравятся, а есть...

Сталин. Фейхтвангер в своей книжке о Москве 37-го года вспоминает ответ Сократа по поводу некоторых неясностей у Гераклита. Великий Сократ сказал так: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

КВАРТИРА ФОФАНОВОЙ. 15 часов

Ленин ходит по квартире, сосредоточен, угрюм. Поднимается Струве.

Перемена света.

Струве. Владимир Ильич, я хочу говорить с вами.

Ленин. Пожалуйста.

Струве. Сейчас три часа дня. Вы думаете о том, что ваше место сейчас не здесь, а в Смольном. Я хочу доказать вам, что, если вы так и останетесь здесь, это будет благом для России. Сейчас только три часа дня, еще все можно переиграть...

Ленин. Петр Бернгардович, а стоит ли тратить время? Я ведь вас так хорошо знаю, хотите, изложу вашу речь дословно? «Наш русский человек пока что раб, тому десятки причин...»

Струве. Мне не до юмора. Наш русский человек действительно пока что раб, и тому десятки причин. И вы, и мы хотим видеть его свободным человеком. Вы считаете, что для этого нужно изменить внешние условия, общественные обстоятельства, иными словами — необходима революция. Мы отвечаем вам, что, сколько раз ни менялись на Руси обстоятельства и условия, даже если учесть ваш Октябрь, русский человек все равно не меняется — рабство вбито в него накрепко. Почему же он не меняется? Потому что внутренняя сущность человека зависит не от обстоятельств, не от общественных условий, а от того, есть ли в нем высшее, духовное начало — «царство божие внутри вас есть». Пока человек сам не станет внутренне свободен, никакими революциями вы не сделаете его свободным. Начиная с декабристов и кончая вами, все русские революционеры были духовными братьями русской смуты, русского хулиганства. Потому что, возбуждая своими подвигами народ, они несли России одни только несчастья, ибо ничего кроме кровавого бунта и кровавой расплаты за него не породили. Вот где преступление русской интеллигенции, вот за что она должна принести покаяние и раз навсегда заречься возбуждать народ против власти. Истинное поприще русской интеллигенции не бунт и революции! Простите за библейскую мудрость, уверен, что это не ваш язык, но великий смысл, в ней заложенный, и вам открыться может: «Не здесь мы, чтобы проклясть тьму, а чтобы возжечь светильник!»

Ленин. Как человеку подняться с колен? Это, в конечном счете, и смысл, и содержание нашей революции. Как? Как превратить испуганного созерцателя в борца? Страшно. Тысячи видов страха. Как преодолеть? Я убежден, что человек формируется в деянии, в поступке, а не в столетнем стоянии на коленях перед иконой. И когда он поднимается с колен, чтобы сказать правду, сделать правду, примкнуть к правде,— именно в этот момент он изменяет общественные обстоятельства и изменяет себя.

Струве. Нет, Ульянов, это все выдумки немецкого еврея, перелопаченные на русский лад.

Ленин. Не стыдно ли, Петр Бернгардович?

Струве. Не стыдно. Я сам этим баловался, и я знаю, что говорю. Не для русской это почвы, она других семян жаждет, чистых, великорусских. Что, мы сами не можем придумать что-нибудь стоящее? Что, у нас нет в конце концов чувства национальной гордости?

Ленин. У нас есть это чувство. Но оно в другом. Русский народ доказал, что он способен дать человечеству великие образцы борьбы, а не только великие погромы, виселицы, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед сильными мира сего. И у нас есть чувство глубокого презрения к тем представителям русской интеллигенции, которые развязывают руки черной сотне против своей интеллигенции и своего народа.

Струве. Ничего другого я не ожидал.

Ленин. Так стоит ли?

Струве. Я думаю и о тех, кто слушает нас. Пусть думают.

Ленин. Пусть думают.

Струве. И ответят на главный вопрос: а верите ли вы, Ульянов, сами в то, о чем говорите? Верите ли в революцию, планируя ее самоотрицание? Обещаете народу демократию, хотя прекрасно знаете, что диктатуру пролетариата превратите в монополию на власть для одной партии, все остальные разгоните, печать запретите, террор развяжете, каждого мыслящего не так поставите к стенке...

Спиридонова. Одну минуту! Я должна вмешаться! Меня никто здесь не заподозрит в симпатиях к большевикам, но отмолчаться сейчас было бы безнравственно. У господина Струве короткая память. Ленин никогда не думал и не говорил о диктатуре пролетариата как об однопартийной системе. Более того, предлагая нам в декабре 17-го пропорциональную систему выборов, он говорил, что Советская власть дает возможность трудящимся, если они недовольны своей партией, переизбрать своих делегатов, передать власть другой партии и переменить правительство без малейшей революции. Вы же это прекрасно знаете... От всех партий большевики требовали только одного: признания основных декретов Октября и отказа от вооруженной борьбы с Советской властью. А что в ответ? Вся доза свободы, которая была предоставлена партиям, все время использовалась только для того, что на юридическом языке называется стремлением к

низверженню существующего строя. Какое правительство, я вас спрашиваю, смирилось бы с этим? Вы бы смирились? Мы бы смирились? Никогда! Можно только дивиться долготерпению большевиков. Октябрь был чистым источником, его замутнила гражданская война. Поэтому не надо, господин Струве, изображать из себя святую невинность, вы мужчина с опытом: и с Лениным за одним столом посиживали, и у Врангеля в министрах побывали, и нам тут про непорочное зачатие рассказали. Мы все несем ответственность за то, что реальная возможность конституционной смены партий у власти, которую предлагал нам Ленин, была утрачена. Ну, а когда случился Кронштадт и все наши партии его поддержали, ответ большевиков был однозначен — партии были запрещены. И тем не менее Ленин в 22-м вновь вернулся к мысли о легализации меньшевиков.

Струве. И все это после той пули в затылок, которую вы получили от них?

Спиридонова. В лицо, господин Струве, в лицо. *(Залу.)* Да, нам всем тогда казалось, что в своей борьбе с большевиками мы думаем о завтрашнем дне России, а оказалось, что мы жили только сиюминутными узкопартийными интересами. Это и мы убили политическую оппозицию в России и создали для большевиков невыносимые, развращающие условия для существования. Бесконтрольная власть погубит и святого. Ни на йоту не отказываясь от программной стратегии своей партии, тактику хочу предать анафеме. Когда я делала свои последние шаги по этой земле, я думала и о нашей вине. Но все-таки не судите нас строго. Мы искренне верили, искренне заблуждались, до боли сердечной любили Россию и умерли, несмотря ни на что, идейными людьми, свято верящими в социализм.

Струве. Поразительно!

Ленин. Вам этого не понять, Петр Бернгардович.

Струве. Да, наверное. И тем не менее последний мой довод. Что произойдет в результате революции? Вы выпустите на сцену Хама.

Ленин. Вон вы как заговорили о любимом народе.

Струве. Да, Хама. Чтобы держать его в узде, никакие нэпы не помогут. Что делать с Хамом,— вот главный вопрос для любой власти в России. Только самоубийцы могут думать о демократии на российской почве, тем более социалистической. Чтобы загнать Хама обратно в стойло, Сталину придется встать на государственный, имперский путь. Он будет строить великую мировую державу, а не первую фазу коммунистического общества. Ну, а поскольку таким образом большевизм будет дискредитирован, люди начнут искать выход в великой русской национальной идее, только она способна вытеснить большевизм. Марксизм, социализм в России ждет смерть. Так стоит ли, Владимир Ильич?

Ленин *(ирония)*. В гимназии по закону божьему у меня всегда была пятерка. Я отвечу вам словами святого апостола Павла из первого послания к коринфянам: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение».

Три звонка во входную дверь. Появляется Фофанова. Струве возвращается на свое место.

Перемена света.

Фофанова. Это я! Мосты разводят! Говорят, Керенский приказал! Я, как услышала, отпросилась — и домой. Вы обедали? Вот «Рабочий путь» по дороге купила. Утром, оказывается, юнкера разгромили типографию, а наши отбили и номер выпустили...

Ленин *(погружается в газету)*. А что вам сказала Надя?

Фофанова *(накрывает на стол)*. ЦК согласия не дает. Вас ищут.

Ленин. А что на улицах? Началось или нет?

Фофанова. Да как вам сказать... Вроде все, как обычно. На улицах людей много, магазины работают, очереди... Если и началось, то как-то незаметно...

Ленин *(просматривая газету)*. Что? Что? Они сошли с ума! Они решили ждать съезда! Это крах!

Фофанова. Что с вами, Владимир Ильич?

Ленин. Так вот почему меня маринуют здесь... Вы читали, что пишет Сталин в передовой? Не восстание сегодня, а ожидание съезда завтра. Теперь мне все становится понятным... соратники... друзья... Вчера Зиновьев и Каменев... сегодня Сталин и Троцкий... Маргарита Васильевна, никуда не уходите. Сейчас я подготовлю для вас письмо...

Перемена света.

(Сталину и Троцкому.) Что это значит?

Троцкий. События развиваются планомерно. Мосты развести не дали, собираемся установить контроль над телеграфом.

Сталин. Мы выбрали такую политику...

Ленин *(яростно)*. Это говно, а не политика! Перестаньте кормить меня сказками! Я спрашиваю вас в лоб: сейчас три часа дня, мы имеем факт восстания или нет? Или вы снова пытаетесь протащить тактику ожидания съезда?

Троцкий. Вы посмотрите, как красиво все получится... Простым голосованием...

Ленин. А если у нас не будет большинства?

Сталин. Если...

Ленин. Где точные ответы на тысячи «если»? Их нет. Значит, будем строить тактику, исходя из невесомых величин, исходя из фраз? Но это же не политика, а азартная игра! Сегодня за нами идет большинство народа, у нас есть возможность почти бескровно взять власть, а вы играете вещами, которыми играть нельзя! Вы оба все время заглядываете в историческое зеркало,— как мы выглядим, какие молодцы, простым тактическим ходом решим великие стратегические задачи. А если сорвется? Чем прикажете удовлетвориться народу? Вашими охами и вздохами и идиотскими сожалениями?

Троцкий. Ну, знаете, Владимир Ильич...

Ленин. Знаю! Через пять месяцев в Бресте опять будет игра, а не политика! Это поразительно! Вы все — и Зиновьев, и Каменев, и Троцкий, и Сталин — вы все по праву входите в большевистский штаб, роль каждого огромна, но ваши достоинства, продолженные дальше определенной грани, превращаются черт знает во что! Не только порча дела, помеха делу, но и крах всего дела! Почему вы не пускаете меня в Смольный?

Сталин. Из соображений безопасности.

Ленин. Бросьте, Сталин! Вы прекрасно понимаете, что мое появление в Смольном положило бы конец вашим играм в ожидание съезда, и поэтому держите меня на задворках. Безопасность... А вам с Троцким не приходит в голову, что в конце концов я плюну на ваши отказы дать мне охрану и пойду один... через весь город, где на каждом углу меня ловят и собираются укокошить... Впрочем, говорить с вами сейчас бесполезно, вы слышите только себя... *(Обращается к большевикам.)* Товарищи, я хочу говорить с членами ЦК, со всеми, кто сейчас здесь...

Свердлов, Каменев, Зиновьев, Дзержинский, Бухарин поднимаются со своих мест, подходят к Ленину.

Товарищи, в чем дело? Мы должны объясниться. Я требую ясности. Вот уже два месяца между мной и Центральным Комитетом партии что-то происходит. Я подчинился ЦК и уехал в Финляндию, сидел

в подполье, забрасывал ЦК своими предложениями и соображениями. Их прочитывали и вежливо отодвигали в сторону...

Каменев. Ну, Владимир Ильич...

Ленин. Вы, Лев Борисович, большой специалист по моим письмам. Не вы ли предложили мое сентябрьское письмо, где я ставил вопрос о восстании, просто сжечь?

Каменев. Нет, не я.

Ленин. Ну так не без вашего участия. Вы даже не вдумались в них как следует. Вы просто оставляли без ответа все мои настояния в этом духе. Кто правил мои статьи, кто вычеркивал из них все указания о ваших вопиющих ошибках? Вы, Иосиф Виссарионович?

Сталин. Почему я?

Ленин. Потому что вы с Каменевым вели тогда «Правду». Как я должен все это понимать? Я вижу во всем этом тонкий намек на нежелание ЦК обсуждать этот вопрос, тонкий намек на зажимание мне рта и предложение мне удалиться...

Зиновьев. Владимир Ильич...

Ленин. Я требую, чтобы мы говорили по-мужски! Вы заставляете меня подать прошение об отставке, что я и делаю, оставляя за собой право агитировать в низах партии и на съезде. Я отнюдь не считаю, что мое мнение безошибочно и оно должно быть всегда и везде заранее принятым. Но извольте обсуждать, а не замалчивать, извольте спорить, а не делать шахматные ходы, извольте ваши доводы, извольте политику, а не политиканство!

Сталин. Зачем такая ярость? Здесь все свои.

Ленин. Видя, что ЦК колеблется, что там могут взять верх настроения, представленные Зиновьевым и Каменевым, я, не дожидаясь вашего согласия, самовольно перебираюсь в Питер. Мы собираемся все вместе, общий язык находится сразу, мы едины, мы демократически обсуждаем и принимаем решение о восстании. Зиновьев и Каменев стреляют в спину. Я требую исключить их из партии, но ЦК за мной не идет.

Свердлов. Разногласия были очень быстро изжиты.

Ленин. Это верно. Я не ставлю под сомнение право ЦК принимать то или иное решение, но и никто не лишит меня права усомниться в этом решении, хотя я ему подчинился. Идем дальше. Только вчера мы условились, что начинаем сегодня. Наступает сегодня, и начинаются шахматы Троцкого. Сейчас три часа дня, я спрашиваю вас, товарищи члены ЦК: мы имеем факт восстания или мы занимаемся только ответными мерами? Что у нас — революция или комболтовня о революции? Не убедил — возражайте, спорьте, я согласен на любую ярость, только не молчите! *(Все молчат.)* Вы опять толкаете меня на действия через вашу голову... Я посылаю сейчас с Фофановой письмо с требованием решать дело обязательно сегодня вечером или ночью. Опасаясь ваших новых колебаний, я обращаюсь ко всем районам и полкам с просьбой оказать на вас мощный нажим и воздействие. Я категорически требую вывести меня в Смольный немедленно! *(Передает Фофановой письмо.)* Идите, Маргарита Васильевна, и без их согласия на мой уход не возвращайтесь.

Фофанова. Вы меня еще три раза будете гонять туда-обратно, а ответ будет один и тот же: нет, не выходить.

Ленин. Не может быть... *(Усталый, убитый, садится на стул.)* Впрочем, я привык к вольным обращениям с моими просьбами и рекомендациями.

Троцкий. Владимир Ильич, это у вас сейчас настроение.

Ленин. Настроение? *(Видно, что у него уже нет сил пускаться в новую дискуссию, но он превозмогает себя.)* В декабре 22-го, понимая, что умираю, диктую письмо съезду партии, прошу прочитать его на съезде. Казалось бы, чего проще? Во что была превращена моя просьба?

Троцкий. Я в этом не участвовал.

Ленин. Участвовали, еще как участвовали! Молча, скрестив руки, надменно наблюдать за тем, как на ваших глазах творится гнусность,— это, по-вашему, не участие? Как вы могли не протестовать против этой иезуитской процедуры — чтения письма по делегациям с комментариями Зиновьева, которые обессмысливали мое письмо? Каким образом было обеспечено ваше молчание? *(Бухарину.)* А ваше? *(Дзержинскому.)* Никто из вас не захотел задуматься над той самой решающей мелочью, которая стала причиной тяжелейшей трагедии социализма, революции. *(Сталину и Троцкому.)* Простой сдвиг, перемещение, разведение в разные стороны сохранило бы вас обоих для революции.

Троцкий. Вы так ставите вопрос?

Ленин *(яростно)*. А вы думаете, ваша позиция 20-х годов не разрушала Октябрь? А вы думаете, ваши призывы из Мексики к созданию подпольной партии, к восстанию, к гражданской войне находились в рамках Октября? *(Нервно ходит по комнате.)* Тогда еще, в 20-е годы, надо было менять систему, которая позволяла одному человеку сосредоточить в своих руках необъятную власть. Но, плюнув на одну мою рекомендацию, плюнули и на другую. Я предупреждал вас, что пролетарская политика нашей партии определялась в 22-м году не ее составом, мы весь наш цвет уложили в гражданской войне, в партию полезла масса швали, а громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который мы называли старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то, во всяком случае, ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него. Вы все подкидывали дрова в костер этой борьбы. В чем-то предупредить ее и наверняка значительно ослабить могла бы такая мера, как введение в ЦК ста рабочих от станка... настоящих пролетариев... которые бы ни слова не взяли на веру, ни слова бы не сказали против совести, не испугались бы никакого авторитета, если бы пришлось вещи называть своими именами. 30 функционеров и 100 рабочих. Этот рабочий контроль не дал бы вам расколоться.

Сталин. На 12-м и 13-м съездах мы увеличивали составы ЦК на 17 и 15 человек соответственно.

Ленин. За счет кого? Ни одного рабочего, ни одного крестьянина. А знаете, почему *(Сталину.)* вы так увеличивали, а *(Троцкому.)* вы такое увеличение одобрили? Потому что вы оба исповедуете одну и ту же авторитарную веру, масса для вас объект благодеяний, а не субъект самостоятельного творчества. Я всегда искал и ищу решения проблем в расширении демократии, а вы в противоположном направлении.

Сталин. Почему, Владимир Ильич? Я не произнес ни одного слова против демократии.

Троцкий. Я всегда воевал за демократию.

Ленин. Ну какую демократию признают любители «завинчивать гайки», известно достаточно хорошо. Это та «демократия», которая рассматривает народ как бессловесное стадо, но от имени которого можно вещать и вершить судьбами людей. Какие-то рабочие на заседаниях Политбюро, что они могут понять, в чем разобраться? Старик рехнулся... Что, не так? Так, так! Во всяком случае, в то, что было привнесено в идейную борьбу, что переплелось с ней и отравило ее,— в этом бы они разобрались. Они бы не дали вам расколоться.

Сталин. Это иллюзия, Владимир Ильич.

Троцкий. Я согласен. Это иллюзия.

Ленин. С этой, как вы говорите, иллюзией, а на моем языке верой в русского рабочего, его возможности, его здравый смысл я прожил жизнь, и у меня никогда не было оснований сожалеть об этом.

Сталин. Шла суровая идейная борьба, а это всегда в глубине борьба за власть. Как будут определять ваши рабочие, какой удар в этой драке нужный, какой лишний? Иллюзия.

Ленин. Идейная борьба в партии, товарищ Сталин, от драки отличается тем, что должна вести не к взаимному отметанию, а к взаимному воздействию. Можно ли в каждом противоположном мнении видеть только злой умысел или контрреволюционную подкладку? Можно ли вносить в эту борьбу, как это часто делали вы, черты озлобления, которое в политике играет только наихудшую роль?

Сталин. Когда речь шла о единстве партии, вы тоже за словами в карман не лезли. Вспомните X съезд и вашу резолюцию о единстве. В конечном счете именно она помогла нам сковать единством стальные ряды нашей партии.

Ленин *(помолчав)*. В критические моменты жизни, когда внутренняя опасность страшнее деникинской, нет места фракциям и оппозициям. Я глубоко убежден в этом. Но речь тогда шла о конкретном моменте и конкретных данных разногласиях, а не вообще. Вообще запрещать в партии борьбу мнений и течений, вообще лишать партию и членов ЦК права обращаться к партии, если вопрос коренной, принципиальный,— это к какому же единству мы придем? Да, единство — сила партии, но слепое безыдейное единство, основанное на беспрекословной воле вождя, на личной преданности ему, на отсутствии споров, борьбы мнений,— это страшная слабость партии. А если вождь вдруг пошел не туда? Ведь тогда партия, подавленная догматическим пониманием единства, не сможет воспользоваться своими правами и обязанностями, она будет молчать, хотя обязана кричать, она санкционирует все, что изречет и сделает вождь. Резолюция о единстве как инструмент единства или как орудие затыкания ртов и уничтожения неугодных? Единство на убеждении или единство на страхе? И большой ли отсюда шаг к бонапартизму, прикрытому какой-нибудь коммунистической вывеской? К коленопреклонению и обожествлению? Сколько здесь социализма? Сколько демократии, столько и социализма!

Сталин. Вы, что же, вообще ставите под сомнение мою роль в борьбе 20-ых годов?

Ленин. Нет. Там, где вы возглавляли принципиальную борьбу за наследие Октября,— там мы были с вами. А там, где вопиющая беспринципность покрывалась амальгамой марксизма, стыдно становилось не только живым. Ну, например, это идолопоклонничество, организованное вами...

Сталин. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я терпел всю эту шумиху, всю эту аллилуйщину, потому что знал, какую наивную радость доставляет это нашему народу. Но вы не можете жаловаться: ваше имя всегда было в любви и почете, ваши портреты висели, вам поклонялись...

Ленин. Нет лучшего способа убить политического деятеля, чем превратить его в икону. Кстати, о любви... Комендант Московского Кремля Веденин, принимая кремлевские помещения, обнаружил в каком-то темном коридоре под лестницей свалку книг, покрытых запыленной тряпкой. Выяснилось, что это книги из моей библиотеки. В квартире по вашему указанию сделали машинописное бюро, а книги свалили под лестницу.

Сталин. А что же с ними было делать — музей, что ли, открывать?

Ленин. Отдать в Румянцевскую библиотеку вернее, чем под лестницу...

Сталин. Не знаю... Может быть, я грубый человек... Никто не жаловался, кроме... Я действительно груб с врагами партии... Я получил от народа мандат завершить дело, начатое вами... Такой ответственности в мировой истории ни у кого не было... И когда я говорил, что я всего лишь верный ученик товарища Ленина, я не кривил душой... Я действительно только развивал ваши методы и средства применительно к новой исторической обстановке.

Ленин. Это неправда и вы это отлично знаете! Сделать методы и средства, применимые исключительно в условиях открытой гражданской войны, универсальными методами строительства социализма — это тягчайшее преступление против социализма!

Дзержинский. Как можно открывать карманные фарфоровые часы старинной работы кувалдой и топором?

Ленин *(Сталину)*. И если вы и вам подобные называете себя учениками Ленина, ленинцами, то я в таком случае не ленинец!

Сталин *(едва сдерживаясь)*. Вы нам всегда говорили: «Маркс марксизма уже развивать не может, мы с вами должны». Это относится только к вам или к нам, смертным, тоже? Кто говорил: «Надо ломать и гнуть отжившие идеи, если этого требуют интересы народа»? Это только к вам или к нам тоже?

Ленин. НЭП в 29-м году — отжившая идея?

Сталин. Вы ошиблись в своих прогнозах и планах. НЭП уже в 28-м году перестал работать. Мы остались без хлеба. Я сам поехал в Сибирь на хлебозаготовки, я собственными глазами видел: хлеба полно, а не дают. Какие чувства просыпаются у наших товарищей, когда эта темная деревенская сволочь после того, как ты его два часа убеждал сдать хлеб, выходит вперед и говорит тебе: «А ты, парень, попляши, может, тогда я и сдам тебе немного хлеба». Что нам прикажете делать, товарищ Ленин? Плясать? Или взять их за горло, чтобы не умер город, чтобы жила Красная Армия, чтобы дымились трубы заводов! Когда-то, в 18-м году, вы послали меня в Царицын, чтобы взять хлеб и спасти революцию. Я не отступил перед нытиками и маловерами и дал хлеб революции. Так неужели отступать теперь? Мужик объявил нам войну. У нас не оставалось иного выхода, как победить и в этой войне.

Дзержинский. Это неправда. Мужик не объявлял нам войны.

Сталин *(Дзержинскому)*. А вам-то что неймется? Ушли из жизни как честный большевик, ну и молчите!

Дзержинский. Я умер, защищая НЭП от попыток Троцкого, Каменева и Зиновьева взорвать его. И ваши попытки я встретил бы так же.

Бухарин. НЭП, в первую очередь,— это система гражданского мира, тесного союза рабочего с мужиком, сложнейшая комбинация личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы, поразительное многообразие интеллектуальной жизни. Кто ведет страну? Партия, превратившаяся из партии гражданской войны в партию гражданского мира. Возможны ли кризисы? Возможны. Из-за наших ошибок в основном, нашей негибкости. Как преодолевать? На базе и в обстановке НЭПа. Какой выход из хлебного кризиса предложил Сталин?

Сталин. Я сам изложу свои предложения

Бухарин. Извините. вашу версию они слышали и изучали миллионы раз. Меня они не слышали ни разу.

Сталин. Их счастье в этом. Ты не парализовал их волю, не развратил сознания, не погасил огонь решимости своей либеральной болтовней. Им еще надо было войну выигрывать. За какое звено мы потянули в 29-м году, который мы по праву назвали годом великого перелома. Мы перешли от вытеснения капиталистических элементов города и деревни экономическими методами к вытеснению этих элементов методами административными и принудительными. Потому что на наших порогах полыхала война, потому что у нас не было времени ждать. Мы разрушили старую деревню, мы обложили мужика данью и заставили его работать на нашу промышленность. А кулака мы вообще ликвидировали как класс, злостных судили, остальных выслали. Мы насадили по всей стране систему колхозов и совхозов как базу социализма в деревне.

Бухарин. Вот именно — насадили. Мужик, который отлично знал, что ему обещал и дал Октябрь, не стерпел, не согласился, и вам пришлось заливать его сопротивление кровью. В итоге вместо гражданского мира по Ленину — полицейщина по Сталину.

Дзержинский. Все, что предлагали нам в 26-м году сделать Зиновьев, Каменев и Троцкий, метод искания ими путей, постановка ими вопроса, откуда взять средства для индустриализации страны,— все тоже клонилось к тому, что надо обобрать мужика.

Сталин. Ты, Дзержинский, не понимаешь. Родились новые поколения, они не видели ни революции, ни гражданской войны. Я дал им перспективу. То, что мы делаем,— это ваша революция, ваша гражданская война, товарищи, сказал я им. Дерзайте! Великий лозунг «Догнать и перегнать», который наш героический рабочий класс наполнил реальным содержанием, родился не в кабинете товарища Сталина. Мы только сформулировали то, что народ осознал.

Бухарин. Но ведь марксистов устраивает не всякий прогресс! Социализм — это не только тонны и метры, плотины и заводы, это прежде всего человек, это отношения между людьми. Если в этих отношениях нет социализма, если нам плевать на человека, то что мы строим?

Сталин. Мы строили и построили великую державу, не считаясь с которой теперь в мире ничего не может произойти.

Бухарин. Какие мы идиоты, почему же тогда мы не пошли за Столыпиным? Он тоже строил великую державу. Не потому ли, что мы хотели другого величия — социалистического? Никто не спорит против индустриализации и преобразования деревни на социалистический лад, это абсолютно необходимо, иного пути нет. Весь вопрос в том, к а к. Вот что нас разделило.

Сталин. Недаром тебя Троцкий называет Колей Балаболкиным. Вы все, лидеры правых, не понимаете наших большевистских темпов развития, не верите в эти темпы и вообще не приемлете ничего такого, что выходит из рамок постепенного развития, из рамок самотека. Ты действительно не диалектик, для тебя категория времени не существует. Мы не будем ждать милостей от истории, мы заставим ее отдать их нам. Иначе нас раздавят *(Помолчав.)* Ну, хорошо, а твоя программа в чем же? За что ты выступаешь?

Бухарин. За медленное, десятки лет, врастание в социализм через планомерный рост промышленности, через кооперацию, через тысячу и одну промежуточную форму кооперации, от низшей к высшей. За смену лозунга: не «кто кого?», а «кто с кем?». За преодоление трудностей в основном экономическими методами. За то, чтобы хозяйство существовало для человека, а не человек для хозяйства. За советский закон, а не советский произвол, умеряемый «бюро жалоб», неизвестно где обретающимся. За многообразие свободной культуры, а не за право сжимать всех в один кулак. За политическую диктатуру партии, которая никогда не забывает того, что говорил ей Ленин: «Если вы будете гнать всех не особенно послушных, то вы рискуете остаться в окружении дисциплинированных дураков и партию загубите тогда наверняка»! За резкий отпор всякому национализму, как грубому черносотенному, так и самому утонченному,— тоже требование Ильича. За совесть, наконец, которая в политике не отменяется, как думают некоторые. За то, чтобы всегда помнить: как нет сухой воды, так не может быть бесчеловечного социализма.

Сталин. И сколько лет на это просишь?

Бухарин. Не знаю, двадцать — тридцать, но все всерьез и надолго...

Сталин. А если завтра война?

Бухарин. Если завтра война, будем воевать, ничем, никакими обидами друг с другом не разделенные. Но если ты войне своими глупостями помогать не будешь, войны может не быть. Если ты не будешь раскалывать рабочий класс на Западе своими заявлениями, что социал-демократы — это фашисты. Если ты действительно будешь строить армию, а не обезоруживать ее арестами донельзя, ну и так далее...

Сталин. У нас всего 10 лет в лучшем случае, и за это время мы должны были совершить скачок из небытия в социализм. Вот почему я подхлестывал страну.

Бухарин. Хорошо, у нас было всего десять лет. Но разве нельзя их было пройти по-человечески, по-ленински? Скольких трагедий мы бы избежали, скольких людей мы бы сохранили! Ты спросил миллионы мужчин и женщин, которые совершили этот скачок из небытия в социализм, хотят ли они сойти в действительное небытие, в безвестные могилы оболганными, униженными, растоптанными, с клеймом «враг народа»? Чем ты ответил на их энтузиазм, которого не знала история человечества? Октябрьская революция, которую они приняли с таким воодушевлением, этой альтернативы в себе не несла. Что было бы с нашей партией, если бы 25 октября мы предложили делегатам Второго съезда Советов не ленинские декреты — мир, хлеб и свобода, а будущую программу товарища Сталина?

Сталин. Но ведь с тобой, Бухарин, никто не пошел. Даже твои дружки из левой оппозиции, ты бы задумался об этом. Лучше, чем сказал Троцкий в 28-м году...

Троцкий. Не отказываюсь ни от одного слова! Со Сталиным против Бухарина? Да! С Бухариным против Сталина? Никогда!

Бухарин. Это не мне, а вам, Иосиф Виссарионович, надо задуматься, почему с вами готов был идти рука об руку такой ваш враг, как Троцкий. Человек, для которого народ и революция всегда были только материалом для сооружения памятника себе, а разговоры о ленинизме без какого-либо понимания его духа, буквы и сути — прикрытием вожделенных планов. В политике вы антиподы, но в презрении к людям, к массам вы вполне можете соревноваться друг с другом.

Ленин. Николай Иванович, а почему, когда читалось по делегациям мое письмо к съезду, вас тоже не взволновала та «решающая мелочь», о которой я кричал партии?

Бухарин. Тогда я этого не понял. А когда понял, что сам стал картой в чужой игре, было слишком поздно.

Сталин. И партия ни тебя, ни Рыкова, ни Томского не поддержала.

Бухарин. Она до последнего момента ничего не знала. Мы ведь с вами все в единство играли. Мы не обратились к партии — это

наша главная вина. Мы стали жертвами аппаратной закулисной борьбы, в которой равного вам, товарищ Сталин, нет.

Ленин. Николай Иванович, не сводите все к этому. Это было бы слишком просто. Когда в письме к съезду я назвал Сталина одним из самых выдающихся деятелей нашего ЦК, я и сейчас думаю, что не ошибался. Не сбрасывайте со счетов его незаурядные, выдающиеся организаторские и политические способности.

Бухарин. И нашу способность к компромиссам, жертвой которых мы стали. По ночам я иногда думал, а имеем ли мы право промолчать? Ведь речь идет о судьбе страны. Не есть ли наше молчание просто трусость? И не становится ли тогда наша буза, вся наша борьба со Сталиным просто онанизмом? И все-таки мы промолчали, ко всем своим прегрешениям я добавил еще одно, может быть, самое тяжелое. Мы сами себя загнали в угол. Испугались нарушить те каноны единства, в создании которых участвовали.

Сталин. Мне опять не нравится характер того, что происходит на сцене. У нас, между прочим, в спектакле еще Зимний дворец не взят.

Бухарин. А чего ты испугался?

Сталин. Я чувствую, куда дело идет. Такие вопросы не театрами решаются.

Дзержинский. Но и театрами вводятся в круг обсуждения! Поставить точный диагноз, чтобы верно лечить болезнь, можно только всем миром. И эти три часа — наш вклад в работу консилиума, не более того. Продолжайте, Николай Иванович.

Бухарин. Но все-таки, наверное, мы с Рыковым и Томским чего-то недоучли, недооценили. Партия нас не поддержала. Мы капитулировали. Настроения в пользу методов военного коммунизма оказались сильнее. Мало кто понимал, насколько эти настроения противоречат их же коренным интересам. Конечно, положить маузер на стол и сказать безоружному мужику: «Отдавай все, что у тебя есть»,— гораздо легче, чем наладить гибкие цены, разумные налоги, хорошую агрономию. К 37-му поняли, но было уже поздно.

Крупская. Да сделать уже было ничего нельзя. Только попросить за кого-то...

Ленин. Ты пыталась?

Перемена света.

Крупская. Иосиф Виссарионович...

Сталин. Слушаю вас, Надежда Константиновна. Как самочувствие? Мне сказали, что вас тут обидели, не дали слова на городской конференции. Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, звоните сразу. Мы не потерпим такого отношения к нашим старикам.

Крупская. Я опять хочу просить вас.

Сталин. Вы о чем? О статье Поспелова по поводу ваших воспоминаний? Я думаю, вам лучше снестись с самим товарищем Поспеловым.

Крупская. Я не об этом. Он меня высек в «Правде», что и как я должна вспоминать об Ильиче, ну и пусть, ему ведь виднее. Пусть на его совести это останется.

Сталин. Узнаю авторское самолюбие, сам страдаю тем же.

Крупская. Иосиф Виссарионович, Платтена взяли. Он ведь Ильичу жизнь спас, помните, 1 января 18-го, когда первый раз в него стреляли... Шотмана взяли, Рахью взяли, Горбунова взяли... Я только о тех, кто совсем рядом с Ильичем был, кого мы очень хорошо знали... А теперь вот Емельянова тоже к расстрелу приговорили...

Сталин. С этими вопросами, Надежда Константиновна, надо обращаться не ко мне. Я не решаю эти вопросы.

Крупская. Подождите, товарищ Сталин! Я умоляю вас! Емельянов прятал Ильича в Разливе, я за него, как за себя, ручаюсь! Возьмите лучше меня! Он Ильича любил... он жизнь ему спас! Что же дети его скажут?!

Сталин. Хорошо, Надежда Константиновна. Мне вполне достаточно вашего поручительства. Я скажу кому следует... Но вы меня тоже простите, что я не сразу отозвался на ваш звонок. И давайте договоримся на будущее так: если вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь — ко мне или в установленном порядке, не имеет значения. Обращайтесь.

Перемена света.

Крупская (*Ленину*). Я хотела выступить на съезде партии.

Ленин. Выступила?

Крупская. Нет. За десять дней до съезда я умерла. 26-го февраля отпраздновала семидесятилетие, а 27-го умерла, переволновалась, наверное. Емельянову он жизнь сохранил, расстрел заменили на 25 лет, спасибо и за это.

Бухарин. Когда в 29-м году я высмеивал утверждение Сталина, что обострение классовой борьбы станет неизбежным законом нашего развития, я все-таки не мог себе представить, чем это в конце концов обернется для партии и народа.

Сталин. Я хотел тебе сохранить жизнь... я дал тебе шанс, но ты не воспользовался... Я отправил тебя весной 36-го за границу, зачем ты вернулся? Ты же отлично знал, чем кончится дело...

Дан. Знал. И мы все знали. Я разговаривал с Бухариным в Париже, уговаривал его не возвращаться, зачем же ехать на верную смерть? «Нет, эмигрантом я быть не могу».

Бухарин. Коба, по коварству равных тебе нет, но этот твой замысел был бездарным, уши так торчали, что их мог увидеть даже слепой. Представляю, какой радости я тебя лишил, когда не остался в Париже. Извини.

Сталин. Одной лишил, другую подарил, кто будет считаться из-за мелочей? Вернулся и вернулся. А что было у тебя все это время на уме, мы прекрасно знали из твоего доклада о Гете. Ведь цитируя Энгельса по поводу дилеммы, перед которой оказался Гете, ты на самом деле говорил своим сторонникам о себе: «Существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать...» Кажется, так? Не перепутал? (*Улыбается.*) Я думаю, ты не откажешь нам в проницательности. В таком случае возникает законный вопрос: что такое двуличие, что такое двурушничество?

Бухарин. Если так все спрямлять...

Сталин. Не спрямлять, сводить к истинам, понятным простым людям, интересы которых я представляю. А теперь посмотри на свой портрет со стороны: воззрения с большим трудом можно отнести к марксистским, никогда не понимал диалектики — это все не я, это Ленин. Прибавлю к этому: кулацкий подпевала и подголосок. Двурушник: в 28-м побежал с объятиями к Каменеву, которого только вчера топтал ногами. Спрашивается, зачем? Чтобы составить блок против меня. «Проклятая помесь лисы и свиньи»,— это не Вышинский так тебя назвал, это я ему сказал, чтобы он так тебя назвал. Спрашивается поэтому, случайно ли наша партия предпочла волевого практического политика такому жалкому пигмею, как ты, слезливому гуманисту, тычащему нам в нос совестями и нравственностями под аккомпа-

немент кулацких обрезов? Не ты ли сам про себя сказал: «Я худший организатор в России»? Я думаю, что партия сделала свой выбор не случайно, не с кондачка. Я думаю, что наша партия сделала свой выбор правильно.

Бухарин *(молча смотрит на Сталина, отворачивается, Ленину).* Перед моим арестом, почти полгода, Ежов и Вышинский каждый день по указанию Сталина присылали мне домой протоколы допросов, где я был и английским, и немецким шпионом, и подручным Троцкого, и хотел убить вас, Владимир Ильич, и, конечно, убить Сталина, ну и так далее, скучно рассказывать. Рассчитан был этот иезуитский прием снайперски. Я был сломлен, каждую ночь ждал звонка в дверь, но Иосиф Виссарионович решил несколько продлить себе удовольствие. Октябрьскую демонстрацию я смотрел на Красной площади на обычных зрительских местах. Подходит красноармеец: «Товарищ Сталин просил вам передать, что вы не на месте стоите, и просит вас подняться на мавзолей». У Томского хватило сил застрелиться, мы с Рыковым не смогли. Он хотел, но семья не дала. Я понял, что все пришло к концу, написал завещание. Я начал его так: «Ухожу из жизни...» Попросил жену выучить и порвать. И каждый месяц записывать, повторять и снова рвать. Так оно дошло до этих дней. В начале февраля Серго нашел возможность сказать нам с Рыковым, что он и ряд товарищей не верят всей этой галиматье, что на февральском пленуме, где будет обсуждаться наш вопрос, скажут свое слово. Григорий Константинович был нашей последней надеждой.

Перемена света.

Сталин. Что случилось, Серго? Чего тебе нужно? Звонишь по ночам, спать не даешь...

Орджоникидзе. У меня в квартире НКВД устроило обыск.

Сталин. Ну и что? Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного...

Орджоникидзе. Ночью забрали всех моих замов и всех начальников главков Наркомтяжпрома. *(Еле сдерживает себя.)* Что это значит?

Сталин. Это я тебя должен спросить, что это значит! Я тебя предупреждал на Политбюро — твое попустительство врагам народа, твое заигрывание с такими матерыми негодяями, как Бухарин и Рыков, даром не пройдет, обязательно скажется на твоем моральном облике.

Орджоникидзе. О морали не надо.

Сталин. Ты что нам устроил на дне рождения Клима? Политбюро идет по залу на сцену, а товарищ Орджоникидзе протискивается между рядами, чтобы на глазах у всех облобызаться с Рыковым, по которому веревка плачет. И Политбюро стоит на сцене в дураках и ждет одного товарища Орджоникидзе. Что ты показывал? Кому показывал? Мне показывал? Ушзн мама дзагло!

Орджоникидзе. Зачем тебе Бухарин и Рыков? Не напился?

Сталин. С кем разговариваешь?

Орджоникидзе. С тобой разговариваю. А ну сядь! *(Сталин неожиданно для самого себя садится.)* Ильич про тебя писал — «законный любимец партии», Ильич про меня писал — «законный любимец партии», или он про него писал — «законный любимец партии»? У кого на руках умер Ленин? У тебя? У меня? У него на руках умер Ленин. И за это ты ему пулю в затылок хочешь? Какие у тебя доказательства?

Сталин. Ты что, не читал показаний?

Орджоникидзе. Поручи Ежову, он принесет показания и на тебя.

Сталин. Мне не нужны доказательства. Пускай он нам докажет, что у него нет враждебных мыслей. Он вот все болтает, что в органах творится что-то непонятное, что там чуть ли не заговор против партии. *(Улыбается.)* Вот мы его и направим в НКВД, чтобы он там лично все проверил.

Орджоникидзе. Он сидит дома, нянчит только что родившегося ребенка, а приговор уже известен. Зачем же тогда через четыре дня собирать пленум? Хочешь нашими руками затянуть петлю? Я видел Пятакова перед процессом, я не узнал его. Что вы с ним сделали? Ты разрешил пытать наших людей, потому что на Западе фашисты пытают коммунистов? Но наши люди не фашисты! В какой ряд ты сам себя ставишь? Ленин сплачивал нас на основе сознания, а ты на страхе, на крови, на том, что все дозволено?

Сталин. Да что с тобой, Серго? Откуда такое малодушие? Идет жестокая схватка, о которой мы с тобой предупреждали партию не раз. Идет выкорчевывание врагов, которое мы с тобой готовили тоже очень давно. В чем усомнился, дорогой?

Орджоникидзе. В тебе.

Сталин. Ты что — смерти ищешь?

Орджоникидзе *(спокойно).* Ищу.

Сталин *(почувствовав опасность).* В чем дело, дружище? Тебя этот обыск так расстроил? Я скажу Ежову, чтобы он этих идиотов сгноил к чертовой матери, понимаешь...

Орджоникидзе. За что ты арестовывал мальчишек — Андрея Свердлова и Диму Осинского?

Сталин. Вольнодумцы. Так мыслят, так размышляют...

Орджоникидзе. А монополия на мысль у тебя?

Сталин *(шутливо).* Пошел вон! Сукин сын, друг называется!

Орджоникидзе *(властно).* Сиди!

Сталин. Зачем волноваться, дорогой... Неужели мы с тобой не договоримся? Кого там неправильно взяли?

Орджоникидзе. За родного брата твоей жены я должен тебя просить? Тебе мало, что он твоего Яшку воспитал? Тюрьма в знак благодарности?

Сталин. Выпустим, что за разговор, что за обиды между своими людьми? За кого еще ты хочешь просить?

Орджоникидзе. За всех, кого ты уже наметил... за партию... за армию... за моих людей... Я же вижу — у тебя план... ты не успокоишься, пока всех не перережешь... За всех прошу тебя. Хочешь, на колени встану?

Сталин. Серго, дорогой, успокойся... Ты наивный человек, ты всем веришь, ты всех любишь... Вот они на твоих заводах перевыполняют планы, в том числе и вредители. Зачем, спрашивается? Чтобы втереться в доверие...

Орджоникидзе. Дожили. Теперь придумал, как забирать лучших людей. Зачем тебе столько? Какая сволочь подсунула тебе мысль, что труд заключенного раба выгоден социализму?

Сталин. Серго, по сравнению с нашими великими делами — это все мелочи, издержки первопроходцев... Уверяю тебя. Об этом даже никто и вспоминать не будет. Будут гордиться твоей индустрией, твоими заводами, которые ты дал партии и народу.

Орджоникидзе. Да не я дал, а те, кого ты ставишь к стенке!

Сталин. Ты вот все на Молотова обижаешься, травит, мол, ассигнования урезает, подножки ставит, а он тебя за Магнитку третьего дня к ордену Ленина представил. Я протестовал, говорю, у Серго вся грудь в орденах, хватит ему, давайте лучше еще один

город в его честь назовем, но товарищи настаивают, пусть, говорят, будет и город, и орден. Что делать товарищу Сталину с такой оппозицией? Пришлось капитулировать.

Орджоникидзе *(о своем)*. Я вспомнил 17-й съезд, оружейники из Тулы поздравляли нас и вручили тебе свою продукцию — снайперскую винтовку. Ты взял ее, вскинул, навел на зал и прицелился — какую овацию устроили тебе делегаты, как были счастливы... Трех лет еще не прошло, скольких ты уже уложил?

Сталин. Съезд победителей... Ты мне про этих проституток не напоминай! Славили, хвалили, а потом столько голосов против — это, по-твоему, порядочно, это по-партийному?

Орджоникидзе. Но ведь твой лизоблюд Каганович сделал тебе только три голоса против, как было у Кирова,— чего волноваться?

Сталин. Я люблю открытую борьбу. Я люблю смотреть врагу в глаза.

Орджоникидзе. Когда он связан по рукам и ногам.

Сталин. Это ты мне говоришь?

Орджоникидзе. Не смеши, Коба. Мы с тобой столько лет знаем друг друга.

Сталин. Это вы всегда действовали за моей спиной, исподтишка. Сколько раз обсуждался вопрос о перемене Генсека? В Кисловодске в пещере обсуждался? В 26-м у Петровского обсуждался? Смирнов и Толмачев обсуждали? В Москве перед 17-м съездом обсуждали? И на всех этих разговорах был ты.

Орджоникидзе. Почти. И везде не давал людям поднять на тебя руку.

Сталин. Я вызвал Кирова, глаза бегают, боится. Тебе Генсеком предлагают? Хватило ума сознаться. А потом столько голосов против... Не его ли рук дело? Только вы двое на Политбюро осмеливались оспаривать даже ребенку ясные вопросы.

Орджоникидзе. А ты поднимался и хлопал дверью. А потом ждал, когда за тобой придет Киров или Каганович, и милостиво возвращался.

Сталин. Вы всегда с Кировым сговаривались против меня.

Орджоникидзе. Мы не сговаривались.

Сталин. Дружили? Значит, сговаривались. Ты думаешь, я не чувствовал, как он меня ненавидит, твой Сергей, как заигрывает с оппозицией: мы говорим «бей», а он выгораживает, укрывает, мы говорим, в Ленинграде неблагополучно с троцкистами и зиновьевцами, а он докладывает «обстановка спокойная». Очки у всей этой публики зарабатывал! Спрашивается, для чего? Противопоставлял себя кому? Бухарин в Париже говорил друзьям, что все свои надежды на изменение курса они связывали с Кировым. Так что мы были правы... в своей критике. Один раз отказался, второй раз сам бы потянулся. Ненавижу двойную игру! Глаза бегали... Жить, видишь ли, ему захотелось...

Орджоникидзе. Что? Что ты сказал?

Сталин. Помнишь его речь на съезде? Какой-то писака сделал ему эффектную концовку, я запомнил... «Если по-человечески сказать, так хочется жить и жить, на самом деле, посмотрите, что делается. Это же факт!» Десять минут потом съезд успокоиться не мог, нашли кумира...

Орджоникидзе. Это ты убил его.

Сталин. Что?

Орджоникидзе. Я давно понял, что Ягода в угоду тебе, но, что с твоего ведома,— только сейчас.

Сталин. Шени деда ватире! Как смеешь! У тебя есть доказательства?

Орджоникидзе. Зачем? Идиот, пришел говорить, просить, на что-то надеялся... Теперь все встало на место. Иди.

Сталин. Нет, теперь я не уйду. Теперь это уже интересно. *(Садится.)*

Орджоникидзе. Не боишься? Ты ведь меня знаешь.

Сталин. Ты меня тоже. Не боюсь. Так что у вас встало на место, Григорий Константинович?

Орджоникидзе. Убивший одного — убийца, убивший сотни тысяч — вождь. Неужели действительно дело только в масштабах?

Сталин. Этого я тебе никогда не забуду, но прошу тебя, дорогой, продолжай. Мне очень интересно, к чему ты придешь.

Орджоникидзе. Кто ты? Контра? Мечтаешь о реставрации капитализма? Глупость. Но что нашему рабочему от того, что все национализировано, если вокруг тирания? Все, чего ты коснулся своей рукой, ты растлеваешь... Судьба тех, кто за решеткой,— страшна. А тех, кто дома? Что ты сделал с живыми? Откуда доносы, откуда страх?.. Революции нужны люди с кричащей, а не заглохшей совестью. А тебе?

Сталин. Ты знаешь, что нужно революции... смешно, просто смешно слушать... Куда ты лезешь?

Орджоникидзе. Зачем ты пошел в революцию? Чтобы стать богом или чтобы сделать человеку хорошую жизнь? Что с тобой произошло? Когда? Я же знал тебя совсем другим. Один только Ленин увидел...

Сталин *(поднимаясь)*. Что вы мне все тычете в нос — Ленин, Ленин...

Орджоникидзе. Не смей! Ударю! *(Сталин, понимая, что ударит, садится)*. Про тебя все Пушкин сказал в Сальери... «Я призван, чтоб его остановить...», «музыку я разъял, как труп, все звуки умертвив»... Вот, этим все сказано... Мы с Зиной в ссылке учили наизусть... Какая музыка стиха... как красиво... Кто знал, что это мне так пригодится?

Сталин *(яростно)*. Вот почему я предпочитаю людей, которые поддерживают меня из страха, а не по убеждениям, ибо ваши убеждения могут меняться, как перчатки! Если ты такой глубокий марксист, если так все понимаешь, где ты был раньше, почему не встал, не отсоветовал, не схватил за руку? Ты все делал со мной, я без тебя и шагу бы не мог ступить, а теперь испугался ответственности? Не ты ли вместе со мной громил и уничтожал всю эту оппозиционную сволочь? Что, страшно стало? Ничтожество! Ни у кого — ни силы воли, ни мужества идти до конца! Слабые люди! Не мужчины!

Орджоникидзе. Я только сейчас понял, ты ведь сознательно нагнетал хлебный кризис и все остальные. Ты сознательно не хотел их преодолевать нормальным мирным путем... Тебе нужна была новая гражданская война... Тебе нужен пожар... тогда ты на коне...

Сталин. Скажи прямо: кто настроил тебя, кто посмел поднять руку на нашу дружбу? Ты помнишь, когда твой Ленин предлагал исключить тебя из партии, кто тебя спас? Или тебе неведомо чувство благодарности? Лови момент — я сейчас добрый, тоже расчувствовался, проси прощения...

Орджоникидзе *(не слыша)*. А ты не боишься возмездия? Оно ведь придет, все равно придет, даже если смерть тебя спасет... Боишься... по тому, как ты вечером с лампочкой или фонарем заглядываешь под кровать, на которой будешь спать,— боишься. Я всегда

думал, откуда такая странная привычка? Страх. Как ты мог так себя убить, Коба? У тебя ведь ничего нет, друзей нет — одни лакеи, женщины любимой тоже нет... Одна страсть — власть и жестокость. Ну скажи, скажи, какое наслаждение, когда плачут жены и дети? Когда плачут мужчины? Что тут приятного? То, что можешь казнить или миловать,— это сладко?

Сталин. Сволочь! Я расстрелял твоего старшего брата Папулию, и я тебе обещаю — ни одного Орджоникидзе не останется! Ни одного! Это я тебе твердо гарантирую.

Орджоникидзе. Самый добрый, самый отходчивый, самый незлопамятный народ — это русский народ. И все-таки он помнит татаро-монгольское иго. И тебя он запомнит.

Сталин. Теперь, как ты сам понимаешь, у тебя есть единственный выход. Я тебе его дарю в память о прошлом.

Орджоникидзе. Это я решил уже сегодня утром. Как страшно, что в тебя выстрелить сил у меня нет. Сделали тебя символом... Нет, идолом Октября сами — вот и подыхаем, а руку поднять на тебя не можем... Нет мне прощения! Ты прав, вместе с тобой, рядом с тобой... Нет мне прощения! Будь проклят тот день, когда я поверил в тебя и пошел за тобой!

Сталин. И не надейся, что своей смертью сможешь всадить мне нож в спину. Скажу, что сердце.

Орджоникидзе. Все равно будет возмездие, все равно придут за тобой — живым или мертвым! А теперь уйди!

Сталин уходит. Резкая музыкальная фраза заглушает выстрел. Гаснет свет. В луче прожектора Бухарин.

Бухарин. Ухожу из жизни. Опускаю свою голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.

Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами и славой творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают самих себя — история не терпит свидетелей грязных дел.

Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные органы» могут стереть в порошок, превратить в предателя, террориста, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно. Грозовые тучи нависли над партией: одна моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь нужно создать организацию — бухаринскую организацию, в действительности не существующую не только теперь, когда вот уже седьмой год у меня нет и тени разногласия с партией, но и не существовавшую тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым, Томским открыто. С восемнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость, это ложь, адекватной которой по наглости, по безответственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.

Если в методах построения социализма я не раз ошибался,— пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели впервые, еще не проторенным путем. Другое было время, другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спорили, искали путей, ссорились и мирились, и шли дальше вместе.

Обращаюсь к Вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, которые в эти страшные дни становятся все грандиознее, разгораются, как пламя, и душат партию.

Ко всем членам партии обращаюсь! В эти, может быть, последние дни своей жизни, я уверен, что фильтр истории рано или поздно неизбежно сметет грязь с моей головы. Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебаний я заплатил бы собственной. Любил Кирова, ничего не затевал против Сталина. Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме партии, оправдать и восстановить меня в партии.

Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови. Николай Бухарин.

Зажигается свет. Долгая тяжелая пауза.

Ленин. Я безусловно виноват перед рабочими России, что из-за своей проклятой болезни не довел до конца дело с перемещением Сталина... слишком поздно спохватился и не реформировал систему так, чтобы это все стало невозможно.

Свердлов. Владимир Ильич...

Ленин. Не надо меня щадить! Пусть знают все, что я с себя моральной вины и ответственности за случившееся не снимаю. *(Сталину.)* Я хотел бы поговорить с вами.

Сталин. Не вижу смысла.

Ленин *(сдерживая себя)*. У марксизма, коммунизма, Октябрьской революции есть определенная система, сетка политических и нравственных координат. Положить эту сетку на вашу деятельность — это право и обязанность каждого мыслящего большевика. Мы все подсудны этому суду истории.

Сталин. Но вы же не откажете мне в коммунистичности моих убеждений?

Ленин *(взрываясь)*. Я вам в этом решительно отказываю!

Сталин. Я не готов сейчас к этому разговору.

Ленин. Вы другая система координат. После всего, что произошло, я даже не хочу тратить слова на то, хорошая она или плохая, она не наша. Кого-то она устраивает, кому-то импонирует... История выяснит, где кончаются заслуги и начинаются ошибки, где кончаются ошибки и начинаются преступления. Нам же, сегодня, если думать о судьбе нашего движения, надо сказать громко и внятно: социализм — да! Все осуществленные социалистические преобразования — да! Методы Сталина — нет! Нравственность по Сталину — нет!

Мартов. Милюков считал его великим государственным деятелем, сравнивал с Петром. И если поставить его в ряд русских царей, может быть, действительно,— Великий Государь?

Свердлов. В 17-м году мы начали совсем другой ряд, Октябрь дал совершенно иную точку отсчета.

Плеханов. Мнение Милюкова для меня сомнительно. За цепь хотя бы предвоенных ошибок, поразительно дилетантских, самонадеянных, ни один народ в Европе не потерпел бы такое правительство. Да он же сам говорил об этом в своем тосте за русский народ.

Спиридонова. Когда в начале войны к нему пришли соратники, он испугался, решил, что они пришли его арестовывать, а они хотели, чтобы он обратился к народу.

Дзержинский. Народ его и спас, а чем он ответил. Не успела кончиться война, и вновь заработал конвейер арестов.

Плеханов. Самодержавная власть над такими гигантскими человеческими ресурсами, как наши, при отсутствии марксистской культуры, могла породить только то, что породила.

Мартов. Фигура эта мне крайне чужда и неприятна. Но я хочу разобраться. Все-таки треть века вы со счетов не сбрасывайте. Страна построена.

Свердлов. «Победителей не судят» — не наш принцип. Нам далеко не безразлично, как построен социализм в России и какой он. Пути, методы и средства волнуют нас не меньше, чем цель, не меньше, чем победа.

Дзержинский. Страна построена. Так есть. Но не уместно ли задаться вопросом — благодаря или несмотря? Каков же потенциал у Октября, если даже в таких кошмарных условиях такие результаты? А останься армия не обезглавленной, большевики-чекисты не растоптанными и не расстрелянными, хозяйство со своими командирами, крестьяне, кооперированные добровольно, мысль нации в свободном полете, совесть, нравственность на пьедестале почета — где бы мы сегодня были?

Мартов. Я думаю, что слишком резкая постановка вопроса не всем понравится.

Свердлов. Тем, кто не хотел слышать стонов из-за колючей проволоки,— не понравится. Тем, кто любит «прелести кнута», а палку признает как универсальный метод решения всех проблем,— не понравится. Тем, кто обслуживал систему по принципу «чего изволите?», идеологическим лакеям — не понравится. Ну, и конечно, рабам, у которых слюнки текут при воспоминаниях о тяжелой руке хозяина. Но, конечно, дело не только в них... Проблема в том, чтобы миллионы людей, жившие и работавшие честно, на пределе возможностей, не подумали, не поняли нас так, что их жизнь обессмыслена.

Мартов. Мне не безразличны ваши дела. И поэтому не надо торопиться с точками над «и». Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве.

Дзержинский. Я не думаю, что страна наша располагает таким запасом времени. Нарастающая сумма фактов откроет глаза тем, у кого они еще закрыты.

Спиридонова. Камни возопиют. Не боитесь?

Дзержинский. Нет. Надо, чтобы все новые поколения знали этот почерк.

Мартов. Хрущев уже пытался.

Свердлов. Хрущев был человеком, рожденным Октябрьской революцией. Конечно, прошедшим сталинскую школу, но все-таки человеком Октября. Пускай ошибался, пускай неумело, пускай непоследовательно, но он начал возврат к правде. В тех условиях это было подвигом. Мы не должны этого забывать.

Сталин. Мне как-то дали на него компромат. Я отбросил в сторону. Дурак. Эти бы Молотов, Каганович, Ворошилов,— они могли в душе бояться и ненавидеть меня, но никогда бы не начали. Вот что значит один раз проявить благодушие... Слишком много стрелял? Мне смешно вас слушать. Мы живем в России — стране царей. И русский народ поймет нас только тогда, когда во главе страны будет один. И что бы вы тут ни говорили, о какой бы демократии ни разглагольствовали, в конце концов все равно будет один. Какой серьезный политик самостоятельно захочет отдать вожжи? И кому? Я не против народовластия и самоуправления как темы для занятий в кружках. Пока. А любовь к народу давайте продемонстрируем на чем-нибудь другом, что он в силах будет понять и оценить. И поэтому обольщайтесь не тем, что был 56-й год, а думайте о том, что было потом. Меня нельзя вычеркнуть из памяти народной. Многие будут защищать меня, защищая себя. Пока вы не скажете четко, к чему привела моя революция сверху,— к расцвету социалистической демократии, к апофеозу народного энтузиазма, к окончательной и бесповоротной победе социализма, как утверждаю я и видит каждый, кто не слеп,— или к миллионным бессмысленным жертвам, как клевещут с чужого голоса некоторые,— вам не двинуться с места. Как будете смотреть на героические годы работы народа под моим руководством — через тюремное окно 37-го года или сквозь Магнитку и Знамя Победы — вот в чем вопрос!

Свердлов. Это твой метод, чтобы опять столкнуть людей лбами. У нас другой: от какого наследия мы откажемся, никогда, естественно, его не забывая, а какое возьмем с собой. Магнитку возьмем, Знамя Победы возьмем, веру в социализм возьмем, каждый день, который уводит нас от нации рабов,— возьмем, никогда не откажемся!

Сталин. Дружеский совет: если вы не хотите иметь массу недовольных за спиной, массу добавочных неприятностей,— оставьте меня в покое. Дом построен, жить можно... Но если уж так хочется,— сделайте косметический ремонт, смените обои, обстановку и занимайтесь сегодняшними делами, их у вас тоже достаточно.

Свердлов. Если бы ты только знал, как нам не хочется тобой заниматься! Все дело в том, что, за что бы мы сегодня ни взялись,— мы упираемся в тебя.

Сталин. И что же ты предлагаешь?

Дзержинский. Только одно: хотя бы теперь в полном объеме выполнить завещание Ильича, его смысл.

Сталин. То есть?

Дзержинский. Вычерпать тебя до дна. Так есть. Обязательно выплеснуть грязную воду, сохранив ребенка.

Ленин. Презрение к массе, наплевательство на ее интересы, с одной стороны, и пронзительное недовольство масс существующими порядками — с другой, сами по себе революцию вызвать не могут. Недостаточно для нее и разложения власти, потери ею авторитета. И то и другое может создать лишь медленное и мучительное гниение страны, если нет в ней сил, способных взорвать этот порядок. Но закономерность жизни заключается в том, что Октябрьская революция посеяла такие семена, которые рано или поздно всегда будут давать всходы. Октябрь в душах людей не поддается корчевке. Даже в самые страшные годы наши люди сохраняли масло в светильниках. И именно это делает наши жизни, тех, кто начинал, не бессмысленными.

Свердлов. Но для того, чтобы дать людям Октябрьской революции горящие светильники, нам надо сначала зажечь их самим.

Ленин. Вот именно. *(Большевикам.)* Так как, товарищи, запустим механизм революции на все обороты или будем топтаться на месте? Давайте не будем морочить самих себя, давайте наберемся

смелости и скажем прямо: или мы идем дальше или скатываемся назад, и тогда большевики опозорят себя навек и сойдут на нет как серьезная политическая партия.

Дзержинский. Так есть, Владимир Ильич, но нам очень вас не хватает.

Ленин. Жду разрешения на выход.

Корнилов *(правому лагерю)*. Слюнтяи! Ну, сделайте хоть что-нибудь! Еще есть время!

Дан. Почти в полночь я предпринял эту попытку...

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 23 часа 20 минут

Дан и Керенский идут навстречу друг другу.

Дан. Как исполняющий обязанности Председателя Всероссийского исполнительного комитета...

Керенский. Не до формальностей! Скажите-ка по-русски... вы поддерживаете вверенное мне правительство в его героической борьбе против левого экстремизма?

Дан. Мы окажем вам поддержку только в том случае, если вы предпримете решительные меры политического характера, которые выбьют почву из-под ног большевизма.

Керенский. Когда утром я просил у вас этой поддержки, я был уверен, что обращаюсь к русским патриотам. Я был уверен, что рука, протянутая вам утром, не повиснет. Время изживать иллюзии! Честь имею!

Дан. Александр Федорович, подождите! Я приехал к вам с конкретным предложением. Еще все можно спасти. Надо немедленно, прямо сейчас издать законы о мире и земле. Телеграфом оповестить об этом всю страну, а афишами за ночь оклеить весь город. Завтра же произойдет перемена в настроении массы. Одним уколом вы выпустите из большевистского восстания весь воздух. Завтра утром каждый солдат и каждый рабочий будет знать, что защитником его заветных интересов и чаяний является Временное правительство. Зачем ему тогда большевики?

Керенский. У вас все? У меня идет заседание правительства.

Дан. Вопрос спасения России сейчас в этом. Умоляю вас!

Струве. Александр Федорович, подождите, не отвечайте! Сейчас еще есть время все спасти, подумайте, черт возьми, куда делся ваш ум?!

Керенский *(залу)*. Что говорить? Надо быть самокритичным. Я тогда поторопился... хотя и эти декреты нам бы тогда уже не помогли, может быть, чуть-чуть осложнили бы большевикам жизнь, и только. *(Дану.)* Временное правительство, господин Дан, в наставлениях и указаниях не нуждается. Сейчас время не разговаривать, а действовать. Я справился с Корниловым, я справлюсь и с Лениным. Честь имею!

Дан. Честь имею! *(В зал, почти кричит.)* А что мне было делать?

Керенский *(почти кричит)*. А мне что было делать?

Корнилов. Перестаньте! Проклятые интеллигенты, ничтожество, просрали Россию, а потом полвека спорили, кому что было делать... Сволочи!

КВАРТИРА ФОФАНОВОЙ. 23 часа 10 минут

Три звонка. Ленин бросается к дверям. Входит Рахья.

Ленин. Я думал, Фофанова. Что в Смольном?

Рахья. Не знаю. Я целый день был у себя на заводе.

Ленин. Ужин на столе, и уходим в Смольный.

Рахья. Есть разрешение ЦК?

Ленин. Мы не будем ждать разрешения ЦК, мы пойдем сами.

Рахья *(садится к столу)*. Я один раз уже не ждал разрешения ЦК, привез вас из Выборга — кому попало?

Ленин. Обоим. Сколько до Смольного?

Рахья. Километров десять.

Ленин. Часа за два дойдем?

Рахья. Владимир Ильич, вы меня знаете.

Ленин. Вы меня тоже. Вы понимаете, что я обязан сейчас быть там?

Рахья. Понимаю. А вы понимаете, что творится сейчас на улицах? Если я вас потеряю?

Ленин. Хорошо. Приятного аппетита. Скажете, что, когда пришли, меня уже не было. *(Берет свое пальто, брошенное на стул, надевает, достает из заднего кармана брюк браунинг, проверяет его, перекладывает в карман пальто.)* Моросит?

Рахья. Немного. Скажете, что я орал, сопротивлялся.

Ленин. Скажу.

Рахья. Я — впереди, вы — сзади. Если мне придется стрелять...

Ленин. Будем стрелять вместе. Одну минуту... Чтобы Маргарита Васильевна не волновалась... *(Быстро пишет записку.)* «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». Пошли!

Исчезают все площадки. И снова перед нами те, кто начал три часа назад этот разговор с нами. Последними занимают свои места Ленин и Рахья.

Дан. Когда я увидел его в полночь в Смольном, я понял, что все потеряно, что машина восстания будет пущена на полный ход. Так все и произошло, как он хотел. А что можно сделать с человеком, который все 24 часа в сутки думает только о революции.

Керенский. Остальное известно каждому. Можно расходиться.

Один за другим в том же порядке, как и выходили, герои покидают сцену. Только Ленин, глубоко задумавшись, стоит в центре, смотрит в зал, что-то хочет сказать нам наедине — важное, сокровенное, ждет, когда останется один. Все ушли, кроме Сталина. Ленин ждет. Пауза затягивается. Сталин не уходит. Ленин ждет. Сталин не уходит. И когда ситуация становится абсолютно невыносимой, Сталин не выдерживает, нарушает тишину.

Сталин. Я хотел бы поговорить с вами, объясниться.

Ленин *(жестко)*. Нам не о чем говорить с вами. *(Залу.)* Надо идти дальше... дальше... дальше!

Так и стоят они на довольно значительном расстоянии друг от друга. Очень хочется, чтобы Сталин ушел... Но пока что он на сцене...

Занавес.

Август 1987 года.

Борис Слуцкий

ВОПРОСЫ К СЕБЕ

Книга стихотворений

Разбирая архив Б. Слуцкого, я нашел номер республиканской газеты «Молодежь Грузии» от 8 июня 1967 года и в нем — небольшое интервью. Среди вопросов был и такой: «Не определите ли вы, хотя бы приблизительно, вашу главную цель как поэта?» Слуцкий ответил не приблизительно (этого он не терпел), а точно и предельно кратко: «Выговориться».

Вот зачем он ежеутренне садился к столу в своем тесном и затененном близко растущими деревьями кабинете и раскрывал свои рабочие тетради. Вот зачем и на отдыхе — в Крыму, в Латвии, в подмосковной деревушке Александровке, и в поездках — в Польшу, которую он любил, в Чехословакию, где его любили, в Среднюю Азию, на грузовом теплоходе «Назым Хикмет», — он не мыслил себя без тех же тетрадей, которые едва ли не первыми ложились в чемодан. Вот зачем он вышагивал многие километры по любимой и отлично знаемой Москве (где он только в ней не жил). И тетради у него были разного формата: огромные, типа гроссбухов — для стола, среднего формата — для чемодана, блокнотного типа — для карманов. Вот зачем после смерти жены, чувствуя, ощущая надвигающуюся болезнь, гибель поэтического дара («Я знаю, что «дальше — молчанье». Поэтому поговорим...»), в течение двух с половиной месяцев, отгоняя горе и немочь, он исписал стихами две или три толстенных — в двести с лишним листов — тетради.

Было что сказать. И чем дальше шла жизнь — тем больше. «Дар — это поручение», — сказано философом. Слуцкий был человеком осознанного долга и верил, что понятое им нужно не только ему. Нужно народу: «Я из него действительно не вышел. Вошел в него — и стал ему родным».

Поэтому не ждал вдохновения — работал ежедневно. Не отделывал строчки — если не получалось, писал заново, добиваясь прежде всего точности, а не искусности выражения (чаще всего это и совпадало). Не «нетленки» создавал — заносил в дневник горячее, больное, жгучее, только что перечувствованное или постигнутое. Поэтическая ценность страниц этого дневника разновелика (и он это сознавал), человеческая — одинакова, ибо никогда ни под кого он не подделывался, хотел быть и был самим собою — в этом как раз и видел наибольшую нужность людям и времени.

Печатал что мог, что брали редакции и издательства, книги выходили одна в два-три года — в тетрадях накапливалось слой за слоем непошедшее, отвергнутое, «неподходящее ко времени». Но насколько богаче мы были бы чувством и мыслью, явись многие его стихи в свое время.

У Слуцкого был не только дар поэта. Он обладал даром учителя, историка, философа (прикладная этика всегда интересовала его). Но еще — и даром сочувствия, сострадания убогому, униженному, слабому, старику, ребенку, женщине, вообще другому человеку. Не случайно у него столько стихов-биографий, стихов-портретов, стихов-размышлений о людских судьбах. Можно было бы собрать книгу его стихов, озаглавив ее — «Портреты» (собственно, так и назывался один из разделов замышлявшегося как-то им сборника).

Замысел этой книги (она включает в себя стихи самых разных периодов его творчества), вроде бы принадлежащий составителю, на самом деле сам собой вытекает из характера литературного наследия Бориса Слуцкого, не только поэта, но и историка («Я историю излагаю, только самый последний кусок»). Впрочем, в стихотворениях, составляющих ее, читатель найдет не только свидетельства, воспоминания и размышления о событиях и людях 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов нашего века, но и то, что Слуцкий называл: «мемуары передним числом». Провидение — одна из обязанностей поэта.

В истории русской, да, наверное, и мировой журналистики не припомню случая, чтобы журнал публиковал не подборку, не цикл — большую поэтическую книгу. Но это вызвано и необычностью поэтического архива (он не просто велик — огромен), и единственностью поэтической и человеческой судьбы Бориса Слуцкого, и обжигающим соответствием его стихов времени, круто рванувшемуся вперед.

Юрий БОЛДЫРЕВ

★

Когда маячишь на эстраде
Не суеты и славы ради,
Не чтобы за нос провести,
А чтобы слово пронести,

Сперва — молчат. А что ж ты думал:
Прочел, проговорил стихи
И, как пылинку с локтя, сдунул
Своей профессии грехи?

Будь счастлив этим недоверьем.
Плати, как честный человек,
За недовесы, недомеры
Своих талантливых коллег.

Плати вперед, сполна, натурой,
Без торгу отпускай в кредит
Тому, кто, хмурый и понурый,
Во тьме безмысленно сидит.

Проси его поверить снова,
Что обесчещенное слово
Готово кровью смыть позор.
Заставь его ввязаться в спор,

Чтоб — слушал. Пусть сперва со злобой,
Но слушал, слышал и внимал,
Чтоб вдумывался, понимал
Своей башкою крутолобой.

И зарабатывай хлопóк —
Как обрабатывают хлóпок.
О, как легко ходить в холопах,
Как трудно уклоняться вбок.

★

Сам с собой разговаривал. Мне
на чужой стороне,
куда я был заброшен судьбой,
пущен веком,

говорить со своим человеком,
а еще точнее — с собой
хорошо было. Я задавал
риторические вопросы.
А потом сам себе давал
риторические ответы,
отвлекаясь от жизненной прозы
приблизительным стилем поэта.

Уважал меня мой собеседник.
Не какую-нибудь чепуху —
обо всех своих опасеньях
я выкладывал, как на духу.
Колебанья свои выкладывал
и сомненья свои снимал.
Я ему толково докладывал,
с пониманьем он мне внимал.
Я ему талдычил, как дятел,
я кричал на него совой,
а прохожие думали: «Спятил!
Говорит сам с собой».

Советская старина

Советская старина. Беспризорники. Общество «Друг детей».
Общество эсперантистов. Всякие прочие общества.
Затеиванье затейников и затейливейших затей.
Все мчится и все клубится. И ничего не топчется.

Античность нашей истории. Осоавиахим.
Пожар мировой революции,
горящий в отсвете алом.
Все это, возможно, было скудным или сухим.
Все это несомненно было тогда небывалым.

Мы были опытным полем. Мы росли, как могли.
Старались. Не подводили мичуриных социальных.
А те, кто не собирались высовываться из земли,
те шли по линии органов, особых и специальных.

Все это Древней Греции уже гораздо древней
и в духе Древнего Рима векам подает примеры.
Античность нашей истории! А я — пионером в ней.
Мы все были пионеры.

Старые офицеры

Старых офицеров застал еще молодыми,
как застал молодыми старых большевиков,
и в ночных разговорах в тонком табачном дыме
слушал хмурые речи, полные обиняков.

Век, досрочную старость выделив тридцатилетним,
брал еще молодого, делал его последним
в роде, в семье, в профессии,
в классе, в городе летнем.

Век обобщал поспешно,
часто верил сплетням.

Старые офицеры,
выправленные казармой,
прямо из старой армии
к нови белых армий
отшагнувшие лихо,
сделавшие шаг —
ваши хмурые речи до сих пор в ушах.

Точные счетоводы,
честные адвокаты,
слабые живописцы,
мажущие плакаты,
но с обязательной тенью
гибели на лице
и с постоянной памятью о скоростном конце!

Плохо быть разбитым,
а в гражданских войнах
не бывает довольных,
не бывает спокойных,
не бывает ушедших
в личную жизнь свою,
скажем, в любимое дело
или в родную семью.

Старые офицеры
старые сапоги
осторожно донашивали,
но доносить не успели,
слушали ночами, как приближались шаги,
и зубами скрипели,
и терпели, терпели.



Детекторные приемники,
Сработанные по схеме.
Но к нам приезжают паломники,
Как в Мекку в былое время.

Хвосты людей за хлебом —
Карточная система.
Но сразу за низким небом —
Солнечная система.

Смесь больших недостатков
И огромных избытков,
Порядков и непорядков,
И алкогольных напитков.

Вдруг возникают кролики,
Вдруг возникает соя —
Это по кинохронике
Я повторю, усвою.

Европа нас привечает.
Москва героев встречает.
Отец не отвечает
За сына. Нет, отвечает.

Лопаты

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле параши,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатою ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.
Землекопами некогда были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.

Преобразовавшие землю,
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.

Рука

Студенты жили в комнате, похожей
На блин,
но именуемой «Луной».
А в это время, словно дрожь по коже,
По городу ходил тридцать седьмой.

В кино ходили, лекции записывали
И наслаждались бытом и трудом,
А рядышком имущество описывали
И поздней ночью вламывались в дом.

Я изучал древнейшие истории,
Столетия меча или огня
И наблюдал события, которые
Шли, словно дрожь по коже, вдоль меня.

«Луна» спала. Все девять черных коек,
Стоявших по окружности стены.
Все девять коек, у одной из коих
Дела и миги были сочтены.

И вот вошел Доценко — комендант,
А за Доценко — двое неизвестных.
Вот этих самых — малых честных
Мы поняли немедля — по мордам.

Свет не зажгли. Светили фонарем.
Фонариком ручным, довольно бледным.
Всем девяти светили в лица, бедным.

Я спал на третьей, слева от дверей,
А на четвертой слева — англичанин.

Студент, известный вежливым молчаньем
И — нацией. Не русский, не еврей,
Не белорус. Единственный британец.
Мы были все уверены — за ним.

И вот фонарик совершил свой танец.
И вот мы услыхали: «Гражданин».
Но больше мне запомнилась — рука.
На спинку койки ею опирался
Тот, что над англичанином старался.

От мышц натренированных крепка,
Бессовестная, круглая и белая.

Как лунный луч на той руке играл,
Пока по койкам мы лежали, бедные,
И англичанин вещи собирал.

Названия и переименования

Все Парки Культуры и Отдыха
были имени Горького,
хотя он и был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.

А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом случае лучшего
названия не сыскать,
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.

Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро — Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то — кино.

А переименование —
падение знаменовало.
Недостоверное имя
школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,
обрушивалась табличка
с уличного угла.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.

Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?

Здешние Адольфы

Знавал я Адольфов. Помимо главного,
которого лично я не знавал,
Адольфов в двадцатом веке — навал!
Они нарекались почти что планово.

Эстетика мужских имен
была такая в двадцатом веке:
Адольф!
Не Иван, не Степан, не Семен! —
в порядке заботы о человеке.

Младенца мужеска пола,
кричащего
от мысли:
какой наносится вред, —
родители называли чаще всего:
Адольф!
И не менее часто: Альфред.

В двадцатых годах московские Адики
про страшного тезку не слышали весть,
ходили в школы и детские садики,
еще не зная, кто они есть.

В тридцатых годах это имя заполнило,
заполонило газет столбцы,
и все человечество его запомнило,
и вдруг заволновались отцы.

Звучавшее странно и загранично,
вертевшееся веселым котом,
оно зазвучало иронично
сначала,
невыносимо потом.

Учительницы поджимали губы,
брови вскидывали учителя,
товарищи обращались грубо:
Адольфов не носила земля.

В райком вызывали Адольфа Петрова
и говорили ему: — Здорово.
Ну как там посев, ну как там удой?
Но почему ты все же Адольф?

Адольфы Петровы или Степановы
писали автобиографии заново:
я местный. Я здешний. В недобрый час
навесил мне имя районный загс.

И шли в распыл те имена,
какими родители детей обидели,

поскольку так пожелала страна.
И только мы тех Адольфов и видели.

И с той поры на ближайшие два
тысячелетья, а может, и больше,
Россия, Франция, Венгрия, Польша,
Рим, Белград, Варшава, Москва

никак не смогут услышать, чтобы
«Адик!» кричала мать из окна —
по испакостившему пол-Европы
не полагается давать имена.

★

Палатка под Серпуховом. Война.
Самое начало войны.
Крепкий, как надолб, старшина
и мы вокруг старшины.

Уже июльский закат погасал,
почти что весь сгорел.
Мы знаем: он видал Хасан,
Халхин-Гол смотрел.
Спрашиваем, какая она,
война.
Расскажите, товарищ старшина.

Который день эшелона ждем.
Ну что ж — ие под дождем.
Палатка — толстокожий брезент.
От кислых яблок во рту оскомина.
И старшина — до белья раздет —
задумчиво крутит в руках соломину.

— Яка ж вона буде, ця війна,
а хто її зна.
Вот винтовка, вот граната.
Надо, значит, надо воевать.
Лягайте, хлопцы: завтра надо
в пять ноль-ноль вставать.

★

Мне первый раз сказали: «Не болтай!» —
По полевому телефону.
Сказали: — Слуцкий, прекрати бардак,
Не то ответишь по закону.

А я болтал от радости, открыв
Причину, смысл большого неуспеха,
Болтал открытым текстом.
Было к спеху.
Покуда не услышал взрыв
Начальственного гнева
И замолчал, как тать,

И думал, застывая немо,
О том, что правильно, не следует болтать.

Как хорошо болтать, но нет, не следует.
Не забывай врагов, проныр, пролаз.
А умный не болтает, а беседует
С глазу на глаз. С глазу на глаз.

Погоны

Шепталась шоферня: «Офицерье».
Штабная шоферня не уважала.
Но дело было сделано: вожжами
стегнули все армейское житье.

Отрытое не из могил — из ям,
где марковцы, дроздовцы и корниловцы,
то слово отлетело к сыновьям
могильщиков — их победителей.

И вдруг Шкуро — тогда еще живой —
почувствовал затылком дых погони,
почувствовал: большевики погоны
срывают, вместе с головой.

И трогательная геометрия
шпал, кубарей, а также треугольников,
у Архимеда или же у школьников
похищенная,
как в песок струя,
ушла.

★

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

Мост нищих

Вот он — мост, к базару ведущий,
Загребущий и завидущий,
Руки тянущий, горло дерущий!
Вот он в сорок шестом году.
Снова я через мост иду.
Всюду нищие, всюду убогие.
Обойти их — я не могу.
Беды бедные, язвы многие
Разложили они на снегу.

Вот иду я, голубоглазый,
Непонятно, каких кровей,
И ко мне обращаются сразу
Кто горбатей, а кто кривей —
Все: чернявые и белобрысые,
Даже рыжие, даже лысые —
Все кричат, но кричат по-своему,
На пяти языках кричат:
Подавай, как воин — воину,
Помогай, как солдату — солдат.
Приглядись-ка к моим изъянам!
Осмотри-ка мою беду!
Если русский — подай христианам;
Никогда не давай жиду!

По-татарски орут татары,
По-армянски кричит армянин.
Но еврей, пропыленный и старый,
Не скрывает своих именин.
Он бросает мне прямо в лицо
Взора жадного тяжкий камень.
Он молчит. Он не машет руками.
Он обдергивает пальтецо.
Он узнал. Он признал своего.

Все равно не дам ничего.
Мы проходим — четыре шинели
И четыре пары сапог.
Не за то мы в окопе сидели,
Чтобы кто-нибудь смел и смог
Нарезать беду, как баранину,
И копаться потом в кусках.
А за нами,
словно пораненный,
Мост кричит на пяти языках.

★

Когда мы вернулись с войны,
я понял что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,

что заняты ваши места
и освобождать их не будем,

а звания ваши, и чин,
и все ордена, и медали,
конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
к обужам его и одежам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадежен.

Я вдруг ощущал на себе
то черный, то синий, то серый,
смотревший с надеждой и верой
взор.
И перемену судьбе

пророчествовали и гласили
не опыт мой и не закон,
а взгляд,
и один только он —
то карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали,
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.

★

Конец сороковых годов —
сорок восьмой, сорок девятый —
был весь какой-то смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.

Не отличался год от года,
как гунн от гунна, гот от гота
во вшивой сумрачной орде.
Не вспомню, ЧТО, КОГДА и ГДЕ.

В том веке я не помню вех,
но вся эпоха в слове «плохо»,
Чертополох переполоха
проткнул забвенья белый снег.

Года, и месяцы, и дни
в плохой период слиплись, сбились,
стеснились, скучились, слепились
в комок. И в том комке — они.

И совесть и милость

Много лет из газет
узнавал свои личные новости.
Каково залетел.

Вы подумайте: как залетел.
Оставалось ли время для милости и для совести
и объем для их неподдающихся сжатию тел?

Оставалось! Как вспомнишь и как документы поднимешь,
как заглянешь в подшивки за тот отдаленнейший век —
и тогда была совесть и тогда была милость,
потому что без них человек — не совсем человек.

★

Когда эпохи идут на слом,
появляются дневники,
писанные задним числом,
в одном экземпляре, от руки.

Тому, который их прочтет
(то ли следователь, то ли потомок),
представляет квалифицированный отчет
интеллигентный подонок.

Поступки корректируются слегка.
Мысли — очень серьезно.
«Рано!» — бестрепетно пишет рука,
где следовало бы: «Поздно».

Но мы просвечиваем портрет
рентгеновскими лучами,
смываем добавленную треть
томления и отчаяния.

И остается пища: хлеб
насущный, хотя не единый,
и несколько недуховных потреб,
пачкающих седины.

Прощание

Добро и Зло сидят за столом.
Добро уходит, и Зло встает.
(Мне кажется, я получил талон
На яблоко, что познанье дает.)

Добро одевает мятый картуз.
Фуражка форменная на Зле.
(Мне кажется — с плеч моих сняли груз
И нет неясности на всей земле.)

Я слышу, как громко глаголет Зло:
— На этот раз тебе повезло. —
И руку протягивает Добру
И слышит в ответ: — Не беру.

Зло не разжимает сведенных губ.
Добро разевает дырявый рот,
Где сломанный зуб и выбитый зуб,
Руина зубов встает.

Оно разевает рот и потом
Улыбается этим ртом.
И счастье охватывает меня:
Я дожил до этого дня.

1954

После реабилитации

Гамарнику, НачПУРККА, по чину
не улицу, не площадь, а—бульвар.
А почему? По-видимому, причина
в том, что он жизнь удачно оборвал:

в Сокольниках. Он знал—за ним придут.
Гамарник был особенно толковый.
И вспомнил лес, что ветерком продут,
веселый, подмосковный, пустяковый.

Гамарник был подтянут, и высок,
и знаменит умом и бородою.
Ему ли встать казанской сиротою
перед судом?
Он выстрелил в висок.

Но прежде он—в Сокольники! Сказал.
Шофер рванулся, получив заданье.
А в будни утром лес был пуст, как зал,
зал заседанья, после заседанья.

Гамарник был в ремнях, при орденах.
Он был острей, толковей очень многих,
и этот день ему приснился в снах,
в подробных снах, мучительных и многих.

Член партии с шестнадцатого года,
короткую отбрасывая тень,
шагал по травам, думал, что погода
хорошая
в его последний день.

Шофер сидел в машине, развалясь:
хозяин бледен, видимо, болеет.
А то, что месит сапогами грязь,
так он сапог, наверно, не жалеет.

Погода занимала их тогда.
История—совсем не занимала.
Та, что Гамарника с доски снимала
как пешку
и бросала в никуда.

Последнее, что видел комиссар
во время той прогулки бесконечной:
какой-то лист зеленый нависал,
какой-то сук желтел остроконечный.

Поэтому-то двадцать лет спустя
большой бульвар навек вручили Яну:
чтоб веселилось в зелени дитя,

чтоб в древонасажденьях—ни изъяну,
чтоб лист зеленый нависал везде,
чтоб сук желтел и птицы чтоб вещали.

И чтобы люди шли туда в беде
и важные поступки совершали.

★

I

Кайсыну Кулиеву

Поэты малого народа,
который как-то погрузили
в теплушки, в ящики простые
и увозили из России,
с Кавказа, из его природы
в степя, в леса, в полупустыни—
вернулись в горные аулы,
в просторы снежно-ледяные,
неся с собой свои баулы,
свои коробья лубяные.

Выпровождали их с Кавказа
с конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу—
сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа—
и так бывает на Руси—
дождались все же оборота
истории вокруг оси.

В ста эшелонах уместили,
а все-таки — народ! И это
доказано блистаньем стиля,
духовной силою поэта.
А все-таки народ! И нету,
когда его с земли стирают,
людского рода и планеты:
полбытия
они теряют.

II

Шуба выстроена над калмыком.
Щеки греет бобровый ворс.
А какое он горе мыкал!
Сколько в драных ватниках мерз!

Впрочем, северные бураны,
как ни жгли—не сожгли дотла.
Слава не приходила рано.
Поздно все же слава пришла.

Как сладка та поздняя слава,
что не слишком поздно дана.
Поглядит налево, направо:
всюду слава, всюду она.

Переизданный, награжденный
много раз и еще потом,
многократно переведенный,
он не щурится сытым котом.

Нет, он смотрит прямо и точно
и приходит раньше, чем ждут:
твердый профиль, слишком восточный,
слишком северным ветром продут.

Пересуд

Даже дело Каина и Авеля
в новом освещении представили,
а какая давность там была!
А какие силы там замешаны!
Перемеряны и перевзвешены,
пересматриваются все дела.

Вроде было шито, было крыто,
но решения палеолита,
приговоры Книги Бытия
в новую эпоху неолита
ворошит молоденький судья.

Оказалось: человечности
родственно понятье бесконечности.
Нету окончательных концов.
Не бывает!
А кого решают —
в новом поколенье воскрешают.
Воскрешают сыновья отцов.



Бывший кондрашка, ныне инсульт,
бывший разрыв, ныне инфаркт,
что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это — факт.

Гады по году лежат на спине.
Что они думают? «Плохо мне».
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
гады понимают за что.

Вот поднимается бывший гад,
ныне — эпохи своей продукт,
славен, почти здоров, богат,
только ветром смерти продут.

Бывший безбожник, сегодня он
верует в бога, в чох и в сон.

Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
чтобы потомки ценили нас
по сумме — злых и добрых дел.

Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
не лишайте, пожалуйста, прав
исправиться до конца.



Иностранные корреспонденты
выдавали тогда патенты
на сомнительную, на громчайшую,
на легчайшую — веса пера —
славу. Питую полною чашею.
Вот какая была пора.
О зарницы, из заграницы
озарявшие вас от задницы
и до темени.
　　　　О, зарницы
в эти годы полной занятости.

О, овации, как авиация,
громыхающая над Лужниками.
О, гремучие репутации,
те, что каждый день возникали.

О пороках я умолкаю,
а заслуга ваша такая:
вы мобилизовали в поэзию,
в стихолюбы в те года
возраста, а также профессии,
не читавшие нас никогда.
Вы зачислили в новобранцы
не успевших разобраться,
но почувствовавших новизну,
всех!
　　весь город!
　　　　　всю страну!



Активная оборона стариков,
вылазка, а если можно — наступление,
старых умников и старых дураков
речи, заявления, выступления.

Может быть, последний в жизни раз
это поколение давало
бой за право врак или прикрас,
чтобы все пребыло, как бывало.

На ходу играя кадыками,
кулачонки слабые сжимая,
то они кричали, то вздыхали,
жалуясь железно и жеманно.

Это ведь не всякому дается
наблюдать, взирать:
умирая, не сдается
и кричит рать.

Институт

В том институте, словно караси
в пруду,
плескались и кормов просили
веселые историки Руси
и хмурые историки России.
В один буфет хлебать один компот
и грызть одни и те же бутерброды
ходили годы взводы или роты
историков, определявших — тот
путь выбрало дворянство и крестьянство?
и как же Сталин? прав или не прав?
и сколько неприятностей и прав
дало Руси введенье христианства?

Конечно, если водку не хлебать
хоть раз бы в день, ну скажем, в ужин,
они б усердней стали разгребать
навозны кучи в поисках жемчужин.

Лежали втуне мнения и знания:
как правильно глаголем Маркс и я,
благопристойность бытия
вела к неинтересности сознания.

Тяжелые, словно вериги, книги,
которые писалися про сдвиги
и про скачки всех государств земли —,
в макулатуру без разрезки шли.

Тот институт, где полуправды дух,
веселый, тонкий, как одеколонный,
витал над перистилем и колонной,
тот институт усердно врал за двух.

Добавка

Добавить — значит ударить побитого.
Побил и добавил. Дал и поддал.
И это уже не драка и битва,
а просто бойня, резня, скандал.

Я понимал: без битья нельзя.
Битым совсем другая цена.
Драка — людей возвышает она.
Такая у нее стезя.

Но не любил, когда добавляли.
Нравиться мне никак не могли,
не развлекали, не забавляли:
морда в крови и рожа в пыли.

Слушая, как трещали кости,
я иногда не мог промолчать
и говорил: — Ребята, бросьте,
убьете — будете отвечать.

Если гнев отлютовал,
битый, топтанный, молча вставал,
харкал или сморкался кровью
и уходил, не сказав ни слова.

Еще называлось это: «В люди
вывести!» — под всеобщий смех.
А я молил, уговаривал: — Будя!
Хватит! Он уже человек!

Покуда руки мои хватают,
покуда мысли мои витают,
пока в родимой стороне
еще прислушиваются ко мне,

я буду вмешиваться, я буду
мешать добивать, а потом добавлять,
бойцов окровавленную груду
призывами к милости забавлять.

★

Ожидаемые перемены
околачиваются у ворот.
Отрицательные примеры
вдохновляют наоборот.

Предает читателей книга,
и добро недостойно зла.
В ожидании скорого сдвига
жизнь — как есть напролет — прошла.

Пересчета и перемера
ветер
не завывает в ушах.
И немедленное, помедля
сделать шаг,
не делает шаг.



Сласть власти не имеет власти
над власть имущими, всеми подряд.
Теперь, когда объявят: «Слазьте!» —
слезают и благодарят.

Теперь не каторга и ссылка,
куда раз в год одна посылка,
а сохраняемая дача,
в энциклопедии — столбцы,
и можно, о судьбе судача,
выращивать хоть огурцы.

А власть — не так она сладка
седьмой десяток разменявшим:
не нашим угоди и нашим,
солги, сообрази, слукавь.

Устал тот ветер, что листал
страницы мировой истории.

Какой-то перерыв настал,
словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.

Первый овощ

Зубы крепко, как члены в президиуме,
заседали в его челюстях.
В полном здравии, в лучшем виде, уме,
здоровяк, спортсмен, холостяк,
воплощенный здравый рассудок,
доставала, мастер, мастак,
десяти минуток из суток
не живущий просто так.

Золотеющий лучшим колосом
во общественном во снопу,
хорошо поставленным голосом
привлекает к себе толпу.
Хорошо проверенным фактом
сокрушает противника он,
мерой, верой, тоном и тактом,
как гранатами, вооружен.

Шкалик, им за обедом выпитый,
вдохновляет его на дела.
И костюм сидит, словно вылитый,
и сигара сгорает дотла.

Нервы в полном порядке, и совесть
тоже в полном порядке.
Вот он, этой эпохи новость,
первый овощ, вскочивший на грядке.

★

Никоторого самотека!
Начинается суматоха.
В этом хаосе есть закон.
Есть порядок в этом борделе.
В самом деле, на самом деле
он действительно нам знаком.
Паникуется, как положено,
разворовывают, как велят,
обижают, но по-хорошему,
потому что потом — простят.
И не озаренность наивная,
не догадки о том о сем,
а договоренность взаимная
всех со всеми,
всех обо всем.

★

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и кромешный
запах лжи.

★

У людей — дети. У нас — только кактусы
стоят, безмолвны и холодны.
Интеллигенция, куда она катится?
Ученые люди,
где ваши сыны?

Я жил в среде, в которой племянниц
намного меньше, чем теть и дядей.
И ни один художник-фламандец
ей не примажет больших грудей.

За что? За то, что детские сопли
однажды побрезговала стереть,
сосцы у нее навсегда пересохли,
глаза и щеки пошли стареть.

Чем больше книг, тем меньше деток,
чем больше идей, тем меньше детей.
Чем больше жен, со вкусом одетых,
тем в светлых квартирах пустей и пустей.

★

Не домашний, а фабричный
у квасных патриотов квас.
Умный наш народ, ироничный
не желает слушаться вас.

Он бы что-нибудь выпил другое,
но, поскольку такая жара,
пьет, отмахиваясь рукою,
как от овода и комара.

Здешний, местный, тутошний овод
и национальный комар
произносит свой долгий довод,
ничего не давая умам.

Он доказывает, обрисовывает,
но притом ничего не дает.
А народ все пьет да поплевывает,
все поплевывает да пьет.

★

И лучшие, и худшие, и средние —
весь корпус человечества, объем —
имели осязание и зрение,
владели слухом и чутьем.

Одни и те же слышали сигналы,
одну и ту же чуяли беду.
Так неужели чувства им солгали,
заставили сплясать под ту дуду?

Нет, взгляд был верен, слух был точен,
век в знании и рвении возрос,
и человек был весь сосредоточен
на том, чтоб главный разрешить вопрос.

Нет, воли, кроме доброй, вовсе не было,
предупреждений вой ревел в ушах.
Но, не спуская взоры с неба,
мир все же в бездну свой направил шаг.

Физики

Больше не песня вы, не легенда.
Ныне берите повыше — судьба.
Люди проваленного эксперимента,
предупредительного столба.

Смотрят на вас не с восторгом — с испугом,
не собираются длить диалог
и переглядываются друг с другом:
что же там следует — бездна, бог?

Бога бензином заправить немного —
может быть, он и заполнит окно.

Предупредительный столб возле бога,
сваленный в бездну, забылся давно.

★

Ставлю на через одно поколение,
Не завтра, а послезавтра.
Славлю дальних звезд заселение
Слогом ихтиозавра.

Будущие годы значит — следующие.
Многого я от них не жду.
Жду грядущие годы — едущие
В большой ракете
на большую звезду.

Ставлю на Африку, минуя Азию,
Минуя физику — на биологию,

Минуя фантастику, минуя фантазию,
На чудеса — великие, многие.

Ставлю на коммунизм, минуя
Социализм, и на человечество
Без эллина, иудея, раба, буржуя,
Минуя нынешнее отечество.

Из привычных критериев вырвавшись,
Обыденные мерки отбросивши,
Ставлю на завтрашний выигрыш
С учетом завтрашнего проигрыша.

★

В двадцатом веке дневники
не пишутся, и ни строки
потомкам не оставят.
Наш век ни спор, ни разговор,
ни заговор, ни оговор
записывать не станет.

Он столько видел, этот век, —
смятенных вер, снесенных вех,
невставших ванек-встанек,
что неохота вспоминать.
Он вечером в свою тетрадь
записывать не станет.

Но стих — прибежище души.
Без страха в рифму все пиши.
За образом — как за стеною.
За стихотворною строкой,
как за разлившейся рекой,
как за броней цельностальною.

Лишь по прошествии веков
из скомканных черновиков,
из спутанных метафор
всё извлекут, что ни таят:
и жизнь и смерть,
и мед и яд,
а также соль и сахар.

Страсть к фотографированию

Фотографируются во весь рост
и формулируют хвалу, как тост,
и голоса фиксируют на пленке,
как будто соловья и коноплянки.

Неужто в самом деле есть архив,
где эти фотографии наклеют,
где эти голоса взлелеют,
как прорицанья древних Фив?

Неужто этот угол лицевой,
который гож тебе, пока живой,
но где величье даже не ночует,
в тысячелетия перекочует?

Предпочитаю братские поля,
послевоенным снегом занесенные,
и памятник по имени «Земля»,
и монумент по имени «Вселенная».

★

Уменья нет сослаться на болезнь,
таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
в такую грязь, где не бывать другому.

Как ни посмотришь, сказано умно —
ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господа-то бога?
Господь, он скажет все равно.....

Господь не любит умных и ученых,
предпочитает тихих дураков,
не уважает новообращенных
и с любопытством чтит еретиков.

★

Голоса не дал Господь
и слова
не хотел давать.
Это все своим трудом,
своим стараньем.
Книги не хотели издавать.
Я их пробивал и протаранил.

Я ведь не жуир, не бонвиван,
не кудесник, не бездельник.
Упражненьем голос развивал.
Тщаньем добывал толику денег.
Даром ничего не брал.
Впрочем — не давали.
Жил, как будто отбывал аврал,
но сравненье подберешь едва ли.

Хвала и хула

И хвала и хула,
но не похвала и не ругань,
а такая хвала и такая хула,
что кругами расходится на всю округу

то малиновый звон,
то набатные колокола.

Выбирая поoскорбительней фразы
или пообольстительнее слова,
опускали — так сразу,
поднимали — так сразу,
так что еле душа оставалась жива.

Всякий раз, когда кто-нибудь разорется
или же разольется воспитанным соловьем,
почему же — я думал — он не разберется.
Сели, что ли, бы рядом, почитали вдвоем.

Но хвала нарастала
и в темпе обвала
вслед за нею немедля
хула прибывала.
А когда убывала
поспешно хвала,
то же в темпе обвала
ревела хула.

Раскачали качели,
измаяли маятник.
То заметен ты еле,
то как временный памятник.
День-деньской,
весь свой век
то ты грязь,
то ты князь,
то ты вниз,
то ты вверх.
Из листка,
ураганом сорвавшим листок,
и тебя по морям-океанам мотает:
то метет тебя с запада на восток
или с юга на север тебя заметает.

★

Критики меня критиковали,
Редактировали редактора,
Кривотолковали, толковали
С помощью резинки и пера.

С помощью большого, красно-синего,
Толстобокого карандаша.
А стиха легчайшая душа
Не выносит подчеркиванья сильного.

Дым поэзии, дым-дымок
Незаметно тает.
Легок стих, я уловить не мог,
Как он отлетает.

Легче всех небесных тел
Дым поэзии, тобой самим сожженной.
Не заметил, как он отлетел
От души, заботами груженной.

Лед-ледок, как в марте, тонок был,
Тонкий лед без треску проломился,
В эту полынью я провалился,
Охладил свой пыл.

★

Был печальный, а стал печатный
Стих.
Я строчку к нему приписал.
Я его от цензуры спасал.

Был хороший, а стал отличный
Стих.
Я выбросил только слог.
Большим жертвовать я не смог.

НЕ — две буквы. Даже не слово.
НЕ — я снял. И все готово.
Зачеркнешь, а потом клянешь

Всех создателей алфавита.
А потом живешь деловито,
Сыто, мыто, дуто живешь.

★

Было стыдно. Есть мне не хотелось.
Мне хотелось спать и умереть.
Или взять резинку и стереть
Все, что написалось и напелось,
Вырвать этот лист,
Скомкать, сжечь, на пепле потоптаться.
Растереть ногою слизь.
Не засчитываться, не считаться.
Мне хотелось взять билет
Долгий. Не на самолет. На поезд...
И героем в двадцать лет
Сызнова ворваться в повесть.
Я ложился на диван,
Вдавливался в пружины —
Обещанья твердого режима
Сам себе торжественно давал:
Буду делать это, но не то,
Буду то писать, не это, —
А потом под ливень без пальто
Выходил, как следует поэту,
И старался сразу смыть, смыть, смыть
Все, что может мучить и томить.

Вопросы к себе

Доделывать ли дела?
С одной стороны, конечно,
как быть без цели конечной —
уничтожения зла.

Зато, с другой стороны,
при всех душевных высотах,
усилия наши равны
нолю или ноль ноль сотых.

Усилия наши равны
тому прошлогоднему снегу,
что где-то остался для смеху
по милости дружной весны.

У всякой одной стороны
есть и сторона другая,
и все мы должны, должны,
и я как могу помогаю.

★

—Что вы, звезды?
— Мы просто светим.
— Для чего?
— Нам просто светло. —
Удрученный ответом этим,
самочувствую тяжело.

Я свое свечение слабое
обуславливал
то ли славою,
то ли тем, что приказано мне,
то ли тем, что нужно стране.

Оказалось, что можно просто
делать так, как делают звезды:
излучать без претензий свет.
Цели нет и смысла нет.

Нету смысла и нету цели,
да и светишь ты еле-еле,
озаряя полметра пути.
Так что не трепись, а свети.

★

В драгоценнейшую оправу
девятнадцатого столетья
я вставляю себя и ораву
современного многопоэтья.

Поднимаю повыше небо —
устанавливаю повыше,
восстанавливаю, что повыжгли
ради славы, ради хлеба,
главным образом, ради удобства,
прежде званного просто комфортом,

и пускаю десятым сортом
то, что первым считалось сортом.

Я развешиваю портреты
Пушкина и его плеяды.
О, какими огнями согреты
их усмешек тонкие яды,
до чего их очки блистают,
как сверкают их манишки
в те часы, когда листают
эти классики наши книжки.

★

Поэты подробности,
поэты говора
не без робости,
но не без гонора
выдвигают кандидатуры
свои
на первые места
и становятся на котурны,
думая, что они — высота.

Между тем детали забудут,
новый говор сменит былой,
и поэты детали будут
лишь деталью, пусть удалой.
У пророка с его барокко
много внутреннего порока:
если вычесть вопросительные
знаки, также восклицательные,
интонации просительные,
также жесты отрицательные,
если истребить многоточия,
не останется ни черта
и увидится воочию
пустота, пустота, пустота.

Между тем поэты сути,
в какие дыры их ни суйте,
выползают, отрясают
пыль и опять потрясают
или умиляют сердца
без конца, без конца, без конца.

★

С бытием было проще.
Сперва
не давался быт.
Дался после.
Я теперь о быте слова́
подбираю,
быта возле.
Бытие, все его категории,

жизнь, и смерть, и сладость, и боль,
радость точно так же, как горе я,
впитываю, как море — соль.

А для быта глаз да глаз
нужен, также — верное ухо.
А иначе слепо и глухо
и нечетко
дойдет до нас.

Бытие всегда при тебе:
букву строчную весело ставишь,
нажимаешь нужный клавиш
и бормочешь стихи о судьбе.

В самом деле, ты жил? Жил.
Умирать будешь? Если скажут.
А для быта из собственных жил
узел тягостный долго вяжут.



Век вступает в последнюю четверть.
Очень мало непройденных вех.
Двадцать три, приблизительно, через
года — следующий век.

Наш состарился так незаметно,
юность века настолько близка!
Между тем ему на замену
подступают иные века.

Между первым его и последним
годом
жизни моей весь объем.
Шел я с ним — сперва дождиком летним,
а потом и осенним дождем.

Скоро выпаду снегом, снегом
вместе с ним, двадцатым веком.

За порог его не перейду
и заглядывать дальше не стану
и в его сплоченном ряду
прошагаю, пока не устану,
и в каком-нибудь энском году
на ходу
упаду.



Выдаю себя за самого себя
и кажусь примерно самим собой.
Это было привычкой моей всегда,
постепенно стало моей судьбой.

Публикация и составление Ю. Болдырева.



Леонид Шорохов

ВОЛОДЬКА-ОСВОД

ПОВЕСТЬ

1

Тихий, малозаметный бардачок на берегу Акдарьи, известный только узкому кругу посвященных, процветал вот уж пятый год.

Назад тому лет восемь Общество спасания на водах, заботясь о широких массах утопающих, организовало на берегу тогда еще полноводной реки свой пост. Вниз по течению Акдарьи в трех километрах от города была сооружена невидная деревянная будочка с намалеванным на ней синим спасательным кругом, больше похожим на дыню, чем на круг, и выделена семидесятирублевая штатная единица, то ли сторожа при несолидной будочке, то ли караульщика могучей реки. Впрочем, непонятная должность имела довольно громкое наименование: матрос-спасатель второго класса.

Несведущему человеку трудно было представить себе на указанной должности кого-нибудь, кроме старенького, замшелого деда, начавшего тянуть флотскую лямку во времена Очакова и покоренья Крыма, с нататуированным на высохшей, птичьей руке светло-синим, стершимся по древности лет якорьком. Однако жизнь хитрей наших представлений о ней. И сильно ошибся бы в данном случае догадчик. Будочка выглядела сонной и дряхлой среди буйного размаха береговых тугайных зарослей, но не сонным и не дряхлым был мужчина, стоявший на пороге будочки. Бугры стальных мускулов перекатывались под его гладкой кожей; грудь туго распирала готовую лопнуть тельняшку; волосатые ноги плотно давили землю, маленькие, зоркие глаза просматривали Акдарью на многие километры в обе стороны сразу.

Несомненно, вернись времена парусного флота, означенный матрос-спасатель второго класса ни на секунду не затруднился бы в одиночку зарифить косой парус на бушприте трехсоттонной шхуны. Но, увы, золотые те денечки давно миновали.

Владимир Васильевич Сагин — против этой фамилии матрос-спасатель обычно расписывался в ведомости на зарплату, — а говоря попросту Володька-Освод, имел самое смутное представление о парусах. Впрочем, туман незнания распространялся в его голове и на прочие науки. Куда легче было перечислить то, что Володька знал, чем то, чего он не знал. Оказалось, что для жизненного процветания и не требуется никаких знаний, за исключением, может быть, начал устного счета и умения четко написать пять букв, составляющих негромкую сагинскую фамилию. Все остальное только зря удручало голову.

То-то удивились бы нынешним Володькиным достижениям школьные учителя, некогда предсказывавшие круглому двоечнику едва ли не голодную смерть по причине неспособности ни к каким наукам. Теперь Володька только посмеивался, припоминая их мрачные прогнозы, — многие ли из его бывших учителей сами добились в этой жизни того, чего шутя достиг матрос-спасатель второго класса?.. Если судить по зарплате, то разница оказывалась невелика, если сравнивать по объему бесполезных знаний, которыми были битком набиты многомудрые учительские головы, то тут, правда, педагоги резко вырывались вперед; если же начать прикидывать по реальным меркам бытия, то выходило, что ни один из бывших наставников Володьке и в подметки не годился!

Всю жизнь уча других, они ухитрились не нажить собственного ума: годами мыкались по чужим углам, не умея добыть своего; топали жалким пешедралом по улицам родного городка, где каждый второй житель был их бывшим учеником. Все их нищие сберкнижечные запасы не выходили за пределы суммы, без которой Володька брезговал выйти за сигаретами, да еще у каждого ли из них была та книжка — вопрос?! Нет, плохо кормят науки, Володька убедился в этом еще в самом невинном возрасте.

2

Сагин покинул храм науки пятнадцать лет назад. Впрочем, слово «покинул», кажется, не очень подходило к его случаю. Скорее не он покинул школу, а обитель знаний наконец разорвала многолетние отношения мелочной и нудной войны с Володькой. Но так или не так, а время расстаться подоспело, школа вздохнула с облегчением, но с еще большим облегчением вздохнул ее выпускник.

Сладчайший пирог жизни манил его воображение умопомрачающими запахами. Заурчав от жадности, Володька со всех ног кинулся к желанной добыче. Время на дворе подоспело самое подходящее. По всей стране синим пламенем бушевало джинсовое безумие. Оно поразило не только отдельных, сверхвосприимчивых к голубой эпидемии людей — жертвой заразы пали коллективы, целые социальные прослойки. Домохозяйки и академики, строительные рабочие и министры, музыканты и дворники — все жаждали облачить свои разнокалиберной упитанности ягодицы в зарубежную холстинку. Дебилы из подворотен мотивировали манию стадной символикой; доктора наук — практицизмом. В одном сходились и те, и другие: годилась и в дело шла не всякая заграница, а лишь пораженная загниванием империализма в максимальной степени. Только ее система прострочки швов и сюжетности наклеек равно удовлетворяла и веселых хиппушников, и угрюмых помпрокуроров.

Первой настоящей профессией Сагина стала фарцовка. Но Володьку подвела жадность. Уж очень хотелось иметь все и сразу. Произошло неприятное знакомство с правоохранительными органами, после которого Володька остыл к явному криминалу. Игра свеч не стоила. Год, проведенный за колючей проволокой, убедительнейшим образом доказал Сагину порочность его стремления разом засунуть в рот все десять пальцев. Кроме того, кормили в колонии общего режима из рук вон плохо. А ведь при дальнейшем продолжении фарцовочного разгула неизбежно замаячил бы «строгач»! Чем же насыщать плоть там? Нет, калорийность зоновского питания никак не соотносилась с потребностями Володькиного желудка. Надо было изыскивать новые жизненные средства и пути.

3

Рассеянный взгляд Сагина прошелся окрест и остановился на мутных, желтых струях Акдарьи.

Тяжелое тело реки едва шевелилось. Дальний берег терялся в туманной дымке. Косое вечернее солнце играло мокрыми бликами на молодых камышинах, кланяющихся ветерку. Неизведанная Володькой устойчивость жизни царила в извечном, природном равновесии. Что-то словно толкнуло Сагина под сердце. Володька ошеломленно уставился на воду.

— Да вот же оно! — выдохнулось само собой.

Акдарья кипела рыбой. Стоило постоять десяток минут на бережку, глядя на бескрайнюю светло-коричневую гладь, и сердце начинало дрожать налимьей печенкой, — то справа, то слева, то прямо перед глазами раздавался смачный, звонкий удар; аршинной величины, сверкающие золотом чурбаки — знаменитые акдарьинские сазаны в дыме брызг вылетали из воды, неуклюже поворачивались в воздухе литыми сверкающими боками и гулко плюхались обратно. Звонкий хлопок разбегался по-над гладью реки, а уж рядом взмывал вверх другой золотистый красавец, и, казалось, этому не будет конца.

Дальнейшая судьба Сагина решилась в мгновение ока. Володька облегченно крякнул: видно, недаром с самого раннего, сопливого детства притягивали его воображение топкие, камышистые берега и широкие реч-

ные просторы. Не прокормиться у такой богатой природной копилки было дело немыслимое.

Володька выходил рано утром на мокрый бережок; мутно колыхалась перед ним бесконечная лента реки; перед самым первым лучом солнца начиналась жировка и тяжелые удары сазанов о воду.

Сагин прикидывал в уме: — Полпуда чурбак, да взять их, скажем, сотню, да мокрой травой переложив (минутное же дело нарезать куги да молодых камышей в этаких зарослях), да затарить в кузов бортового «ГАЗа», а там уже и дорожка известна — прямиком в горы, на рудник. Горняцкий поселок большой. Живет в нем никак не меньше тысяч пяти народу. Езды дотуда каких-нибудь четыре-пять часов, а расхватают, как бог свят, расхватают, народ-то все сплошь денежный, весь товар в полчаса. Трояк за штуку, да что там трояк — клади пятерку! Они ведь в своих подземельях не только что живого сазана, а и дохлой кильки месяцами не видят. За день рейсом бы и обернулся, — глядишь, к вечеру уже дома. Полсотни шоферу (ну, как край сто, коли шибко удалый попадется), а остальной навар — сотни три, четыре — вот он где! Кругом деньги, и в карманах, и в руках, и за пазухой — рубли, трешки, пятерки — ох!..

Володька обводил Акдарью дикими глазами. Вода подавалась и отступала под его взглядом.

— Жизнь наша, — хрипло выдыхал Володька, — один раз даденная!..

4

Через год у Сагина завелся «ИЖ» с коляской. Еще через год Володька взял участок земли и начал строить собственный дом.

На щелястом полу сараюшки-времянки тугими скатками капроновой бечевы громоздились стометровые бредни, на полках горбылевых стеллажей притаились еще не посаженные на парашютный, крепчайший шнур куклы новеньких сетей, около них лежали промысловые сети, уже подкрашенные в коричневый цвет въедливым акдарьинским илом. Сети Володька держал на всякую рыбью повадку и размер: были и тройники, и четверики, и шестерики, и восьмерики; с режаками и без; с пробковыми поплавками и с пенопластовыми; с грузилами свинцовыми и керамическими; пятидесяти-, сто-, двухсотметровой длины, связанные по Володькиному заказу местными мастерами и привезенные им из Астрахани (с осетровых стародавних промыслов, оскудевших ныне осетрами); сети купленные, краденые, выигранные в очко, на пари, оплаченные магарычом.

В заливчике Акдарьи рядом с камышовой мазанкой чуть покачивалась на желтой дарьинской волне новенькая моторка; и не просто лодка с мотором, какие были у любого Володькиного конкурента по фартовому сазаньему делу, не смоленая, кой-как сбитая из черных досок колода с тупо обрубленной кормой, нет, в заливчике дожидалась лихих ночных налетов на сазаньи ямы настоящая морская шлюпка, набранная из узеньких сосновых реек, натянутых внахлест, с перекрывом, одна поверх другой, на обводистые, дубовые шпангоуты.

Чертежи обладающей завидными мореходными качествами посудины, кем-то вырванные из журнала «Техника — молодежи», через третьи, а то, может, и пятые руки добрались до Володьки, чтобы обрести материальное воплощение в его промысловом баркасе.

Азиатское прожаристое солнце отложило бурые пятна загара по крутым Володькиным плечам, только лямки майки оставили белые полоски. Бурое соседствовало с красным, розовое с коричневым. Володька заматерел и раздался вширь. Загорелый лоб его прорезали глубокие морщины, искрами вспыхивала на солнце рыжая щетина щек и подбородка. Жизнь давалась Сагину, как норовистая девка, взятая нахрапом, помимо ее воли, — с мукой и неслыханной сладостью. Так и чувствовал он на своих обветренных губах тяжелый, кислый привкус чужой крови.

5

Женился Сагин так же быстро и нераздумчиво, как поступал всегда; удачливая случайность сама отыскала его и подарила прочное семейное счастье.

Шесть лет минуло с того воскресного дня, когда Володька стоял у входа на базар, соображая, не трахнуть ли по случаю выходного пару кружек пивка. Тут к нему подвалил знакомый по ночным рыбьим делам кореш. Разговор потек малым ручейком в направлении Акдарьи. Кореш набивался в промысловую компанию. Володька явно отнекивался.

Проходившая мимо молодая женщина поздоровалась с корешом. Рядом с ней клеилась подружка. Дамы задержались на минутку, перекинулись словечком.

— Ну, пока.

— Пока.

Случайные знакомки двинулись по своим делам. Володька повел за куриным племенем равнодушным взглядом. Глаза его сонно прошлись по туфлям, лодыжкам, икрам, поднялись чуть выше... Тут Володькины зрачки внезапно расширились и заблестели: — Ай да подружкина подружка! — Он цепко схватил приятеля за руку.

— Кто такая?

— А, — равнодушно уронил дружок, — холостячка одна.

— Долбится? — выдохнул Володька.

Приятель махнул рукой: — Пустой номер. Говорят, девка еще. Сторожится. Замуж метит.

— Де-е-евка! — Володька замер, не дыша. Да с таким задом недолго ей в девках гулять. Взгляд его никак не мог отлепиться от знойных выпуклостей подружкиной фигуры.

Словно чувствуя на себе этот взгляд, подружкина подружка замедлила шаги. Бедра ее пришли в плавное колыхание. У Володьки вспотели ладони и пересохли губы.

«Уведут, — со страхом подумал он. — как бог свят, уведут».

Незнакомка завернула за угол.

— Девка, — пробормотал Володька. — Шалишь, другому не достанешься!

Он облизал губы. Следовало немедленно жениться. Сама судьба позвала его в дорогу своими серебряными трубами.

— Вот вечерком и пойдем свататься, — решительно объявил он приятелю.

В тот же день он и несколько ошалевший от Володькиных страстей кореш уже дули водку с будущим тестем. Наутро Володька подмазал в загсе, чтоб не томили лишнего времени, а уже к вечеру, наконец, дорвался до того, что так яростно и неудержимо возжелал.

Люся оказалась не вполне девкой. Впрочем, недостающее она с лихвой компенсировала имеющимся, — несомненных женских достоинств у нее оказалось еще больше, чем Володька предположил по первому взгляду.

Кроме того, характер ее пришелся Володьке по душе, — дом блестел чистотой, кровать занимала половину спальни, отказу в скромном баловстве не было в любое время дня и ночи, и Володькин аппетит насыщался в «пять секунд» (как любила игриво пошутить сговорчивая молодушка). Любая еда, которую она готовила, на три четверти состояла из мяса, — ну чего еще можно было требовать от любимой женщины?

Никаких гримас и странностей любви Володька не уважал. Простая пища, по его мнению, была для здоровья полезней любых разносолов. Он был доволен женой.

6

На третий год безудержной погони за рублем Володька схлестнулся с рыбинспекцией. Каша заварилась такая, что вот-вот пришлось бы сдобрить ее кровью, ибо никакое масло уже не помогало.

Числился в это время Володька сторожем на стройке. Зарплата его была ясно какая — котовы слезы, а не зарплата, да и не брал ее вовсе Сагин; только что расписывался. Время было ему дороже всяких зарплат. Он бы, случись дело, еще и сам приплатил, лишь бы не мешали в главном, в основном занятии. Вся зарплата вмещалась в один удачливый замет плавной сети. Так что пусть теми копейками и дальше пользуются те, кому надо, за ночь Володька, случалось, перекрывал все свое годовое жалованье. Для стажа да для вида держал Сагин в кадрах трудовую книжку.

Все было бы хорошо, если бы и дальше шло так, как шло, но тут настигла Володьку новая беда. Рыбоохрана, будь она неладна!

Пока сазана в Акдарье было — ешь не хочу, пока всякий и каждый мог брать его без малейшего труда, сколько душе угодно, рыбинспектор и не смотрел в Володькину сторону. Ну разве когда щупал он Сагина за вымя, но прессовать всерьез — не прессовал.

Вон их сколько, таких Володек, крутится около дарьинского сазана, что ж, каждому горло рвать, что ли? — здраво рассуждал оберегатель народного богатства. Опять же, ведь не за границу они тех сазанов поволокут; свои же и купят, свои же и съедят. Этого добра на наш век хватит. Пускай пока пользуются.

Володьку очень устраивал ход охранных мыслей.

Но вот рыбы стало меньше; рыба стала дорога, и сразу обнаружилось, какие завидущие глаза притаились под лаковым козырьком форменной черной фуражки. Каждый шаг давался Володьке со значительными трудностями. Инспектор начал доить Володьку не по чину. Плавной замет приходилось дробить чуть ли не пополам. Володька только скрипел зубами от неслыханного грабежа. В самую черную полночь-заполночь по следам водяных усов Володькиного баркаса тарахтел движок рыбоохрановской моторки. Прилипчивый гад чуть ли не высовывался из воды вместе с Володькиной сетью. Сагин нисколько не удивился бы, нечаянно обнаружив его (чтоб он сдох!) третьим в собственной постели.

Наконец дышать стало совсем невмоготу. Володька попробовал было потолковать по душам с озверевшим охранителем речных богатств. Но куда там! Инспектор надулся, как хороший индюк.

— Кто тут на Дарье хозяин? — презрительно процедил он сквозь зубы. — Я тут хозяин. А ты кто? Ты здесь пришей-пристебай. Из моей милости живешь. Вон ты как за два года на рыбе нажрался. И «Ижок» у тебя с коляской, и сети какие хочешь, и карбас, что картинка, и уже свою домину начал строить, — а через чего это все? Я что, не помню, каким ты здесь, на реке, появился? Только голый зад блестел да зубы щелкали, вот ты какой пришел. А теперь барин. А спросить — кто ты таков есть, чтоб по своей воле вольготничать, так скажем, на народном добре? А есть ты злостный браконьер и спекулянт, и место твое не возле реки, а сам знаешь где. И дело твое — молчок! И притихни, как мыша, чтоб я больше твоих вяканий не слышал! Живешь, пока велю; а захочу, так и не станет тебя вовсе. Место свое знай. Стригу тебя, стало быть, время пришло стричь. Вот так-то! — как вбил рыбинспектор в Володькину голову дубовый, тесаный кол.

Володька хотел было намекнуть оборзевшему гаду, что уже не один такой шустрик поплыл под водой до первой большой ямы, сомам на закуску, да поостерегся выпускать язык. Не ту собаку бойся, которая гавкает, а ту, которая молчит. Баркас не спрячешь, сети — вот они где, все Володькины промысловые места инспектору наперечет известны. Захочет нагадить, так шутя припутает на самой горячине, а там «шмон», и останешься в чем мать родила, да еще останешься ли? Вторая судимость, не первая, — припаяют срок на полную катушку, — Москва слезам не шибко верит.

Пришлось промолчать.

Овчинка перестала стоить выделки, и верткий Володькин умишко стал раскидывать щупальца коротеньких мыслей.

Как быть? Порешить гада втихую, притопить с парой булыганов за пазухой где-нибудь в глубоком, потаенном омутке? Володька знал по Акдарье великое множество таких добрых местечек, а там бы его через месяц, глядишь, чисто подобрали знаменитые акдарьинские сомы. Или, может, настала пора опять переключиться на новое поле деятельности? А затраты на лодку, на стосильный мотор, на сети, а налаженная цепочка перекупщиков, а привычка жить по своей вольной воле и хотению? И все это кинуть псу под хвост из-за какого-то водяного гада? И начинать с начала, с мелкого, невидного нуля; лебезить и ерзать, пока мало-мальски снова не станешь на ноги? Ну нет, такого ни возраст, ни характер не позволяли.

Володька крепко задумался. И вот тут, в самый тяжелый момент, и обнаружилось, как верно он выбрал подругу жизни. Ай да Люська, ай да голова! Сказала, как отрезала. Конечно, надо было искать защиту и прикрытие под вывеской какой-либо государственной конторы. Там попробуй тронь!

Володька так и подпрыгнул.

— Вер-р-рна!

Он побегал по старым знакомым, порыскал по берегам реки и набрел на только что открывшийся пункт спасания утопающих. Это была манна небесная. Словно сам перст божий прямо указал на Сагина — быть тебе отныне, парень, человеком особой судьбы и особого предназначения. Так стал Володька матросом-спасателем второго класса местного отделения Общества спасания на водах, а попросту — Володькой-Осводом.

Эх, мать честная, да теперь он мог маячить на реке круглые сутки, и днем и ночью, и притом на самом наизаконнейшем из всех законных оснований. Когда и где утопающему утонуть — срока и места никто не устанавливал: ОСВОД на то и ОСВОД, чтоб спать вполуха!

Совсем слились вместе Володька и Акдарья.

Раньше рыбий радетель всегда мог Сагина с речки шугануть. Чего это, мол, стражу строительного склада делать посерёдь реки в два часа ночи? А ну вали отсюдова, беги, сторожи, что тебе сторожить положено!

А теперь нет, шалишь, брат, самое Володькино и есть занятие на глубоком месте, — не на перекате же утопающему человеку случиться! А что касается ночи-полночи, так бдим, а ну как лучший дружочек, рыбоохрана перевернется на боевом своем посту да начнет пускать пузыри. Кто его тогда спасет? А есть на то поставленный государством человек, матрос-спасатель второго класса Володька Сагин — он и спасет! Вот так-то! Ну а пока ты еще не перевернулся, мил друг, — так кыш отсюда. Ныне не только ты, а и я, Володька, на отважном месте и боевом посту. Объезжай стороной!

7

Три года назад от Акдарьи отвели в Соленую степь канал. Несколько десятков тысяч гектаров непаханой, плодороднейшей, но иссохшей до белизны земли втуне лежали в двухстах километрах от реки.

Лет за десять до начала Володькиного сазаньего промысла в больших государственных верхах было принято суровое решение: забрать половину реки и бросить по идеально прямой, узкой, как ребро штыка, нитке канала в самую середину бесплодной лёссовой равнины. Урожаи хлопка ожидалось взять неслыханные. О будущем Акдарьи никто из решавших не подумал. Впрочем, имелись задачи более насущные, чем сохранность пойменных стариц да извилистых акдарьинских протоков.

Через год на трассу будущего канала двинулись десятки передвижных механизированных колонн. Двенадцать лет шла напряженнейшая, беспощадная битва с природой. Мешал проклятый хребет, мергелистыми, стометровой толщины буграми перекрывший будущую водяную артерию.

В год, когда Володька накрыл сложенные из жженого звонкого кирпича стены своих будущих хором купленными по дешевке бракованными пустотками (уж он-то хорошо знал, какие они бракованные, — бракованные, те пошли на государственные четырехэтажки), в тот счастливый для Сагина год хребет наконец уступил напору непреклонной человеческой воли и силе техники. В канал пошла вода. Акдарья резко обмелела. Обнажились острова, прежде бывшие песчаными косами. Извечные садки и нагулы сазаньей молоди оказались поверх воды. Основная масса рыбы скатилась в ямы. На прежде судоходной реке возникли десятки перекатов. Вода резко посветлела. Акдарья начала чахнуть и хиреть.

Этот год Володька блаженствовал. Очумевших сазанов можно было черпать из ям бреднями, как из обычного садка. Одно было плохо — сазаны упали в цене. Впрочем, Володька возмещал потери количеством пойманной рыбы.

Изобилие продолжалось и год, и два, и Сагин не шутя уверовал, что такая райская жизнь будет длиться вечно. На третье лето волшебной сказке пришел конец. За два года беспощадного лова сазан был чуть ли не весь истреблен. Возобновления рыбьего стада не последовало — негде стало нереститься. Вдобавок, на сазаний народ напала еще одна беда. В озера и верховья Акдарьи был завезен малек удивительной рыбы, обитавшей

только в глинистых, тяжелых водах рек Великой Китайской равнины. Трансплантированный в Среднюю Азию, он был на диво живуч (сутками мог обходиться без воды), необыкновенно вынослив и прекрасно приспособлен к любым превратностям житейского коловращения.

Заморская рыба умела ползать на брюхе по илу и мокрой траве, как добрая змея. Собственно, по виду она и походила на самую настоящую рептилию. Словно принюхиваясь, выдавалась вперед узкая щучья морда, бусинки глаз моментально схватывали малейшее колебание камыша. Удлиненное черное туловище, казалось, состояло из одних мышц, широкий плавник охватывал спину и брюхо диковинной рыбы. Зверь умел подпрыгивать и кусаться, как дикий кот, острые акульи клыки торчали в разные стороны из хапужистого рта. Позади клыков помещался второй ряд зубов, устроенных наподобие сапожной щетки.

Изучавшая зверя местная наука решительно утверждала, что этот подводный, надводный и болотный тигр в душе вегетарьянец. Ведь в реках Китая он жрал в основном всяческую водяную растительность — водоросли, кугу, молодые камыши, не брезговал и тиной. Впрочем, остряки склонялись к мнению, что зверь сидел на зеленой диете исключительно за неимением собратий, заблаговременно съеденных самими китайцами, но мало ли чего не болтают в научных кругах.

Сама наука предполагала, что разведенный в надлежащем количестве и запущенный в канал зверь оправдает затраты на свое разведение, подвизаясь в качестве водяного санитара. Доктора рыбьих наук ждали, что трансплантант будет под ноль подчищать всякую зеленую ненужность, за год превращающую водную магистраль любой ширины в бурое болото.

Несколько десятков тысяч купленных на валюту мальков мирно резвились пару лет в спокойных, затхлых водах искусственных озер. Но до того, как начал действовать отводной канал, река имела буйный, неукротимый нрав. В один из тех годов, когда солнце греет землю на тысячную долю процента сильнее, чем обычно, весна пришла в долины на месяц раньше срока. Резко потощали ледяные языки, и Акдарья, приняв в себя огромные массы ледяной воды, взбунтовалась и вышла из берегов.

Дамба вокруг озер была прорвана. Чужеземный зубастый и клыкастый подрост ушел в реку. Три года о нем ничего не было слышно. В год, когда новый канал поделил Акдарью на две реки (одну, текущую, как ей и было положено, к морю, и другую, текущую в степь), рыбакам начала попадаться необыкновенная рыба. Она была на диво стандартна и потрясающе прожорлива. Наука, потерявшая в размытых озерах объект исследований, тотчас узнала в черном страшилище свою беглянку. Это и был знаменитый впоследствии гидроголов.

Где-то там, за кордоном, на скудных речных пастбищах Китая, он, может быть, и вкушал борщ из тины и жаркое из осоки, но в Акдарье, к несчастью, еще водилась рыба. Эмигрант принялся исправлять ошибку природы со всем пылом завзятого хунвэйбина. Он ел все подряд и всех подряд. Из реки за год исчезла почти вся рыбья молодь. Сазаний род, покачнувшийся и поредевший в беспощадной конкуренции за воду со всемогущим хлопком, на сей раз начисто проиграл схватку. Гидроголов повел борьбу за тотальное истребление сазана. Куда там было тягаться изнеженному акдарьинскому сибариту с зубастым маоистским последователем.

Развеялась как дым былая сазанья слава. По мрачным потаенным затонам да в глубине коряжистых ям еще держались чудом уцелевшие полупудовые счастливцы, не рискуя уже выскакивать на вольный речной простор для веселой сазаньей игры. От акульих клыков гидроголова их спасала только величина. Впрочем, истребив вокруг себя все, что только поддавалось истреблению, гидроголов переключился на каннибализм. Видимо, веселое это занятие больше соответствовало потребности его натуры, чем скучливое пережевывание травки.

Сазана почти не стало. Цены на него резко подскочили. Они почти уравнялись с ценами на мясо. За пятикилограммовую рыбину давали десятку. Дефицит немедленно вызвал повышенную потребность. Сазана начал есть тот, кто всю жизнь брезговал рыбой. Копченый персонаж Красной книги на праздничном столе стал необходимой приметой принадлежности едока к истеблишменту.

У Володьки заметно прибавилось работы.

8

Жизнь Сагина после получения им форменной фуражки сильно полегчала. Подколодный дружок рыбинспектор только скрежетал зубами при виде Володькиного служебного глиссера, но сделать ничего не мог (ворон ворону глаз не клюет, контора контору не кушает); пришлось делить Акдарью пополам.

А моторка у Сагина действительно завелась важнецкая. Когда списанный за негодностью с досаафовской базы катер приволокли на спасательный пост, Володька только тихо ахнул. Здоровенное алюминиевое корыто, верой и правдой служившее армейскому обществу доброе десятилетие, имело устрашающий вид. Оно было изношено до последнего предела. Половина заклепок выпала, борта усеяны вмятинами так, словно глиссер густо обстреляли из крупнокалиберного пулемета, ветровое стекло отсутствовало, банки выдраны с мясом, подвесной «Вихорек» состоял из пробитого бензобака и ржавых кронштейнов крепления, все остальное было раскулачено.

Володька почесал в затылке: из этих ископаемых костей предстояло сложить живое существо. Он засучил рукава. Волка ноги кормят, а глиссеру назначалось стать новыми Володькиными ногами.

Через день катер перекочевал от причала на местный ремзавод. Директора Сагин повязал под будущие рыбалки, начальнику основного цеха выдал небольшой аванс, слесарям обеспечил бесперебойную поставку фирменного горючего, отпускаемого в пол-литровых емкостях.

Задуманный призовой рысак должен был обрести надежное сердце. Володька метнулся к дружкам, в таксопарк. Списанный двигатель «Волги» был перебран до последнего винта и укомплектован новейшими (в заводской смазке) деталями. Копейка не ушла зазря — таксопарковский умелец срезал головку блока цилиндров на энное количество миллиметров, чем резко повысил компрессию — мотор обрел дополнительные мускулы.

— На таком движке тебя и посуху никто не догонит! — весело подмигнул Володьке моторист.

Володька подмигнул ему в ответ:

— Об том и задумка была!

Мотористу подмигивания обошлись в три недели урочной и сверхурочной работы, Сагину в пятьсот целковых. Стороны остались довольны друг другом. Двигатель уехал на ремзавод и разместился в носу спасательного катера. Кардан прошел под деревянными трапами настила и нырнул в алюминиевое днище.

Особую озабоченность Володьки вызвал винт. Тягач был хорош, только не имел никакого права уступать тягачу. Магазинный винт Володька повертел в руках и бросил.

— Не то, — выговорил он задумчиво. — Тут требуется иное.

Благодаря богу, на ремзаводе имелась и своя литейка. Сагин пошел на поклон к горячим духам. Самым трудным оказалось объяснить: чего же он все-таки хочет? Выяснилось, что Сагин сам не вполне себе это представлял. Однако поднаторевшие в огненной работе ребята в замурзанных спецовках шутя разгрызли хитрый орешек.

Десять латунных отливок, доведенных до зеркального блеска на наждаке и пескоструйном автомате, покорили Володькино сердце. Двухлопастные, ярко-желтые, скоростные вдвое против стандартных, они как нельзя лучше соответствовали Володькиным мечтаниям.

— Самое оно! — зачарованно выдохнул Сагин, глядя на сверкающий металл.

Правда, пришлось-таки повозиться с установкой. Килевой уступ проходил выше кардана, и ножевые лопасти винта угрожающе высовывались за отсекатель.

— Будешь бить лопастя на мелкой воде, — предупредил Сагина мастер. — И ограждение ставить толку нет, — все равно катер его сомнет своим весом, ежели на перекат выскочишь; да еще, гляди, и днище порвет.

— Черт с ним, с ограждением, — махнул рукой Володька. — Лишь бы винт пер, как надо. А побьется, так не велика беда. Есть чем заменить.

— Переть будет, — согласился мастер. — Вона какой пропеллер размахал. Гляди, не полети!

Володька расхохотался.

Теперь, пролетая мимо тихоходной рыбоохраны на сверкающем алюминиевом рысаке, Володька независимо прикладывал два пальца к козырьку форменной фуражки, инспектор с ласковой ненавистью кивал в ответ.

Близок локоток, да не укусишь,— усмехался Володька.

Конь о четырех ногах, а спотыкается. Спотыкнешься и ты,— молча провожал его глазами рыбнадзор.

Дом Сагин достроил. Купил югославский столовый гарнитур, финский спальный (Люська неделю не выпускала его из кровати — все благодарила), наконец, появился у Сагина и свой «Жигуленок».

Чаша его жизни, казалось, начала переливаться через край.

9

Сытость преобразила Сагина. Походка его стала замедленной, явно просматривался яйцевидный животик. И все же вещей оказалась зоновская наколка на Володькином предплечье — память его ошибочных первоначальных к фарту шагов. «Нет в жизни счастья»,— утверждала синяя строчка, мудрость зарешеченного бытия.

Счастье в жизни действительно было неполным, как бы несколько культяпым. Володька обнаружил, что его никто не уважает. Приятельские улыбочки закадычных кентов и компаньонов по рыбе в зачет не шли. Володька нисколько не обманывался их показушной приязнью. Каждый пойманный Сагиным сазан оборачивался недочетом «красненькой» в их кармане. Фарта перестало доставать на всех, и любая случайная ночная встреча на одной из уловистых акдарьинских ям легко могла окраситься кровью. Нет, в почтенье дружков Володька не верил, да и держался от коллег на некотором расстоянии. Но вот вчерашние одноклассники? Те-то чего? Ведь из них тоже никто, почитай, не вышел в большие люди. Петро слесарил, Костя крутил баранку МАЗа, Алик подшивал какие-то бумажки в конторе. Кажется, могли бы относиться с уважением к Володьке. А ведь даже здоровались нехотя, сквозь зубы, явно гребуя удачливым одноклассником. Слесаришка и тот нос воротил. Это было даже и не сказать до чего обидно.

— Завидуют! — фыркала Люська.— Где им до тебя достичь? Так всю жизнь на одной зарплате и прокукуют.

Володька поводил плечом. Что-то было в его жизни не так; какие-то концы с концами не вязались. Он заскучал.

Ну сазаны, ну дом, ну машина. Хорошо, конечно! Хорошо! Деньги есть? Есть. Должность? Есть. Форма есть? Есть. Все есть. Где почет? Раз все есть, так должен быть и почет! Ведь с неба ничего в карман Сагину не свалилось, всего он достиг сам. Так где же все-таки почет?

Почета не было ни капли. Может, дело заключалось в том, что должность мала?

Володька задумался второй раз в жизни. Как быть? Конечно, лезть в большие начальники было самое распоследнее по глупости дело. И причина тут заключалась не в отсутствии способностей. Ума у Володьки хватило бы на трех начальников плюс полдюжины заместителей. Но кидать на ветер, уступать неизвестно кому такое денежное место, каким он владел,— это надо было совсем рехнуться. Ни одна должность на свете не сулила Володьке таких заработков, хотя бы и министерская. Кроме того, лезть на вид с прорехой в биографии? Случись где зарапортоваться, и сомнительное прошлое разом припомнят. Карабкаться в гору с ядром на ноге? Спаси нас грешных и сохрани.

Впереди слабо брезжил иной путь. Для почета вовсе не обязательно самому ходить в тузах, вполне достаточно попасть с большими людьми в приятельство, стать на короткую ногу. А там кому какое дело, что у тебя за чин, коли посреди улицы, на виду у всех с тобой за руку здоровается один из хозяев города?! Стало быть, заслужил, раз не брезгуют! Тут и любому прохожему-проезжему станет ясно, что Володька человек не простой. Вот он и почет — наше вам. Только как же добиться?

Сагин поразмыслил, поразмыслил и хлопнул себя ладонью по начавшему зарастать мясом загривку:

— Эх, конь! И всего делов-то!

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и Люська кой-чего нашептала. Вот баба, так баба! Ни снизу бог не обидел, ни сверху. Без нее, что без рук.

Володька загрузил в багажник «Жигуленка» десяток копченых сазанов, зарядил валютой бумажник и с рассветным солнцем маханул в область. Там, в двухстах, благодаря богу, километрах от Акдарьи, обреталось его непосредственное начальство. Дистанция, отделявшая место Володькиной службы от оперативного руководства, благоприятствовала службе.

Из областной столицы Володька, благоухая ароматами шашлыков и коньяка, вернулся поздно ночью. В его внутреннем кармане, аккуратно сложенная вчетверо, покоилась бумага со служебным номером и печатью. Областной совет Общества спасания на водах обращался в соответствующие инстанции с просьбой о выделении скромного куска бросовой земли на берегу Акдарьи на предмет устройства не просто поста, как было прежде, а стационарного участка ОСВОДа с соответствующим помещением и инвентарем. ОСВОД обязывался всячески благоустроить выделяемую территорию и украсить ее наглядной агитацией.

Рядом с письмом лежала выписка из приказа, назначающего Володьку начальником вновь образованного стационарного участка ОСВОДа с твердым окладом в девяносто целковых. Штаты приказ туманно обещал утвердить дополнительно.

Как появилась указанная выписка и во что она Володьке обошлась — тс-с-с, молчок! Никому ни гу-гу. Ни-ни!

10

Через два месяца после исторического события на берегу Акдарьи на месте невидной, старой будочки красовался полусарай, полудворец под сверкающей цинковой крышей.

Кусок большущего песчаного мыса, отведенного местной властью под спасание утопающих, был огорожен высоким сетчатым забором.

Володька отпустил бачки. Солидность его нарастала с каждым днем. Забор стоил-таки денег. За каждый погонный метр металлических стоек было плачено, каждый квадрат сетки отдарили своими короткими жизнями акдарьинские сазаны.

Финский сборный коттедж на две семьи приехал в Байабад из области. Володька не пожалел затрат на угощение снабженцев. Замначальника областного управления неделю гудел с Володькой в лежку, и предмет зависти многих — роскошный каркасный дом из страны Суоми, вот уже четыре года без движения лежавший на осводовском складе по причине жарких споров, кому им владеть, благополучно прибыл на двух МАЗах-шаландах на Байабадский участок. Мазовские колеса тоже всухую не крутились, пришлось смазать и колеса.

Монтаж занял две недели. Володька со страстью вошел во вкус начальственной жизни. До чего же сладко показалось Сагину строго покрикивать на рабочих, бетонирующих фундамент под его будущую контору. Ой, мама родная, и вкусна же власть!

Отравившись первой ее каплей, Володька осатанел. Отработают и уйдут. Потом что? Какой же он к чертям собачьим начальник, если некому дать хорошего оттягу для расчистки мозгов? Где подчиненные? Может ли начальник существовать без исполнителей его указаний?

Пришлось снова ехать в область. На сей раз отделаться коньяком и копченкой не удалось. Вопрос решался так туго, что Володька даже похудел. Собственно, похудел не столько Сагин, сколько его бумажник,— сам же Володька скорее съежился от невиданных запросов и притязаний.

Столица,— с тоской вздыхал он, возвращаясь домой.— Даром никто и чихнуть не хочет. Думают, у нас тут деньги с неба сыплются.

Однако дело было сделано. Штаты утвердили. Под Володькино начало поступали матрос-спасатель второго класса и инструктор по технике спасания.

Несмотря на жуткий прокол в бумажнике, Сагин был доволен, жизнь выстраивалась вдоль линии, которую он наметил. Что же касалось финансовых потерь, то за них должен был ответить крутобокий акдарьинский абориген.

Инструктора по спасанию Володька наметил сразу. Сашка-шурьяк, верный компаньон его ночных сазаньих подвигов, магистр бредня и кандидат плавных сетей, как нельзя лучше подходил для новых Володькиных задумок. Мужик был свой в доску, надежно проверенный темными ночушками на бездонных акдарьинских ямах, второй год задействованный и на добычу, и на продажу рыбы. Двух мнений тут быть не могло — никакого чужака Володька на километр не подпустил бы к причалу своей новой конторы, Сашка вписывался в кресло инструктора как влитой.

Сложнее было с матросом-спасателем. Володька несколько ревновал к своей прежней должности. Его мучило сомнение: а найдется ли кандидат, вполне достойный бродить по старым сагинским следам? Все ж таки пять лет провел Сагин в полосатой робе матроса-спасателя — кус жизни, и хороший кус. Неприятно было бы увидеть на обжитом месте лицо недостойное. Вопрос этот пока оставался открытым.

Пылающие яркими красками щиты наглядной агитации вторым, помимо сетчатого, забором опоясали Володькину усадебку. Опять пришлось раскошелиться. Володька никогда не мог бы вообразить, что люди искусства окажутся такими ухарями и живорезами. Однако, изъездив весь город и перетолковав со всеми городскими оформителями, Володька с огорчением убедился, что они хорошо знают цену копейке. Кроме того, сговорились, что ли, мастера кистей и красок, назначаемые ими гонорары совпадали в пределах десятки. Такая обнаженная меркантильность творческих работников неприятно поразила и огорчила Володьку. Ничего святого уже не остается на этом свете! — досадовал он.

Но планы Сагина были слишком обширны, чтобы пожертвовать хоть чем-нибудь для экономии лишней полсотни. Пришлось понатужиться и заплатить. Кроме того, на местном верху, там, где решался вопрос о выделении земли, обещанная наглядная агитация и решила вопрос в Володькину пользу, так что отступать было некуда. Может быть, все Володькино будущее зиждилось на спасательных акварелях. Упускать было невозможно. Да и помимо прочего, цветистые щиты создадут непроницаемый заслон вокруг Володькиного поместья, а одно это уже с лихвой покрывало все затраты на искусство.

— Эх, где наша не пропадала, — махнул рукой Володька, открывая многострадальный бумажник, — малюй в полный рост!

Через месяц Сагин красными, белыми и синими красками громогласно оповещал весь белый свет о взятых на себя широчайших задачах и ответственнейших обязанностях и во весь голос грозился не только выполнить, но и на огромный процент перевыполнить труднейшее дело спасания утопающих.

11

Время побежало как бешеное. Малиновым цветом расцвела Володькина жизнь на унавоженном поле родного ОСВОДа. Правда, навоза потребовалось немало.

Большие люди оказались не такими уж недоступными, какими выглядели в строгой тишине своих кабинетов. Нет, на природе, в узком, интимном кругу многие из них оказывались свойскими ребятами. Ну а те, что не оказывались, те и знать не знали о Володькиной веселой конторе.

Сначала Сагин несколько робел участвовать в их разговорах, опасаясь осрамиться малой своей ученостью (все казалось ему, что предметы внимания больших начальников должны быть самые важные, шибко умственные, никак не доступные его простецкому разумению), но, маленько поприслушавшись, Володька облегченно вздохнул и повеселел. Разговоры вальяжных сановников оказались на деле самые простые. Речь шла больше о бабах, выпивках да гулянках. Ну, иногда возникали и стычки в спорах, кто, кого и когда больше надул.

Самая это и была Володькина тематика. Плавал Сагин в ней, как годовалый сазан в акдарьинском мелководье. Скоро он с тайной радостью заметил, что его не отшибают от общего трепа, как это частенько случалось прежде, когда Володька больше молчал и только редко-редко осмеливался вставить пустяковое замечание.

Нет, теперь к нему прислушивались и особенно внимали, когда Володька, входя в раж, повествовал о своих многочисленных победах над слабым полом. И чем больше он входил в подробности, тем внимательней становились слушатели. Глаза собеседников начинали сладко маслиться, лица багроветь, а Володька знай разливается курским соловьем, выкладывая нужным людям мельчайшие нюансы своей изощренной сексуальной техники.

Нынче к вечеру он ожидал больших гостей. Подошла суббота, а каждую субботу Сагин принимал высоких доброхотов по всем писаным и неписаным законам восточного гостеприимства. Влетало, конечно, в копеечку. Ну да куда денешься? Без постоянных раутов на природе никак было не выжить сагинскому благополучию.

Шурьяк был отряжен в город за коньяком и копченой колбасой (благо на мясокомбинате хорошо знали, с кем хороводится Володька). Белую Сагин и за влагу-то не считал.

Сашка был парень простой, и поэтому пришлось его досконально проин-струк-ти-ровать! Страшный вкус развился у Сагина к разным начальственным терминам.

— Никаких местных помоев не брать! — разъяснял Володька. — Грузинской чачи тоже, а добыть хоть из-под земли пятизвездочный армянский.

Сашка, удивляясь, пожал худыми плечами. На простецкий шурьяков вкус все эти коньяки-шмоньяки только на то и годились, чтоб клопов морить. То ли дело родимая, долголетним непрерывным злоупотреблением проверенная беленькая! Но начальство, понятное дело, выкобенивалось. Вечно для ихних тонких ноздрей то не годится, что всем годится. Шурьяк неодобрительно покачал крохотной птичьей головкой и густо сплюнул на пол Володькиного кабинета.

— Тебе виднее.

Володька побагровел и зашипел, как разозленный варан:

— А ну вытри!

Шурьяк не понял.

— Чего это? — он недоуменно уставился на пол.

— А ну вытри! — удушливо посинел Володька, приподнимаясь из кресла.

Сашка все не понимал. Он обрыскал глазами блестящий пол и поднял на Володьку незамутненные глаза.

— Чего это ты?

Володька обессиленно бухнулся в кресло и выдохнул так, словно из него разом вышел весь воздух.

— Давай поезжай.

Шурьяк вздернул плечи, удивляясь загадкам Володькиного поведения, и пошел к выходу.

— Да сам-то, сам чтоб как стеклышко! — закричал в Сашкину чугунную спину начальник спасательной станции.

Володька посидел минуту-другую, скорбно поджав губы. «Берешь к себе на корма, держишь рядом, жить даешь своему вроде человечку, — с обидой подумал он, — а она, вон она, доброта, против тебя же и оборачивается. Давно ли шурьяк стрелял гривенники у пивных да браконьерил на реке по мелочам? Да и браконьерил-то не от себя, а от хозяина, чужой снастью и техникой. И сейчас, поднятый из самой черной грязи, получивший из рук Сагина полосатую тельняшку и форменную фуражку с крабом, встав тем самым в ряды солидных, добропорядочных людей, — чем он отвечал на неслыханную доброту своего благодетеля? Какими такими услугами и одолжениями? — Володька аж застонал от несправедливости. — Даже нет чтоб хоть на «вы»; нет чтоб по имени, отчеству или там хоть товарищ начальник (ну ладно, конечно, не по ночам, не под мокрыми мешками с рыбой), но на людях-то, на виду-то! Уж мог бы, кажется, сообразить, что негоже, когда начальника спасательной станции целого района свой же подчиненный, какой-то там невидный инструктор по технике спасания хлопает по плечу и громогласно кличет «Осводом»! Ну ведь негоже это! Выгоню к чертовой матери, если и дальше будет так фамильярничать! — внезапно вызверясь против шурьяка, решил Володька. — И не посмотрю, что родня. Чужой-то, — оно, выходит, лучше своего».

— Здравия желаю, Владимир Васильевич,— сладко прижмурясь, прошептал Володька свое соответственное должности величанье.

— Здравствуйте, товарищ матрос-спасатель второго класса!

Получилось хорошо.

— И-и-и-эх-х! — вздохнул Володька.— Трудов-то, трудов-то еще, пока поймут.

С утра Сагин смотался на «Жигуленке» в предгорья к знакомым чабанам и привез от них жалобно блеющего барашка. Гости ожидались к вечеру. Чтобы плов доспел к сроку, надо было начинать готовку не позже как с обеда. Рыбное все было свое. Тут беспокойства не ожидалось,— и сомятинка, и сазаны, и лещи, и мелкий рыбий сор вроде плотвы (на закладку в двойную уху) еще со вчера дожидались гостей.

К половине пятого огонь под трехведерным казаном загасили. Плов начал запариваться. От ухи тянуло умопомрачающим запахом. Володька начал томиться.

В четверть шестого подошла запыленная белая «Волга». Из двери не спеша вылез высокий, вальяжный человек. Благообразное лицо его было брюзгливо нахмурено, крупный, висячий нос словно принюхивался. Это был заместитель начальника управления.

Сагин мелким бесом подсыпался к благодетелю. Разминая толстые ноги, тот прошелся по конторскому двору. Володька подобострастно поддерживал под локоток учителя жизни.

Заместитель начальника повел агатовым глазом по щитам с бодрыми спасательными призывами и довольно покивал Володьке.

— Вижу, вижу. Молодец. Умен оказался. Растешь. Не ошиблись, как видно, мы в тебе.

Сагин расцвел, как пион. Круглая физиономия его маслено залоснилась от начальнической ласки.

— Стараемся,— браво подхватил он.— В этом квартале по спасенным утопленникам идем с перевыполнением!

Заместитель начальника усмехнулся: — И откуда ты их только берешь, спасенных-то этих? Сам, что ли, топишь? — Он толкнул Сагина локтем под бок. Володька игриво хихикнул.

— Выходим из положения. Каких, конечно, и сами. План дело святое.

Володька утопил и спас в бумажной воде всех своих близких и далеких знакомых и начал уже оприходовать их по второму разу; так что с планом все обстояло действительно в порядке.

— Ну, старайся, старайся. Смотри только не перестарайся.— Построжев лицо, он повернулся к Сагину.— Еще кто у тебя сегодня ожидается?

Володька, прикрыв ладошкой губы, потянулся к начальникову уху и тихо шепнул словечко.

— А-а-а,— оживился тот.— Одобряю, одобряю. Я же говорил, умен. Молодец.

Явно довольный сообщением, он прошел вперед.

— Ну, где тут у тебя чего?

Володька резво забежал сбоку.

— Сюда, сюда проходите.

В небольшом береговом затончике позади пирса был устроен над водой высокий помост. Четыре мощных двутавра вороненой стали на два метра уходили в галечник акдарьинского берега. По колоннам шла обвязка, на ней и располагался обширный, человек на двадцать, деревянный помост с решетчатым ограждением. Володька не зря гонял на берег бульдозер и буровую установку,— место заслуженного отдыха было сработано на века. Поверх черного пола помост был обшит доской-вагонкой.

Заместитель начальника снова усмехнулся. Вагонку он узнал. Поверх дерева лежали верблюжьи ковры. По периметру дастархана многоцветным радужным поясом бежали атласные курпачи. В центре стояло несколько расписных жостовских подносов с яблоками, виноградом, курагой и прочими дарами щедрой восточной земли. В сторонке виднелся отдельный поднос с лепешками.

Во двор вошла вторая «Волга». На машине не было и пылинки. Володька со всех ног кинулся к ней. Прижав ладонь к груди и согнувшись в низком полупоклоне, он отворил белую дверцу.

12

Гуляли долго. Съедены были и плов, и уха, и уже по ходу дела сготовили и умяли домламу, а конца веселью все не предвиделось. До одиннадцати насыщались, и пили, и прели. После одиннадцати у большого человека загорелся специфический аппетит. Сыто рыгнув в Володькину сторону, он поднял осоловелые глаза и поманил начальника спасательной станции.

— Разговор есть.

Володька на коленках пополз среди развала тарелок, чайников, обглоданных костей и пустых бутылок. Большой человек, полуобняв Сагина за плечи, навалился на Володьку огромным своим животом.

— Мамашку надо, Володька,— сказал он, обдавая Сагина сытыми запахами бараньего жира и коньяка.

Володька спопьяна не сразу ухватил, о чем ему толкуют.

— А, а? — бестолково переспросил он.— Чью мамашку?

Большой человек досадливо сморщился.

— Маруську, Маруську давай! Белый мясо кушать будем!

Сбоку придвинулся областной босс.

— Да,— промурлыкал он.— Самое оно. Как раз ко времени. Только ты гляди, Сагин,— босс погрозил Володьке пухлым пальцем с намертво впившейся в мясо золотой печаткой,— чтоб все чистенько было. А то как бы не заловить чего.

Тут до Володьки доехало.

— Вон оно что. Так бы и сказали. А то мамашку, малашку, сразу и не разберешь.

Гостям требовался десерт. Володька, по лени и сытости, попытался было отделаться.

— Поздно уже, где сейчас добудешь? Раньше надо было заказывать.

Но глазки у большого человека совсем уже утонули в сальных припухлостях щек.

— Э-э-э, Володька, такой пустяк, что тебе стоит? — польстил он.— Сам же говорил.— Он подтолкнул Сагина.— Давай время не тяни. Обычай знаешь? Гостей не обижай.

Володька вздохнул и поднялся с айвана. Он досадливо глянул на часы. Половина двенадцатого. Нет, в самом деле, куда на ночь глядя толкнуться?

Сагин мигнул шурьяку. Тот пьяный-пьяный, а мигом прибыл. Володька подобрел. Вот она, правильная выучка — уже сказывалось. Сагин бросил родственнику связку ключей. Пьяный шурьяк поймал ее на лету.

— Бери тачку,— строго приказал Володька,— кати к ресторану. Там сейчас как раз закрывать будут. Может, какие крысы свободные остались, с ходу цепляй их и волоки сюда.

— А если голяк? — прищурился многоопытный по этим делам Сашка.— Тогда что?

— Тогда цапани пару официанток,— досадливо разъяснил Володька.— Скажешь, мол, Володя-Освод зовет и отвечает. Мол, жирные фазаны есть, девочки в обиде не останутся.

— Так кого-кого из них забрать? — ненужно допытывался родственник.

Володька осатанел.

— Ты что, первый раз замужем? — спросил он ядовито.— Или все на свете позабыл? Или, может, сам никогда этим добром не пользовался?

Шурьяк обиженно заколыхался.

— Братан, ну ты даешь. Братан, я же этого, женатый человек, я, считай, ни-ни... И ноги моей там не было...

Володька едва не откусил язык от шурьякова нахальства. Несколько мгновений он молчал, не находя для ответа подходящих по силе выражений, потом хрипло засмеялся:

— Ну ты захорошел, Сашок. Ну ты перебрал.

Шурьяк продолжал раскачиваться, но теперь уже молча. Похоже было, что он спал.

— Вспомни-кась на той неделе,— разбудил его Володька,— забыл, с кем ты на этом самом месте картину из музея изображал?

— Картину?.. Ах, картину,— вроде бы вспомнил шурьяк.

Володька пихнул его к машине.

— Кати давай, пока там все не разбежались. В случае чего Катю возьмешь, завзала, ну и эту, новенькую, Нельку.

— Это беленькую?— пьяно заулыбался Сашка.

— Во, во!— хохотнул ему вслед Володька.— Вспомнил наконец. Это тебе не Ивана Грозного с сыном в голом виде представлять!

Беленькая Нелька была новая официантка из городского ресторана, приехавшая в город пару месяцев назад. Высокая, пышная, щеки— кровь с молоком, обесцвеченные пергидролем волосы вздымались впереди конской челкой, а сзади доходили до пояса. Очень пришлась Нелька ко двору в захудалой провинциальной глуши.

Володька слабо надеялся, что, может, она сегодня не занята; хотя надеяться на это было трудно. Клев на Нельку стоял самый гидроголовый. Официантка обалдела от сумасшедше посыпавшихся на нее денег. Там, в столице, цена ей была трешка в хороший базарный день, здесь, на отшибе от легкодоступных соблазнов больших городов, на Нелькины бело-розовые прелести нашлась тьма охотников.

Особенно ошалели от столичной штучки районные тузы. Первый месяц ее работы в ресторане и был месяцем самого крупного взятка. Она занялась председателями глубинных колхозов и райпотребсоюзовскими чинушами. Прибыв в Байабад голая и босая, с фибровым жалким чемоданишком на сиротские харчи к сестре, работавшей судомойкой в «Зеравшане», Нелька через месяц оделась, как заграничная кинозвезда, и увешалась золотыми побрякушками с головы до пят. Если бы перстни можно было носить на пальцах ног, они появились бы у Нельки и на ногах. Но сейчас шел к исходу третий месяц ее службы при ресторане. Первый аппетит был удовлетворен, и богатая клиентура заметно охладела к ее перегибистой фигуре. Кроме того, Нелька, ошалев от спроса, уверовала в нескончаемость сумасшедшего кобеляжьего жора и задорожилась. Если распорядителям тысячами десятин пахотной земли никакая цена не казалась высокой, то их замам новая Нелькина расценка была уже не по карману. Даже сугубо сторонний человек, Володька тихо матерился сквозь зубы. Подумать только, как легко доставались этой крысе дурные денежки. Нельке в самом прямом смысле слова и с кровати-то не надо было подыматься, да еще небось когда-когда и «кайф» ловит на столь прибыльном занятии!— бесился Сагин. Правда, тут он делал маленькую поправку. Какой там может быть «кайф» от пузатеньких, залитых салом коротышек, которыми, как на подбор, были укомплектованы начальственные сливки района? Все равно, разве можно сравнить легкий Нелькин труд с тяжелым Володькиным?

...Самая середина— хоть глаз выколи— ночной теми, порывистый, холодный ветер над водой, сердитая волна, бьющая в вибрирующую скулу глиссера; тяжеленные, мокрые сети; бешено извивающиеся в руках, скользкие сильные рыбины; пляшущий под ногами решетчатый пол— того и гляди сыграешь за борт, а там и двинет по темечку навернувшимся килем, и поминай как звали Владимира Васильевича и его многотрудную жизнишку.

И все время по сторонам, по сторонам только и зыркай, только и поглядывай, только и послушивай — не застучит ли где (вроде бы за островом, а кажется, что возле задыхающегося от нервной трясучки сердца) прерывистый кашель рыбнадзоровского катера, не вспыхнет ли посреди туманной, ночной воды кинжальный зрачок прожектора, нацеленного в самую середину Володькиного страха!

А дальше? А дальше не лучше. Свинцовые мешки с рыбой; задыхаясь, грузит их Володька в кузов бортового «ЗИЛка», с кряхтением переваливая через высоченный борт. Шурьяк в стороне, у дороги, на шухере: где там обэхээсники,— спят ли, не спят ли? И настороженные Володькины уши только и ждут длинного заливистого свиста— сигнала смертельной опасности.

Ну, а в дороге? Каждая встречная фара режет серпом по мошонке— иначе, ей-богу, не скажешь,— такой нечеловеческий страх подымается к горлу от самого низа захолодевшего живота. Да что там фара?— каждая низкая звезда кажется лучом милицейского мотоцикла: ну вот и нарвались, ну вот и приехали! Покуда доберешься до места, весь изойдешь липкой, соленой слюной. Рубашку к концу дороги хоть выжимай. А результат всех этих жутких трудов и страхов?

Володька сплюнул с горечью. Хорошо, если сотни три за ночь очистится. Это дай бог, это еще спасибо судьбе за богатый подарок, а то ведь по пути уходит больше, чем приходит. И тому дай, и этому дай, и подмажь, и поделись,— и каждый встречный-поперечный сует прямиком в Володькин карман загребущую лапу. Чего, мол, там, ты еще сколько хочешь добудешь. Сазана в Акдарье невидимо, немеряно, весь твой, на сто лет хватит, и еще детям достанется! А что останется? То и останется, что Володька сегодня, сейчас возьмет. И вот именно с этого, с кровного, тяжелым трудом и риском заработанного, все и норовят снять жирные пенки.

Да разве можно сравнить Володькины заработки с лотерейными удачами какой-то там рыжей стервы?! И никакой рыбнадзор, и никакое ГАИ, и никакой ОБХСС к ней сроду не прискребется— откуда, мол, чего взято и на какие шиши куплено? Где там. Коснись чего, она сама с них при случае слупит. А что?— те же мужики, из того же мяса сделанные, где им устоять? Да если еще и на дармовщинку, так за уши не отдерешь!

Володька хмыкнул. Он и сам недавно погорел с этой Нелькой. Закосевший был сильно, случайно набрел на подлючку, ну и не удержалась возжаждавшая душа.

Володька сладко прижмурился. Куда там Люське до ней. Против Нельки жена чистая колода. С Нелькой на постельке понежиться все одно, что в раю побывать. Не зря «бабки» берет.

Хорошо, что был при себе тогда у Володьки только четвертак. После Нельки денег, известное дело, и на трамвай не остается. Уж и грызла его потом рыжая крыса, уж и допекала, все никак не верила, что приволок ее Володька в свою осводовскую берлогу на всю ночь, имея в кармане такую малость. Уж и злилась она. Правда, Володька отдарился утром копченкой, упаковал пяток янтарных, прозрачных от жира сазанов. Это ведь, считай, по червонцу штука, вот оно полсотни и тянет, но Нелька все осталась недовольна, привыкла, проклятущая, к живым деньгам, так что уже ни во что не ставила никакие замены.

Володька усмехнулся. Ничего, возьмешь и рыбкой; там же, в своем кабаке, и пустите ее с Катькой-завзалом по четвертаку штука. Да нарезью оно еще и дороже потянет. Клиент дурак— после пол-литра и селедку за осетра сожрет!

...Во двор на сумасшедшей скорости влетела машина.

— Братан, все в порядке!— заорал шурьяк.— Мое слово— слово!

И Сашка засигналил на всю Акдарью.

— Принимай гостей!

Перебивая Сашкины крики, из машины послышался женский смех и повизгивание.

Гу-дим-м-мм! Бал-де-ем!

13

Нынешним летом Ивану Сергеевичу Никитину ударило двадцать три года.

На взгляд Ивана, возраст солидный. Уже всякое было за спиной. Вот, скажем, армия. Срочная служба. Со всеми вроде наравне лямку тянуть приходилось, а ушел с нее на гражданку Иван прапорщиком. И не куда-нибудь в вольную, цивильную жизнь, а на новую службу, почти на ту же военную— охранять от всяких ночных проходимцев народное добро в рыбохране.

Как служил на новом месте эти полтора года? Погоны скажут. В офицеры выйти за пятнадцать месяцев со средним образованием— это непро-

сто было. Сработали и сметка, и ум, и поворотливость, и многое еще. Жизнь надо было до последней крошечки на службу положить, а и это бы не помогло, не знай Иван одного заветного слова.

Слово то было главное в Ивановой жизни и звучало так: «ЗАКОН!» С самого первого дня своей солдатской службы, еще до присяги, трудно проходя густо подсоленный потом «курс молодого бойца», впитал Иван Сергеевич это удивительное, огромное слово. Оно потому оказалось близким Иванову сердцу, что не признавало никакой одинокой, отдельной от других жизни. Подчиняясь армейскому распорядку, ходило слово по жизни только строем. Со всех сторон его дружески подпирали другие, такой же неимоверной силищи слова.

Одно из них: «СОВЕСТЬ», стояло, почитай, вровень с «ЗАКОНОМ». Тут же рядом шагали и другие, например: «ТРУД», «ЧЕСТЬ», «ПОРЯДОК».

Слова подпирали друг друга, а уж их подпирал сам Иван. Вообще-то говоря, он ли их подпирал, или сам на них опирался, сказать трудно, а только срослись с Иваном слова эти так, что случись отдирать — то-то полилось бы кровушки.

А отдирать-таки пытались и не раз, и не два. И внахалку пробовали, и с подходцем. Чего-чего только не обещали. Не соглашался он. И каждый такой несогласный свой год за три согласных считал. Так и плюсовал Иван — год за три, год за три. Как на войне.

И продолжал он вести свою прямую линию бесповоротно. Не по закону поступаете. Не по совести. А стало быть, и ответ придется держать. А как слышал из тьмы угрюмое, огрызающееся ворчание, так добавлял для ясности:

— Вот, как в газете пишут, так и жить будем, так и поступать. Для нас писано — не для заграницы.

И отступали перед его наивной, бесстрашной верой в силу нагой правды и закона матерые, травленые звери, давным-давно поправшие и совесть, и правду, и закон. Не так просто оказывалось совладать с человеком, бесстрашно говорившим в лицо любому вору, что он вор!

Байабадский участок рыбоохраны считался в среде оберегателей природы не ахти какой находкой. От области далеко, и опять же места глухие, мало ли чего в тугаях случиться может? И потому, когда синим пламенем загорелся его старый начальник, больших покушений на освобождающуюся должность не возникло. В охранных верхах решено было поручить колючему молодому лейтенанту наводить свои порядки не в областном управлении, а на Акдарье.

Так попал молодой Иван в самую середину Володькиных, почитай что, владений.

Старый инспектор, сдавая дела, смотрел вбок и говорил сквозь зубы. Он-то, казалось, хорошо понимал, почему за него так взялись. Конечно, теплое местечко своему человеку понадобилось. Да еще сдавать должность новичок потребовал по бумаге.

А чего тут сдавать? Акдарья — вот она. Тугаи, те, которые не выгорели, на месте, ну, а которые выгорели, те, даст бог, снова вырастут. Сазаны все в воде и пересчету не поддаются, браконьеры... Ах, браконьеры. Ну это с полным нашим удовольствием.

Старый инспектор загорелся.

— Есть тут один такой, по прозвищу Володька-Освод; никому и ничему на реке неподвластный...

Как дело дошло до Володьки, костяной, поперечной затычиной сидевшего в горле старого инспектора, так и слова у него нашлись.

Молодой инспектор только неодобрительно покачал головой.

— Закон, — сказал он, — почему не соблюдаете?..

Старый молча показал глазами наверх.

— Заступники. Прикормил, как удочник сазанов.

Младший лейтенант только тверже поджал обветренные губы.

— Последнюю передовицу в «Правде» читали? — негромко спросил он.

Старый инспектор понимающе покивал головой. Не жилец, невольно подумалось ему, эка, куда его киdануло. От смерти «Правдой» не заслонишься, дзот из газеты не соорудишь. У жизни своя правда. С такими, как у этого, дитячьими глазами долго на свете не задержишься, не заживешься.

Старик ощутил неприятный укол в сердце. «Так вона зачем сюда прислали, — подумал он. — А я-то было осердился. Ну что ж — их власть. Значится, так и должно быть, а мое дело сторона».

— Такой, значит, вот здесь, посреди реки, чирей вырос, — осторожно намекнул старый инспектор.

Молодой инспектор посуровел.

— Выдавим. С него и начнем порядок на реке наводить. Пора.

Старый инспектор отвел в сторону загоревшиеся торжествующей радостью глаза. Этот щенок если уж вцепится в ляжку, так не отпустит!

Война была объявлена, хотя пока и в одностороннем порядке. Разговор произошел вечером, а уже следующим утром (обоим едва дотерпелось до восхода солнца) поехали знакомиться с противником.

14

Под утро, едва только начало чуть светать, Володьку подперла малая нужда. Взлохмаченный со сна, полупьяный, еще не пришедший в себя после вчерашнего разгула, он выбрался на берег и спустился к воде.

Молочно светился, колеблясь в предутренней дымке, дальний берег. Ночная роса обзеркалила доски пирса. Река спала.

Облегчившись и отзевавшись, Володька долго тер кулаками заспанные глаза. Матерь божия, ну и погудели вчера!

Начальство отбыло в третьем часу ночи. Девицы дрыхли без задних ног. Пускай передохну́т. Утром им предстоит еще кой-какая работенка.

Володька хотел было вернуться в контору досыпать, но внимание его привлек поплывший над водой дальний стук мотора. Сагин остановился и прислушался. Звук нарастал. Вот он стал слышен явственно, и опытное Володькино ухо уловило в ровном гуле лодочного двигателя знакомое покашливание. Сагин усмехнулся — лучший подколодный дружок рыбнадзор катил в своем корыте посреди дремлющей реки.

— Ишь, не спится гаду, — неприязненно удивился Володька. — И куда его черти понесли по воде в такую рань? Все добрые люди еще спят, одна эта гнилушка по реке разгуливает. — Сагин подождал еще немного. — Никак ко мне правит?

Точно, движок стучал все явственней. Через минуту-другую из парной пелены тумана вынырнула черная посудина. Посредине катера застыли недвижимо две смутные форменные фигуры. Моторка направилась к Володькиному пирсу. Сагин удивился. Чего это рыбнадзору вдруг понадобилось в его хозяйстве?

Вот уже третий год пошел, как инспектор и Сагин старались друг друга в упор не замечать. Сталкиваясь нос к носу на воде, они отворачивались и разъезжались, усиленно созерцая противоположные берега реки.

Володька насторожился.

Моторка мягко причалила к осводовскому пирсу. Набежала и ласково лизнула берег пологая волна. Две темные фигуры легко выбрались на широкий дощатый настил и направились к Сагину. Своего смертельного доброжелателя инспектора Володька узнал сразу (он, он, милый, и морда, всем светом недовольная, его. Ишь скосоротился, так и стрижет по сторонам волчьими глазами), второй был Володьке незнаком.

Отстав на шаг от старого инспектора, упруго печатал ногу светловолосый молодой парень невысокого росточка с лейтенантскими шевронами на голубых погонах. Володька, заглядевшись на его молодецкую выправку, тоже невольно подтянул сытый живот. Впрочем, он тут же опомнился. Нашел перед кем в струнку тянуться. Такие ли люди отсюдова два часа назад отбыли! Еще неизвестно, кто перед кем замереть должен.

Инспектора подошли к Сагину и одновременно взяли под козырек. У Володьки отвисла челюсть. Что за чудо?

Старый его недруг, весь искривившись и пожелтев, как лимон, отрапортовал, упершись в Володьку невидящими глазами:

— Вот, значит, гражданин Освод, по долгу службы представляю вам нового инспектора рыбоохраны Байабадского участка товарища Никитина.

Он теперь будет нести охрану браконьерства на реке и прилегающей местности.

Тут молодой инспектор дернул плечом и поправил старого:

— Охрану от браконьерства. От!..

Старый недоуменно повернулся к нему.

— Я и говорю. Прикорот делягам давать.— Он неловко потоптался на месте и добавил: — Чтоб, значит, порядок был. А то ведь чистый грабеж.

А выступивший вперед молодой лейтенант уж сам рапортовал Володьке, что зовут его Иваном Сергеевичем и что доверено ему государством важнейшее дело сохранения в целости и неприкосновенности двадцати пяти погонных километров великой азиатской реки.

Несколько ошалевший Володька наконец спохватился.

— Это за что ж мне такая честь? — ядовито спросил он. — Я вроде к вашим делам особого касания не имею. И как собираются защитники народного добра сберегать его от расхитителей, поврозь или вместе? — ехидно добавил Сагин, глянув в сторону старого инспектора. Тот чутко уловил издевку в Володькином вопросе.

— Сымают, сымают меня с должности, это ты правильно слыхал, — мрачно ответил он. — Стара, видно, кобыла стала, вся выносилась, пора и на живодерню. Только тебе с этого прок маленький. — И стирая веселую улыбку, заплескавшуюся в Володькиных глазах, с угрюмым напором продолжил, что, по его глубокому и давнему убеждению, первым и злейшим врагом Акдарьи является оборзевший от безнаказа Володька-Освод. — А врага, значит, надо знать в лицо, чтоб при случае не ошибиться, выцелить его, гадюку, в десятку! Вот потому и приехали, — злорадно закончил он.

Володька с ходу осек зарапортовавшегося доброжелателя.

— А не пойман, не вор! Такое слыхал? Языком молоть все горазды, но только говори, да не заговаривайся. Перед тобой не какой-нибудь бич, хухры-мухры, а начальник государственной спасательной службы. И за дурные слова да облыжные оговоры легко привлечь можно, по параллельной статье, — винтом ввернул Володька.

Новый инспектор, помаргивая белесыми ресницами, молча слушал пикировку старых знакомцев. И только под конец разговора, когда разгорячившийся от непросохшего хмеля Володька с легкой угрозой заявил, что на реке хозяин тот, кто и в городе хозяин, и что не мешало бы некоторым нешибко зубы показывать, чтоб не отлетели случаем вместе с головой, только тогда молчаливый молодой лейтенант уронил негромкое слово, горячим варом обжегшее разбежавшийся Володькин язык.

— Закон, — твердо выговаривая буквы, сказал он. — Закон во всей нашей стране хозяин, и на реке, и не на реке. — Лейтенант снова приложил пальцы к лакированному козырьку. — Приятно было познакомиться. Надеюсь, вы поняли, что закон нарушать нельзя. Не позволим. — Он легко повернулся на каблуках и так же четко, как и раньше, пошел, размеренно печатая шаг.

Володька проводил его насмешливым взглядом. Куга зеленая. Салага. Сазан-годовик. Уже такие молодые петушки начинают кукарекать. Сначала голос поставь, а потом и пой. Закон... Закон — тайга, товарищ младший генерал. Твой закон всю нынешнюю ночку на мои денежки гудел. Вот тебе и весь закон. Только пискни теперь кто на Сагина — вмиг рука с волосатой пятерней поднимет телефонную трубку и... Как бы тебе, молодой Иван, в самом скором времени не поехать охранять природные богатства в пустыню Каракум. Там ведь тоже, поди, есть что охранять, в песках-то этих. Володька рассмеялся. Старый инспектор схватил Сагина за тельняшку.

— Скалишься, Освод? — прошипел он в Володькино лицо. — А забыл, как в народе говорят, что, мол, хорошо тому смеяться, кто последним смеется?!

— Но, но. — Володька сбросил с тельняшки ухватистую ладонь. — Лапы-то прибери! Тебе сейчас свое горло беречь впору, а не чужое лапать. Руки у тебя нынче коротки. Понял?!

Инспектор из желтого стал зеленым.

— Думаешь, я не знаю, чего ты так осмелел? — сипло прошипел он. — Или не ведаю, с кем сегодня ночью гудел? Все знаю, все ведаю. Думаешь, шишек прикормил, припоил, девочек под их подстелил, и все? Твоя взяла? Ничего, на хитрую скважину ключ с винтом! Я с тобой не совладал, виноват, мой грех. Только не всегда тебе в меде купаться, времечко на дворе настало аховое, я горю, но и ты, Освод, придет день, запылаешь!

Он погрозил Володьке кривым дрожащим пальцем.

— Молодой Иван сквозь чист. К нему на кривой кобылке не подъедешь. Гляди, как бы теперь и пузатые дружки твои не закачались! Попомнишь тогда, как я тонул, а ты приплясывал. Жизнь, она длинная.

— Вали, вали отсюда, — нахмурился Володька. — До моих дел не твоя печаль теперь. Попел песенку и будет — долго тебя слушали, да больше не хотим. Прокурору допоешь...

Старый инспектор отвернулся и быстро пошел к моторке. На самом конце пирса он оглянулся на улыбающегося во весь рот Сагина и прокричал, как выплюнул:

— Еще поймешь, гад, как с законом шутки шутить!

Затарахтел мотор. Володька пожал плечами, молодецки сплюнул и пошел досыпать сны.

И только где-то на самом краю его умудренного жизнью сознания царапалось неясное предчувствие назревающих неприятных перемен. Слишком уж чистые и ясные глаза смотрели на него минуту назад из-под рыжеватых, выгоревших бровей.

А, ничего — успокоил он себя. — Обтешется. Акдарья и не таких от глупости отстирывала. — И все-таки, несмотря на все удовольствие, полученное от поражения давнего врага, Володька и впредь предпочел бы иметь дело именно с ним. С тем знаешь, как быть. А новый что? Молодой, горячий, как бы дров сглупа не наломал.

— Э-э-х, — вздохнул Володька. — Спа-а-ать хоцца!

15

Черєз два дня Сагин был взят с сетями на Киярской яме. Слава богу еще, что ни одного замета он сделать не успел. Обошлось в полстраха. Сети были конфискованы, составлен протокол, и Володька оштрафован на полсотни.

Неприятно, конечно, было Сагину, но он только усмехнулся: новая метла по-новому метет. Что ж тут поделаешь? Подождем, потерпим. И дождик не всегда мочит, и солнце не вечно печет. Сагин был уверен, что налеты молодого Ивана временные, только для нагона страха. Володька и сам точно так же бы шустрил, окажись на Ивановом месте. Ведь когда-то же он нажрется властью и поуспокоится. Тогда и потолкуем по душам.

Но соприкоснуться душами не удалось. Вскоре последовала еще одна ночная встреча с поличным, на яме. Теперь уже в Володькином глиссере лежал центнер свежедобытого сазана. Еще через пару дней Сагин попался опять.

Тем же утром на его участке был сделан обыск. У Володьки конфисковали восемнадцать сетей и четыре больших бредня. Откуда взялась такая железная уверенность в полной недоступности для «оперов» конторского склада — бог весть, а только пострадал Сагин крепко. Всего только и осталось у Володьки из снастей, что два бредня и четыре сети, находившиеся дома.

ОБХСС завел дело на Сагина. Все необходимые для этого материалы были представлены инспектором рыбнадзора Никитиным.

Что творилось в душе Володьки в этот страшный месяц, когда молодой Иван недрогнувшей рукой рушил многолетнее Володькино благополучие и тюрьма вновь стала ходить за Сагиным по пятам, он никому не сказал. Тут и Люська не могла ничего путного ему присоветовать. Акдарья словно превратилась в минированное поле, в собственном своем, считай, огороде приходилось ступать с опасением и оглядкой.

Только к концу месяца увидел насмерть перепуганный, шедший «подельником» Сашка, как наконец очистились от пепельной мути крохотные

Володькины глаза и чуточку распрямилась погнувшаяся в милицейских коридорах спина.

Расследование было временно приостановлено. У Володьки и Сашки взяли подписку о невыезде за родные пределы. Велено было также представить следствию совершенно неопровержимые характеристики и ходатайство коллектива об отдаче провинившихся на поруки.

Володька перевел дух.

Первую и самую горячую вспышку огня Володька притушил сам, никуда за подмогой не толкался. Он чувствовал больше подложечкой, чем умом, что время тех толчков еще не подошло.

Слава богу, нашелся окольный ход и в тот неприметный кабинет, из которого Сагина легко могли в одну прекрасную минуту вывести в наручниках.

— Вот видишь,—возбужденно нашептывала Володьке в ночной тишине обрадованная жена,—все люди, все берут. Что ж ты с самим инспектором поладить никак не можешь? Или что другое меж вами завелось, или ты скрываешь от меня чего?

Сагин только отмахнулся от жены.

— Да чего там скрывать? Было бы чего, так уж давно бы сказал!

— Так в чем же дело?—не отставала Люська.

— Понимаешь, честный он мужик, потому и не берет,—с трудом выговорил Володька чудовищные для него слова.

Люська зашипела, как плевок на горячей сковородке.

— Да ты уж совсем рехнулся с перепугу, милый муженек,—выпалила она с сердцем.—Право слово, рехнулся. Да где это и когда было видано такое, чтоб начальнику давали, а он бы не брал?! Че-е-естный...—с невыразимым презрением протянула она.—Да он кто есть, министр, что ли, какой, чтоб честным-то быть? Или у него уже сто тысяч лежат в загашнике, что так загордился? Невелика птица, не ей под облаками летать. На его ли зарплате честным быть? И почище его люди копейкой не брезгуют. Тоже мне, корчит из себя девочку. Вот выбьется в большие люди, вот оперится, тогда пусть и представляется. Честный...

— В общем, много толковать нечего,—строго приказала Люська мужу.—Чтоб немедля купил ты его со всеми потрохами! Сколько спросит, столько и дай. Он цену набивает, придуривается, а ты и поверил. Эх, простота. Сейчас же поутру иди и дай в лапу не жалея. Ничего, мы еще свое наверстаем, лишь бы отвязался.

Володька в отчаянии ударил кулаком по волглой подушке.

— Я ли не сулил?!. И слушать не хочет.

— Вот, вот,—торжествующе ухватилась Люська.—Сулил. Соловья баснями не кормят. Ты ему деньги, денежки покажи. Чтоб он своими глазами увидел. В жизни не устоит! А то сулил...

Володька подумал, подумал да так и сделал. А что еще оставалось?

Лейтенант деньги взял. А через полчаса летевшего на крыльях Володьку сцапали прямо на улице. Хорошо еще, что свидетелей не нашлось. Сагин от всего отперся и на том закаменел. Следствием отважного его поступка явилось дополнительное обвинение в новых преступных деяниях, правда, уже по другой статье УК. Попытка подкупа должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Плюс три.

Володька едва не поседел. И деньги зазря пропали. Сагин наотрез отказался от них, и «косуха» как-то незаметно растворилась в коридорах власти, так и не дойдя до государственной кассы, и весь толк из дела вышел противоположный тому, какой планировала жена.

— Стервь поганая!—рычал Володька то ли на дражайшую половину, то ли на самого себя.—Нашел кого послушать!

— Немедля притухни,—сказал Сагину следователь.—Будешь еще рыпаться, посажу. Дал я тебе маленько дышать, так не думай, что ты опять на коня забрался. Вполдыха дыши! Да чтоб оправдательные бумажки завтра у меня на столе лежали. Чтоб общественность за тебя горой поднялась, а не то... А насчет Ивана Сергеевича так тебе, Сагин, скажу: как завидишь его где, на речке ли или просто на улице, так беги от него со всех ног, куда глаза глядят! Да смотри, не оглядывайся. Тебе же лучше будет. Не шутя, Сагин, предупреждаю.

Володька согласно кивнул головой и понурился. Капитан холодно оглядел его сгорбленную фигуру.

— Умел брать, умей и ответ держать. Народную мудрость помни: «Не тот вор, кто украл, а тот, кто попался!» Ну ладно, иди. Свободен пока.

Слово «пока» шилом воткнулось в Володькино сердце. Сагин вышел на улицу, присел на скамейку и задумался.

Пожалуй, пора. Да, настал час взыскать должок. Даром, что ли, целые годы поил, кормил, девочек под него подстилал?

Володька и берег большого человека на такой вот крайний, предельный случай. Пускай отработает, что сожрал. Ему что стоит? Один звонок, и пошли колеса крутиться в обратную сторону. Вмиг все затухнет. Кто захочет идти наперекор большому человеку? С ним ссориться—все одно, что самого себя под корень рубить. Стопчет и бровью не шелохнет.

Да, пожалуй, пора.

16

Сагин бегом помчался в белую трехэтажку. Ничего, еще не все пропало, мы вам—вы нам. Так спокон веку в жизни ведется.

Что за чудо?! Кабинет, который всегда был так гостеприимен, нынче выглядел неприступным бастионом. Двойная дверь оказалась наглухо закрытой перед разбежавшимся Володькой. Неужто уже доложили? Эх, теперь такая пьянка пошла, что режь последний огурец. Выручай, гад!

Секретарша окрысилась на Володьку, как хорошая овчарка.

— Неприемный день! Занят он. Русским языком вам говорят.

Володька изумленно воззрился на нее.

— Да ты чо, Аля, белены объелась? Не узнаешь старых знакомых? Ведь это же я, Освод!

Он попытался приятельски хлопнуть добрую знакомую по плечу. Секретарша отшатнулась от его руки, как от раскаленного железа.

— То-то и оно, что Освод,—невольно вырвалось у нее. Впрочем Аля тут же поправилась.

— Это вы, видно, белены объелись, гражданин!—прокричала она, косясь глазом в сторону обшитой югославской кожей двери.—По личным вопросам прием в четверг, после шести и только согласно предварительной записи. Идите на вахту, там вам скажут, у кого записаться.

И Аля шустро застрочила на машинке.

Володька остервенел. Месяц назад вместе гудели без всяких предварительных записей, а теперь...

Он круто повернулся и рванул на себя кожаную дверь. За спиной визгливо заверещала секретарша, но Володька, миновав тамбур, уже был внутри огромного кабинета.

Холодом и льдом встретили его немигающие, стеклянные глаза, плавающие над грудой бумаг. Сагинская горячность несколько поутихла.

— Вы как сюда попали, гражданин?—пророкотал спокойный, отстраняющий голос.—Я же просил секретаря никого не пускать. Сегодня у меня неприемный день, и я очень занят. Приходите согласно распорядка, а сейчас попрошу вас покинуть кабинет.

Володька онемел.

— Ака,—наконец, выговорил он, запинаясь.—Вы меня, что ли, не узнали? Это же я, Володька со спасательной станции. У меня к вам срочное дело есть.

Хозяин кабинета помолчал и нехотя отодвинул бумаги.

— Узнал, узнал,—недовольно пробурчал он.—Ну, говори, чего тебе нужно. Дел много, давай выкладывай и уходи!

Ошарашенный небывалым приемом Володька изложил большому человеку свою незадачу. Тот внимательно выслушал и нахмурился.

— Ну и что?—спросил он, глядя поверх Сагина.—Ну и зачем ты это все мне рассказал?

— Как зачем?—удивился Сагин, еще не веря в очевидное.—Да ведь вам стоит только слово сказать, и все изменится. Какой-то инспекторишка! Вызвать, намекнуть, чтоб не в свои дела не совался... А уж с остальными я сам договорюсь...

Большой человек посмотрел в окно, посопел, потом лицо его начало приобретать фиолетовый оттенок.

— Ты что?—свистящим шепотом спросил он попятившегося Володьку.—Ты совсем спятил? Ты чего приперся ко мне со своими воровскими делишками? Забыл, куда пришел? Забыл, какое нынче время на дворе? Сам сижу, как на костре, не знаю, что завтра со мной будет! А ты хочешь в какие-то махинации меня впутать? Это кто тебя научил ко мне прийти, кто посоветовал? Ну, говори!

Володька с перепугу потерял голос. Это тебе не анекдоты на айване травить. Впервые он явственно понял всю огромную разницу их положений. Из этого кожаного кабинета загреметь за решетку было куда проще, чем из того, который он недавно покинул. Утирая холодный пот, Сагин пролепетал:

— Что вы, что вы, ака! Никто ничего не советовал. Просто я сам, по старому знакомству решил попросить...

— Я тебе дам старое знакомство!—грянуло, как из тучи.—Среди моих знакомых жуликов и проходимцев нет! Сам влез в грязь, сам и вылезай! Прешься сюда, как в собственный сарай! Еще раз здесь появишься, пеняй на себя—в двадцать четыре часа из города вылетишь! Вон отсюда!

Володька пулей вылетел из кабинета. Пальцы его дрожали.

— Чего же мне теперь?—бессмысленно бормотал он.—Чего же мне теперь?!

Секретарша подняла из-за машинки понимающие глаза.

— Вышиб?—участливо спросила она.—Я же говорила тебе: не ходи.

— Что это с ним?—трудно выговорил Володька.

Аля поманила наманикюренным пальчиком. Сагин подступил ближе.

— Комиссия приехала,—шепотом поделилась секретарша.—Аж оттуда!—она указала на потолок.—Проверяют. И по квартирным делам, и вообще. Ну, и аморалку. Знаешь же, на чем они больше горят. Под ним самим сейчас земля дрожит. До тебя ли? Вот и не велел пускать к себе всяких разных...—она чуть замялась,—бывших знакомых.

Володька крякнул.

— Так. Понятненько. Значит, каждый за себя, а бог за всех?

Секретарша пожала плечами.

— А ты как думал?

Сагин понял, что ему придется выпутываться самому. Помощи ждать было неоткуда.

17

Дела поперли аховые. Но жить было надо, жить, добывать копейку. И Сагин решил рискнуть.

Ночь упала на топкий берег Акдарьи тяжелым ватным одеялом. Неслись по темному небу рваные клочья туч. Северо-западный дождевой ветер налетал беспорядочными порывами.

Сашка-шурьяк уж два раза спускался к причалу, все проверял, хорошо ли уложена сеть и мешки под рыбу. Володька терпеливо дожидался в своем кабинете промыслового часа.

Из-под зеленого колпака настольной лампы лился мягкий, рассеянный свет. В отворенное окно теплым потоком вплывали запахи ночи, невольно заставляя вздрагивать и трепетать широкие Володькины ноздри. Аромат созревшей мяты примешивался к горячему запаху накалившегося за день воздуха, от дальнего асфальта тянуло легким бензиновым чадом, но все перебивало и перемешивало прохладное дыхание близкой реки. От нее пахло чуть различимой затхлостью гниющего камыша и свежей рыбой.

Володька от нечего делать забавлялся лампой. Палец нажимал на кнопку выключателя, и свет гас. Проходило несколько секунд, и резкий луч вырывал из темноты широкое котовье лицо с рыжеватыми бачками и острыми щелочками припухших глаз.

Наконец шурьяк за окном не выдержал.

— Ну чего мигаешь светом, чего мигаешь?—с досадой пробурчал он.—Домигаешься до беды. Нашел занятию.

Володька вздрогнул. Палец его застыл на кнопке выключателя.

Весь день Сагин был не в себе. Неприятно покалывало висок. Немоглось. «Или не ехать сегодня,—вяло подумал Володька.—Долго ли до беды? Ведь на паутинке вишу. А ну как нынче опять заловят, тогда что?— Володька сухо усмехнулся.—Тогда сушите сухари и пишите письма. Через этого молокососа прахом пойдет все нажитое. Лет пяток не Люську буду лапать, а подушку соломенную. Так не ехать?.. Как не ехать?—испугался Володька.—А машина будет ждать. А убытки уже какие понесены. Чем компенсировать? Да и дальше как жить?! Что ж, каждую рыбину за пазуху прятать и глядеть, как бы молодой Иван за шкирку не ухватил? Ну нет, шалишь, чем так жить, лучше вовсе не жить. Не дамся!—подумал Володька, леденея сердцем.—Вывернет его ночью на меня, значит, судьба такая у младшего лейтенанта. Значит, срок его жизни пришел.— Сагин тряхнул головой, отгоняя вставшее перед глазами темное видение.—Нет, не дамся! Или он, или я».

Володька глянул на часы и решительно встал. Пора. Половина двенадцатого. Самое время подоспело.

Темень на дворе была хоть глаз выколи. Только изредка в разрывы туч вплывал узкий серп месяца. В распахнутые окна тянуло ночной прохладой, и даже комары как будто несколько угомонились. Шурьяк уже возился у причала.

До Киярской ямы на глиссере было сорок минут ходу. Каждый замет плавной сети брал около часа времени. До четырех надо было уложиться с двумя заметами и к пяти поспеть обратно. В пять утра к воротам ОСВОДа должен был подрулить сазаний оптовик. Томить клиента ожиданием не полагалось.

Оптовый покупщик имел с Володьки рубль на каждом килограмме рыбы. В другое время Сагин не стал бы с ним и разговаривать, повез товар сам, но в нынешний тяжелый момент брать на себя третью статью особой охоты не было. За глаза хватало и двух имеющихся. Вот и приходилось нести неоправданные убытки, которые он со скрежетом зубовным приплюсовывал молодому Ивану. Счет его к инспектору рос не по дням, а по часам.

Сагин тоскливо ежился, отдавая сазанов вполцены против базарной, но в душе признавал вполне справедливой калькуляцию торгового человека. После расчета с Володькой начинался уже сплошной его риск—триста километров голой дороги с пятью-шестью постами ГАИ. От полученного рубля на этом пути шутя отламывался полтинник. Сама машина денег стоила, да и там, на дальнем рынке, на штучной веселой распродаже, пальцев на руках не хватит перечислить всех, кто жадно присасывался к барышу. Полупудовой рыбины да красненькой в карман стоил каждый подход к прилавку работника контролирующей торговлю организации. Вот те рыбаки, так рыбаки. Никогда пустую сеть из мутной воды не вытаскивают. Хоть сколько, да есть!

— Ну чего ты?—прервал его раздумья шурьяк.—Время вон уже сколько! Проканителимся!

Сагин тяжело перевалился через алюминиевый борт.

— Поехали.

18

К катеру была привязана плоскодонка шурьяка. На стопке рыбьих мешков лежал туго скатанный мешок с сетью.

— Ну, с богом,—засуетился у рулевой колонки Сашка.

Володька отцепил от бронзового кольца и закинул внутрь катера носовую чалку.

— Заводи,—приказал он.

Одним дыхом, с пол-оборота, с первого сильного дёрга завелся мощный катер. Володька надвинул на лоб кепку и сел за руль. Он перевел реверс на рабочий ход. За бортом важно зажурчала сонная вода. На ветровом стекле заиграли лунные блики.

На место прибыли быстрее, чем рассчитывали. Остановились, огляделись. Рваные обрывы туч загромождали тревожное небо. То возникала на стремнине ровная лунная дорожка, то рассыпалась на дробные, серебристые капли. Выждали минуту, другую. Вокруг было тихо.

— Начнем! — скомандовал Сагин.

Сашка подтянул лодчонку к борту глиссера и перелез в свое неуклюжее корыто. Володька оседлал мешок с сетью и, вытянув концевые шнуры снасти, передал их шурьяку. Сашка привязал стропы сети к корме шаткой посудины и легкими толчками весел стал отводить лодчонку к берегу. Володька, чуть подрабатывая мотором, удерживал катер на месте. Сеть легко уходила в воду. Через десять минут серая цепочка хорошо заметных на черной воде поплавков протянулась от глиссера к берегу Акдарьи. Самыми малыми оборотами двигателя Володька пошел вниз по течению. Линия поплавков заколебалась и начала выгибаться в дугу.

Сашка там, у берега, вовсю орудовал веслами. Ему важно было не отставать от катера. Две связанные между собой лодки пошли вниз по течению. Вот стометровая, сверкающая паутина капрона, грузил и поплавков полностью выползла из мешка. Володька шустро перехватил концевые стропы и накрутил их на железный крюк. Сеть ушла в воду вся.

Володька тихо присвистнул. Сашка отозвался ответным сигналом. Отсюда, с середины реки, были хорошо слышны его утробные выдохи. Вода у берега чуть шевелилась, и, чтоб угнаться за Сагиным, идущим по стремнине, шурьяку приходилось ворочать веслами в полный мах.

Володька почти приглушил мотор. Он опустил руку за борт и перехватил пальцами уходящий в воду напружиненный шнур. Капрон туго вибрировал и чуть слышно пел в его руке. Время от времени до Володьки доходили передаваемые шнуром далекие, глухие удары.

Тук... тук... тук...

Каждый такой удар отзывался радостью в Володькином сердце — это плотно садились жабрами в режак сети полусонные акдарьинские сазаны. Вот ударило сильнее.

— Ого, здоровый кабан! — весело удивился Сагин, — пожалуй, на полпуда потянет.

Прошли еще сотню метров. Шнур в Володькиной руке затрясся, забился крупной дрожью так, словно там, под водой, кто-то невидимый стал дергать и тянуть сеть сразу во все стороны. Володька прибавил обороты двигателя, резко свистнул и начал подворачивать глиссер к берегу.

Замет оказался фартовым, в сеть вошла целая сазанья семья. Сашкино пыхтенье усилилось. Стоя на мелководье, шурьяк, изогнувшись глистом, удерживал сеть. Володька притянул глиссер к берегу в метре от него. Выскочил из катера, ловко перехватил свой конец сети и крепко уперся подошвами в илистое дно: выбирать из воды мокрое, стометровое полотнище с двумя десятками застрявших в ячее крупных сазанов дело нешуточное. Через пяток минут от промысловиков пошел пар.

Спеша выбрать сеть, Володька первых рыбин бросил на дно глиссера. Но они так бились боками об решетчатый деревянный настил, так гулко лупили широкими хвостами в тонкие алюминиевые борта, что пришлось отвлечься от главного.

Добыча грозила вот-вот разбудить все окрестности, звонкие металлические удары далеко разносились по притихшей реке.

Сагин метнулся в катер и, распялив рукой и зубами мешок, другой рукой принялся быстро набивать его увертливыми рыбинами. Привычные пальцы его мгновенно находили на скользкой, слизистой чешуе сазаньих тел косые крышки жаберных щелей и узкие анальные отверстия. Зацепив рыбину одним пальцем то с головы, то с хвоста, Володька неуловимым движением бросал ее в мешок. Подключился Сашка. Дело пошло еще веселее.

Вскоре два пятидесятикилограммовых мешка с рыбой рядком разместились по центру осводовской моторки. Полтора часа занял у рыбаков первый замет.

Однако надо было поспеть еще с одним заметом. Вновь проснулся мотор. Володька отер ладонью потный лоб и прислушался. Стрекотание сверчков и цикад на Волчьем острове слилось в один неразличимый, мерный напев. От воды тянуло запахом парного молока и свежей рыбы. Сагин вдохнул полной грудью сладкий ночной воздух, насыщенный опасностью и фартом, — это и была жизнь!

Две связанные коротким фалом лодки быстро выходили на стрежень воды. Волчий остров темнел далеко позади.

Второй замет не заладился с самого начала. Сперва Сашка запутался в мокрой сети и добрые полчаса, матерясь, отдирал прилипчивый капрон от цепких деревянных бортов своего неуклюжего корыта. Потом сам Володька поскользнулся на покрытых рыбьей слизью решетках и едва не сыграл за борт. Наконец кое-как разобрались с сетью и разъехались. Следовало поспешать. Чертова уйма времени оказалась зряшно потерянной. Сашка тяжело ухал, торопясь растянуть сеть поперек реки. Наконец и с этим сладилось. Володька начал успокаиваться. Ничего, поспеем.

Но не успел он додумать эти роковые, сглазные слова, как нижний, грузиловый строп сети резко дернулся и натянулся до звона. Володька моментально вырубил движок.

— Туды твою мать, — грубо выругался он. — Не было печали! Зацеп.

На той стороне, у берега, Сашка захлюпал веслами, безуспешно пытаясь стянуть сеть с коряги. Володька зло бросил в темноту:

— Суши весла! Приехали.

— Зацеп вроде, — глухо донеслось от берега. — Видно, на корягу нанесло.

Володька в сердцах трахнул ладонью по воде:

— Эх, жизнь, будь ты неладна! Как не повезет, так не повезет.

Дело поворачивалось плохо. Второй замет считай, пропал. Времени и без того оставалось в обрез, а тут еще неизвестно, что там на дне, и сильный ли зацеп? Хорошо, если удастся, оттащив сеть выше по течению, сдернуть ее с подводного крюка, а как нет? Что тогда? Снасть на реке не бросишь; пока не высвободишь сеть, нечего и думать о возвращении домой.

Володька глянул на часы. Мать честная, начало четвертого, а сколько еще провозиться придется, неизвестно. И главное, вот-вот светать начнет, не хватало только вляпаться в новую беду. Небось молодой Иван только и ждет такого подарка.

Володька поднял голову, всматриваясь. Кругом заметно посветлело. Шурьяк всполошился в своей лодчонке.

— Брось сеть! — прорычал Володька. — Чего тянешь ее, как дурак? Только крепче сядет! Заведи конец на берег, завяжи за камыш и дуй сюда! Понял?!

Сашка пробурчал из темноты что-то нечленораздельное. Время тянулось нестерпимо медленно, пока наконец из серой мути не вынырнула его посудина.

— За смертью тебя посылать! — ругнул родственника Сагин. — Время уже сколько?! Сам не сообразишь быстрей поворачиваться?

Сашка виновато опустил голову.

— Да это, я...

— Ладно! — оборвал его Володька. — Потом доскажешь! Лезь ко мне.

Они отцепили сеть от глиссера, привязали конец ее к шурьяковой лодке и на самом малом ходу пошли к месту зацепа.

Володька багром полез в воду, поймал притопленный зацепом поплавковый шнур сети и попробовал потянуть его на себя. Шнур поволок его вниз, как хорошая стальная пружина, и Володька понял, что сеть села на корягу намертво. Подрабатывая мотором, он попробовал пройти вверх по течению. И тут сеть не поддалась. Капрон запел и остановил глиссер. Сашка кряхтя удерживал багор.

Они безуспешно возились около сети уже добрых полчаса и так увлеклись, что совсем не услышали негромкого чавканья чужого мотора. Луч карманного фонаря ударил в них с расстояния трех метров.

«Влипли!» — только и успел подумать Володька.

Из чернильной тьмы донесся звонкий, насмешливый голос, от которого у Володьки знакомо заломило в висках.

— Ну что, помочь? А то, я вижу, вдвоем не справляетесь.

Шурьяк икнул и прикрыл лицо ладонью. Володька выпрямился и отпустил сеть. Он мучительно старался разглядеть, есть ли еще кто-нибудь, кроме молодого Ивана, в подкравшейся к ним рыбохрановской моторке.

Что дело их швах, он сообразил сразу, теперь все дальнейшее решало огромной важности обстоятельство: один инспектор в лодке или не один? Прошлые разы Иван действовал кучей, на пару со старым инспектором и добровольными помощниками из общества рыбаков. Ну, а сегодня? Если и нынче лейтенант не один, то незачем и барахтаться: ночь, сети,

мешки с рыбой, государственная моторка, ничего лучшего для себя преследователь не мог бы и придумать.

Тоска затуманила Володькину голову. Следствие, суд, конфискация имущества, тюряга — ясно, что срок припаяют на полную катушку, все пойдет прахом, и работа, и должность, и достаток в доме, и, может, самый дом, и семья, и барахло, и машина, и все труды его тяжкие и нетяжкие — все ухнет, как в прорву, в загребущие чужие лапы, стоит только коготку увязнуть, а там всей птичке конец. Ну а если инспектор, на Володькино счастье, один? Что тогда? Ну, если один, тогда... Сагин заслонил глаза ладонью.

— Гаси свет, служба. И так все разглядел!

Инспектор засмеялся.

— Это верно, граждане хапуги. Закон и в темноте далеко видит!

Он легко подвел свой катер к Володькиному глиссеру и обмотал носовую цепь вокруг сагинской банки. Фонарь погас. Володька зажмурился, торопясь быстрей привыкнуть к темноте.

Молодой Иван встал, надвинул на лоб форменную фуражку и, не торопясь, ступил на борт схваченной на ночном грабеже разбойничьей посудины.

— Иван Сергеевич Никитин, — по форме представился он пойманным браконьерам и вежливо приложил ладонь к козырьку черной фуражки.

Инспектор был счастлив. Опять подлые грабители попались в его руки со всем букетом неопровержимых доказательств своего разбойного промысла.

Закон и справедливость были бы пустым набором слов, не осуществляйся они на деле с такой железной неизбежностью. Инспектор скользнул глазами по мокрым, туго набитым мешкам. Сволочи, — там наверняка полно самок с икрой! Ведь какие убытки нанесены природе двумя шакалами, по ошибке получившими при рождении человеческое обличье. Тысячи жизней, еще не рожденных, еще не проявивших себя в этом мире ни движением могучих плавников, ни веселым прыжком поверх родной стихии, многие тысячи жизней были беспощадно оборваны, убиты, задушены в вонючей тесноте воровских мешков.

Струи теплой воды мирно обтекали лодку палачей. Лягушки глухо квакали на Волчьем острове, чуть виднелись звезды, и Никитин Иван ожесточился сердцем к разрушителям жизни, попавшим в его законную власть.

— Вы задержаны, — сказал он. — А также и катер, и рыба, и орудия незаконного лова. Сейчас поедем прямо в прокуратуру. Пора очистить Акдарью от воров.

Володька открыл остро заблестевшие в темноте глаза. Легкий утренний ветерок разогнал остатки туч. Начало светать.

— Пора очистить, пора очистить... — неотвязно бились в его голове последние Ивановы слова. — Пора...

Инспектор был один!

Сердце Сагина испуганно и больно толкнулось в груди; предчувствие неизбежного разлилось бледностью по щекам, но Володька жестко стиснул закаменевшие челюсти. Жизнь Ивана дороже сазаньей, что ли?

— Заводите мотор, — приказал лейтенант примолкшим браконьерам.

Володька прищурил глаза. Радужные круги от нестерпимого инспекторова фонаря совсем прошли. Теперь он видел не хуже, чем днем. Легкий холодок незаметно нарастал внутри Володькиного желудка.

Сашка заканючил от мешков с рыбой:

— Да ладно, да чего там! Что ты на нас взъелся? Возьми, сколько положено, да отстань! Сам живешь, и другим дай жить.

Инспектор обрезал его, как ножом:

— Не дам!

Володька только усмехнулся. Ну шурьяк, ну мыло, нашел кого уламывать. Нет, с молодым Иваном пустая болтовня ни к чему. У него не выпросишь. С ним надо капитально решать.

Сагин не спеша наклонился к алюминиевому борту. Там, под выгибом металлического профиля, было пристегнуто двумя пружинистыми лапами короткое алюминиевое весло. За последний год и попользоваться им ни разу не пришлось — слава богу, мотор работал, как часы, а вот сегодня пришло, видно, его время.

Одним движением Володька вывернул весло из лап и, распрямившись, с ходу рубанул им вперед, целясь инспектору в голову. Катер от резкого движения качнулся под ногами, и лопасть весла, скользнув по щеке, разорвала Иваново ухо.

В следующую минуту в пляшущем глиссере завязалась смертельная схватка. Володька, ухватив пятерней молодого Ивана за грудки, рубил его ребром весла, стараясь угодить по голове. Не давали толком попасть разделявшая его с инспектором банка да вскинутые вверх руки лейтенанта, отбивавшие весло.

Сашка, ошалевший от неожиданного поворота дела, сунулся в середину. Пытаясь помочь Сагину, он схватил инспектора за руку, но споткнулся о рыбий мешок и неожиданно втиснулся между Иваном и Володькой.

Дико хекнув, Володька рубанул в мелькнувшее перед ним лицо. Сашка взвыл страшным голосом. Этот удар достался ему. Инспектор наконец вырвался из Володькиного захвата и, поймав Сашку за полосатую тельняшку, закрылся им от смертельной лопасти. Затрещала материя. Сашка изо всех сил рвался из инспекторовых рук, а Володька, бешено стиснув зубы и остекленев взглядом, рубил и рубил ребром весла мечущееся перед ним человеческое мясо. После каждого удара дурным голосом ревел очумевший от боли шурьяк:

— Ой, не надо! Ой, не бей! Ой, Володечка, не убивай! Ой, больно!

Наконец Сашка взвыл уж совсем смертным воплем и рванулся так, что тельняшка не выдержала и с хрустом разорвалась до пояса. Сашка полетел на дно катера, инспектор за борт. Володька кинулся к воде и успел еще раз достать молодого Ивана веслом, прежде чем тот нырнул.

В корме глиссера, обхватив руками голову и захлебываясь слезами, причитал Сашка:

— Ой, убил! Ой, мамочка родная, ой, насмерть убил!

Он провел ладонями по растерзанной физиономии и, поднеся к глазам окровавленные руки, заорал на половину реки:

— Кровь же, кровь! Гляди, свояк, гляди, кровь!

Сашка совал под нос Володьке мокрые красные ладони:

— За что же ты меня так, братка?! Ведь убил!

— Заткнись, дурак! — бешено оттолкнул его Володька. Он напряженно вглядывался в забортную воду.

— Уйдет, уйдет, — пугливо отдавалось в сагинском мозгу.

В десяти метрах от катера вынырнула из воды черная тень. Тяжелыми, размашистыми саженками инспектор медленно плыл вниз по течению. Видно было, как трудно ему держаться на воде.

— Врешь, не уйдешь! — плеснулась внутри Володьки сумасшедшая радость. Он кинулся к штурвалу и включил двигатель. Рев мотора громом прокатился по сонной воде. Потревоженные внезапным шумом, притихли лягушки. Володька развернул катер чуть ли не на месте. Глиссер, словно норовистый конь, встал на дыбы и прыгнул вперед. Охающий Сашка едва не выпал за борт.

Володька нацелил широкий, плоский нос катера в прыгающий на волне живой мячик. Инспектор, заслышав нарастающий рев мотора, попытался было повернуть в сторону, но в этот момент тяжелая, длинная туша глиссера накрыла его.

Ах-х-х-х!!!

Штурвал катера дернулся в Володькиных руках. Глиссер на секунду приостановился. Рев мотора из басовито-звонкого перешел в натужный и мучительный. Слышно было, как туго, с усилием проворачивающийся винт рубит под водой неподатливую, тягучую массу.

Несколько мгновений продолжался утробный, низкий вой двигателя. Но вот вода позади катера забурлила, и на поверхность стали вылетать выброшенные могучим усилием вращающихся ножевых лопастей лохмотья измочаленных тряпок и кровавые хлопья пены. Вода за кормой густо порозовела. Освобожденный из страшного плена винт разом набрал полные обороты. Движок завизжал, и катер рванулся вперед.

Сашка, зачарованно глядевший на клочья человеческого мяса, всплывающие в метре от носа катера, ахнул и на четвереньках пополз вдоль борта.

Володька заложил широкий круг по реке и, сбавив обороты, подошел к месту злополучного зацепа сети. Он выключил двигатель, поймал багром треклятую сеть и несколькими ударами ножа перерезал ее по обе стороны зацепа. Двигаясь по шнуру, Сагин быстро выбрал береговую половину сети из воды, оторвал привязанный Сашкой конец от камышей и пошел по реке вслед за медленно плывущей по течению лодчонкой шурьяка. Вторая половина обрезанной им снасти была привязана к лодчонке.

Сагин покосился на шурьяка. Тот сидел у мешков с рыбой и, обратив отрешенное лицо в сторону, угрюмо молчал. Молчал и Володька. Он не стал тревожить Сашку. Первая в жизни «мокруха» всем трудно дается. У Володьки самого сейчас все внутри мелко дрожало. Пусть Сашка маленько оклемается, а тогда и поговорить можно.

Пока Сагин выбирал береговую половину сети, шурьякова лодчонка далеко ушла вниз по течению. Догонять пришлось минут пяток. Наконец догнали.

Володька привязал к глиссеру Сашкино корыто и начал выбирать сеть. Та шла из воды тяжело. Володька ругнулся:

— Да что там, рыбы полно, что ли? Вот не ко времени.

В глубине его мозга мелькнула было страшная догадка, руки на долю секунды ослабли, но Сагин переборол себя. Это было бы уж совсем... Отогнав ненужную мысль, он с удвоенной энергией взялся за сеть. Сашка сидел рядом, остолбеневший.

— Спишь, что ли,— грубо окрикнул его Володька.— Помог бы хоть!

Сашка оборотил в его сторону измученное, оторопелое лицо. Володька глянул на шурьяка и с досадой отвернулся.

Сеть пошла легче. Легче, еще легче.

Сагина невольно отшатнуло от борта. Он не захотел даже и мысленно узнать то, что, застряв изломанными и вывернутыми руками в его удачливой капроновой ловушке, тихо покачивалось в трех метрах от борта. Отвернув голову и болезненно сморщившись, Володька на ощупь перерезал сеть. Последняя за сегодняшнюю ночь его добыча медленно отплыла от катера.

Скорчившийся у Володькиных ног Сашка хрипло завыл, не в силах отвести зачумленного взгляда от медленно погружающегося в воду разлохмаченного мяса.

Назад шли молча. Солнце уже поднялось над дальним горизонтом. Утренний воздух обвевал обветренные, опухшие лица.

Володька изредка косился на шурьяка. Тот сидел, обхватив руками изорванную в клочья тельняшку и смотрел прямо перед собой.

— Ты не трусь, Саня,— хрипло уронил Володька.— Просто случай такой вышел. Мы ведь не хотели, а по-другому нельзя было. Не мы его, так он нас. Опять же, место пустынное. Чужих глаз не случилось. День, два, сомики его и подберут.

Сашка болезненно вздрогнул.

— А ты не жалей его, Саня, не жалей,— мягко увещевал шурьяка Володька.— Ты вспомни, он нас жалел? Только и думал, как в землю зарыть. Помнишь, как повернул, мол, железом вас с реки выжгу! Так что сильно не болезнуй, не думай,— все забудется, вот увидишь. Пройдет время, и сам скажешь: «А и не было ничего».

Сашка, словно просыпаясь, поднял на родственника наполненные ужасом глаза. Губы его мелко дрожали. Володьке стало не по себе. Не в уме парень, опасливо подумал он. Как бы не наделал вгорячах чего. Надо бы присмотреть за ним. Чтоб с глаз ни на шаг.

Нос катера мягко заскользил по причальным доскам. Володька выключил движок.

— Все. Приехали. Выгружаемся.

Звук его голоса словно сорвал со стопора сжатую внутри Сашки пружину. В следующий момент притихший было шурьяк выскочил из катера и помчался по пирсу. Володька ошеломленно глядел ему вслед. Только и видно было, как ходят лопатки на полосатой спине. Прошло несколько секунд, прежде чем Сагин осознал всю опасность нелепого Сашкиного побега.

— Стой! — крикнул он.

Сашка за это время успел отмахать еще два десятка метров.

— Стой! — сипло прорычал Сагин. — Стой, говорю, кур-р-р-рва!

Сашка наддал быстрее. Володька бросился вслед за ним. Сашкиного побегушного запала и его проспиртованных легких хватило меньше, чем на сотню метров, последний отрезок дороги он ковылял уже трусцой, а подоспевший Володька перехватил шурьяка, перешедшего на спотыкливый шаг. Сагин обрушился на Сашку, как клин-баба на асфальт.

— Рр-р-раз!

Первый же удар положил Сашку на землю.

— На, гад! На, на! Сбежать вздумал! В «ментовку» полетел? Заложить собрался? Я тебе побегаю! На, на! Убью гада! Семь бед, один ответ!

Сашка только слабо вскрикивал под градом сыплющихся на него увесистых ударов. Исцарапанные руки пытались прикрыть побитую голову. Внезапно он замолчал и перестал сопротивляться. Руки его упали. Володька невольно задержал в воздухе вскинутый кулак.

— Чего ты?

Сашка оборотил к нему залитое слезами и кровью за одну ночь бестелесно исхудавшее лицо:

— Во-ло-дя! Что ж мы с тобой наделали, братка? А-а-а? Ведь мы же че-ло-ве-ка сказ-ни-ли!!!

Сагин испуганно оглянулся, зажал ладонью слюнявый, плачущий рот.

— Тише! Тише, говорю!

Он ослабил ладонь и, близко глядя в прыгающие Сашкины глаза, с огромной силой убеждения проговорил:

— Не было этого! Понял? Все забудь. Все тебе спьяну приснилось и привиделось. Не было этого. Ничего не было.

Сашка, жалко искривясь плачущим ртом, попытался заглянуть в лицо родственнику.

— Приснилось? — с сумасшедшей надеждой прошептал он.— Привиделось? Не было?

— Не было! — твердо ответил Володька, не отворачивая потного лица.— Ничего не было!

20

К восьми утра Сагин уже сидел в своем лакированном кабинете. Раннее солнце заливало мир ласковым светом и теплотой. Хлопотливые воробьи чирикали под застрехой конторской крыши. Тишиной и спокойствием начинался новый день.

И только в Володькиной голове все еще продолжалась темная, кровавая ночь.

Во дворе посиживал на завалинке Сашка. Он уже трижды совался будто бы по делу в Володькин кабинет, и на третий раз Сагин не выдержал жалкого вида шурьяка.

— Катись на двор! Чего ты возле меня толчешься? Сядь на завалинку и носа на улицу не высовывай! Крутишься тут! Развесил сопли...

Такой жуткий страх плескался в Сашкиных глазах, такая виноватость струилась от всей его погнутой фигуры, что у Володьки вконец упало сердце. Продаст, гаденыш... Разом продаст. Все на морде написано. И надавить не успеют, как расколется.

Шурьяка следовало сбыть с рук немедленно. Убитый вид его неизбежно возбуждал самые тяжелые подозрения. Но удалить Сашку с глаз было не менее опасно, чем держать рядом. Никто не мог гарантировать, что так жидко обделавшийся ночью родственничек, оставшись без присмотра, не побежит с доносом. Страх мог толкнуть его на все что угодно. Приходилось держать Сашку около себя и нет-нет да внушать ему, что все случившееся ночью есть видимость и сон.

Шурьяк по закоренелой привычке хотел было прибегнуть к старинному средству, но Володька вырвал из его дрожащих пальцев бутылку.

— Нашел время! Капли чтоб во рту не было.

И так у этого осла в голове не шибко, а тут еще зальет водярой остатки опилок. А ну как ляпнет спьяну одно глупое словечко — и каюк! Да, жидок, жидок оказался на расправу, на суровое мужское дело самый, почитай, близкий человек. А вдруг не настиг бы он шурьяка? Куда бы тот побег? Ведь куда-то же он навострил лыжи? Вот и выходило, что в «ментовскую». Что ж после этого с ним делать?

Только одна и оставалась надежда, что инспектор не скоро всплывет, а к тому времени шурьяк либо окончательно успокоится, либо... Володька нахмурился.

Сагин завозился в мягком кресле. Никак не удавалось сесть поудобнее. Томили душу две незадачи, о которых Володька, как ни старался не думать, ничего не получалось. Он с тяжелым вздохом полез в карман, достал маленькое, круглое зеркальце. В мутном стекле отразились знакомые бачки. С левой стороны, пониже курчавой поросли, на самом видном месте щеки багрово выделялась большущая ссадина.

Нехорошо, в который уже раз подумал Володька,— кабы не эта чепуха, насколько бы проще было. Вот, скажем, у Сани вся морда побита. Так мог же шурьяк один ночью по реке прокатиться? Мог на воде кой с кем с глазу на глаз потолковать? А Сагин в это самое время, допустим, в конторе спал, а? Мог же?.. Мог, и еще как мог, будь у Володьки рожа чиста. Трудновато бы Сашке с «ментами» объясняться, окажись Сагинская физиономия наутро нетронутым пасхальным яичком. Нехорошо, снова вздохнул Володька, пряча зеркальце. Сосущая пустота возникла под ложечкой.

Все утро Сагин мыл глиссер. Он прошелся тряпкой по широким алюминиевым бокам катера, протер весло, продраил речным песком и смоченной в бензине ветошью сверкающий острыми ребрами желтый винт. Сагин поморщился, припомнив, как с хлюпом, завывая от натуги, ревел двигатель глиссера, когда ножевые лопасти винта рубили под водой кравовое месиво, бывшее за минуту перед тем человеком.

Потом Володька, скинув с себя замазанное кровью ночное тряпье, перевязал обрывком бечевы и, затолкав внутрь камень, забросил подальше от берега. Шурьяку он велел сделать то же самое и вымыться мылом с головы до пят.

И тут только обнаружилось то второе, что томило Сагина все утро. Володька кинулся к шурьяку с белыми от ярости глазами:

— Что ж ты сразу не сказал, гад?

Сашка боком полез в воду, прикрывая руками голову.

— Я ж сам не увидел сразу,— плачущим голосом оправдывался он.— Только сейчас заметил.

Володька схватился за голову и начал раскачиваться, как помешанный.

— А ну, покажи!

Так и есть, половины плеча и груди с левой стороны тельняшки недоставало. На всей Акдарье, да и во всем городе маячили только две полосатые форменки — одна на шурьяке, другая на Володьке. Краешек ее, в синюю и белую полоску, годами выглядывал из расстегнутого ворота сагинского кителя. Тельник сросся с Володькой, как кожа.

Хорошо, если злосчастная тряпка с морской зеброй лежит где-нибудь на глинистом дне Акдарьи, зацепившись за разлапистую корягу, и холодная донная вода заносит ее легким илом. Хорошо, коли так. А если не так? Если?.. Володька облился ледяным потом, представив себе закостенелую, мертво стиснутую руку утопленника с зажатым в посинелых пальцах ужасающим вещдоком. Куда сразу кинутся «опера», обнаружив улику? Ясно куда. Тут и думать незачем.

— А ведь на самом стрежне утоп Иван,— с отчаянием подумал Сагин.— Километр вниз и перекат. На середине течение здоровое. Вполне могло через полчаса вынести тело на меляк. И всегда рыбаков там полно. Самое любимое место удочников.

— Ой, ой, ой! — застонал он.

Теперь сыскарей можно было ждать в осводовском дворе в любую минуту. Тельник в руке, голова, порубленная винтом, обрывок сети, семи пядей во лбу иметь незачем, чтоб сделать безошибочный вывод. Сядут на хвост, рано или поздно раскрутят.

— Будь ты проклят, паразит. Без ножа зарезал.

Сашка поднял на него мокрое от страха лицо.

— Может, сквозануть куда? — жалко пролепетал он.

Володька махнул рукой.

— Придумал. Глупее не мог?

Не хватало только драпом открыто расписаться в содеянном. Оставалось лишь надеяться на фарт, на всегдашнюю свою удачу.

— Барахло все с себя утопи,— приказал он Сашке.— И от меня ни шагу!

И вот теперь шурьяк уныло слонялся по двору. Время тянулось тягуче и мучительно. Володька спалил за три часа чуть ли не пачку сигарет. Во рту стало, что у кота под хвостом.

В половине двенадцатого (Сагин машинально глянул на часы) зазвонил телефон. Володька вздрогнул. Словно током ударило в сердце. Не брать! Но не брать было страшно. Только взять казалось еще страшней. Пока Сагин колебался, телефон умолк. Володька обессиленно уронил протянутую было к аппарату руку.

— Уф-ф! — выдохнул он.— Может, пронесет? Ведь сколько уже раз казалось, что все, кранты, жизнь кончена, но как-то обходилось, проносило беду стороной.

Еще через пять минут раздался новый звонок. Ватной рукой Володька взял трубку.

— Да,— прошептал он.— Сагин слушает.

На том конце провода молчали.

— Але, але! — разом вспотев, заторопился Володька.— Это кто говорит?

Короткие отбойные гудки пришлись как раз на середину его вопроса. Володька тихо охнул. Трубка выпала из руки. Мгновенным, безошибочным прозрением понял Сагин угрожающее значение молчаливого вызова.

— Проверяют, на месте ли,— сами собой выговорили пересохшие губы.— Сейчас приедут брать.

Оцепенев, смотрел Володька на слабо попискивающую трубку. Бежать, бежать, скорей бежать! — воспаленно билось в пылающем мозгу. Но все тело Володьки словно закаменело, он не мог пошевелить даже пальцем. Десяток решающих минут Сагин оставался недвижим. Из столбняка его вывел звук подъехавшей к осводовским воротам машины. Милицейский газик остановился у решетчатых ворот конторы. Сашка, сидевший на завалинке в двух шагах от ворот, замер. Из машины вылезли двое в штатском и уверенно направились к калитке. Из «газика» вылез еще один человек, в милицейской форме. Сашка вскочил, затрясся и, заверещав как заяц, кинулся к калитке. Ужас, охвативший его при виде милицейской формы, оказался так велик, что Сашка не заметил тех, двоих, входящих на осводовский участок.

Оперативники, похоже, опешили не меньше Сашки, но в следующее мгновение Сашкины руки были с хрустом завернуты за спину, а глупый, пустой лоб его плотно припечатан к земле.

— Не я убил, не я убил! — истошно закричал Сашка, выливая в яростном вопле весь свой пережитый ужас.— Не я убил! Это все он, Володька! И веслом он бил, и винтом! Не я! Он меня заставил! Самого веслом порубил! Весло в сараюшке спрятал. Одежду свою утопил. Я вам все покажу! Я знаю где!

Страшные эти крики отшвырнули Сагина к окну. Волосы поднялись на его голове. Все. Конец, молнией мелькнуло в голове. Теперь не открутишься. Вышка.

Он еще успел услышать, как перешел в стон дикий Сашкин крик, видно, крепко завел за затылок шурьяку руку сидевший на нем милиционер, и в наступившей жуткой тишине легли, словно гвозди в Володькин гроб, простые и страшные слова:

— Дай браслеты, сержант. Точно! Вот она, тельняшка. Я же говорил, проверку с них надо начинать.

Тот, в форме, нагнувшись к машине, достал что-то блеснувшее и прошел в калитку.

Упоминание о тельняшке прострелило Володьку, как пуля. Словно с самого черного, илистого дна реки высунулась поверх воды распухшая рука с зажатым в скрюченных пальцах обрывком полосатой материи и через весь длинный дарьинский плес, и пристань, и ласковую прохладу кабинета потянулась к Володькиному горлу. Он схватился руками за шею, защищаясь от страшного видения. А со двора снова долетело спокойное:

— Смотрите, чтоб второй не ушел. Сержант, вы к окну, а я в дверь. Лейтенант около задержанного. Всем приготовить оружие.

Володьку отшатнуло от окошка. Все дальнейшее происходило с ним, как во сне. То, что он совершал в ближайшие секунды, уже не зависело от умственных усилий, безошибочный, изворотливейший инстинкт самосохранения повел его по самому краю разверзшейся у ног пропасти. Володька метнулся к шкафу. Выдернул из потая новенькую «тозовку» — мелкокалиберную винтовку-магазинку на три патрона — и бросился назад, к сейфу. Пачки с патронами хранились внутри. Но на ходу, в метре от окна, Сагин поймал краем глаза околыш милицейской фуражки, понял, что достать патроны не успеет. В следующее мгновение он бросился к другому окну на противоположной стене кабинета, распахнутому на полоску кукурузы, посаженную хозяйственным шурьяком.

Четыре сумасшедших биения сердца, и Володька, не потревожив на пути ни одного высокого зеленого будыля, оказался у края посадки. В пяти шагах от него вполоборота стоял оперативник с опущенным вниз пистолетом в руке, у его ног лежал одетый в железа шурьяк. За спиной опера светлел проем калитки.

Володька бросил косой взгляд в сторону покинутой им конторы. Милиционер в форме, вытянувшись гусаком, заглядывал в окно сагинского кабинета. Второго оперативника не было видно.

— Уже зашел в контору. У тебя есть еще десять секунд, — сказал кто-то чужой внутри Володькиного мозга. — Забор трехметровой высоты. Полезешь — сразу засекут. Выход есть только один. — Сагин перехватил винтовку двумя руками, за цевье и за ложу. Он глубоко вздохнул и на секунду замер. — Пошел! — последовала чужая команда.

Расстояние, отделявшее его от оперативника, Володька одолел так быстро, что даже привыкший к опасности, обученный рукопашному бою профессионал успел среагировать на возникшую угрозу только глазами. Зрачки его невольно дернулись в Володькину сторону, но мозг не успел отдать команды рукам.

Хх-ха!

Володька ударил стволом винтовки, как штыком. Из развороченной щеки хлынула кровь. Оперативник отлетел в сторону и освободил проход.

Прямо за калиткой, через узкую асфальтовую полоску, начинались знаменитые непросматриваемые и непроходимые акдарьинские тугаи. Пять секунд понадобилось сбитому с ног оперативнику, чтобы вскочить с земли и подбежать к решетчатым воротам, — эти пять секунд и спасли Сагину жизнь. Запоздалые хлопки пистолетных выстрелов только подстегнули его бег.

Акдарья и на этот раз выручила своего одичалого сына.

21

Через четыре часа из густой щетины береговых тугаев, напротив Волчьего острова, выглянуло воспаленное, настороженное лицо. Обычного пешего хода сюда было около двух часов, но Володька долго петлял по хитрой сети арыков, проток и камышей. Он запутывал след на тот вероятный случай, если опомнившиеся «опера» кинулись бы за ним с собакой. Всяко может быть. Лопухнулись раз, так это еще не значит, что будут и дальше. Береженого бог бережет. И Володька сделал не одну заячью петлю и выверт, прежде чем осмелился подобраться к заветному месту. Глаза его беспокойно ощупали окрестности реки.

Послеобеденная жара набрала полную силу. Казалось, самый воздух расплавился. Легкое, прозрачное марево дрожало над рекой, чуть колыхались, расплываясь в перегретом воздухе, низкие песчаные оконечности заросшего дикой джидой и камышами Волчьего острова.

Остров протянулся по реке на добрый километр. Верхний его конец, начинаясь пологой песчаной косой, через две сотни метров круто взмывал к небу. Тут, на песчаных буграх, росли, кроме джиды, несколько карагачей и хилых акаций, бог весть когда и кем посаженные. За ними шел почти сплошной, без просветов тугай, состоящий из густо переплетенных зарослей камыша, солодки, можжевельника, колючек и той же джиды. Нижний конец острова полого уходил в светлую акдарьинскую воду. За ним-то как раз и начиналась знаменитая глубиной и рыбою Киярская яма.

Место было самое дикое. На острове обитали шакалы, а во времена незапамятные жил выводок волков, давших острову угрожающее название. Прошло время, волков перевели, но шакалы на острове еще водились.

Володька настороженно прислушался. Пара крякв поднялась с плеса за островом и со свистом прошла над Володькиной головой. Селезень резал воздух, косо завалив одно крыло, утка шла следом идеальной спаркой. На той стороне вовсю заливались лягушки.

Сагин до рези в глазах вглядался в свое предполагаемое убежище. Исцарапанная колючками рука намертво сжала цевье бесполезной винтовки. Если считать напрямик через главное русло Акдарьи, то до острова была какая-то сотня метров. Володька с хлюпом выдохнул воздух. Вокруг него стояло нерушимое спокойствие.

Давай! — приказал он себе.

Володька перемахнул русло в считанные минуты. До острова он добрался уже безоружным. Сагин и сам не понял, как винтовка выскользнула из руки. Он достиг островных тугаев одним прыжком. Верхушки камышей на мгновение качнулись и снова замерли. Сагин углубился в заросли.

Хлюпали полные воды туфли, шуршал под ногами раскаленный песок, с мокрой одежды стекала вода, мгновенно выпиваемая солнцем, колючие ветки царапали руки и лезли в глаза, Сагин ни на что не обращал внимания. Скорее, скорее! — он торопился к хорошо известному ему заветному месту.

Крупная черная ящерица бросилась из-под ног. У Сагина на миг остановилось сердце. Он поднес было ладонь к побледневшим губам, но в следующую секунду мотнул головой и упрямо пошел вперед, продираясь сквозь густые колючие заросли.

Впереди засинел просвет. Володька отодвинул лезущую в лицо низкую ветку, шагнул вперед и огляделся.

Да, это было то самое место. Он стоял на краю маленькой песчаной проплешины. На другом краю голого островка торчал хилый стволик полузасохшего карагача.

Володька повел глазами налево от дерева. Там, разросшись в рост человека, высилась огромная камышовая кочка, рядом с ней — чуть поменьше размером. Володька подошел к кочкам и устало опустился на горячий песок. От одежды шел пар. Хорошо было бы хоть немного передохнуть. Он прислонился спиной к большой кочке и закрыл воспаленные глаза.

Сидел сейчас Сагин не просто на рыжем песке посреди Волчьего острова, сидел он, считай, на собственной своей жизни. Там, внизу, на метровой песчаной глубине, прямо под мокрым Володькиным седалищем, надежно укрытое от чужих недобрых и завистливых глаз, покоилось «нечто». Это «нечто» и толкнуло сегодня Володьку в атаку. Не будь в дальнем, секретном уголке его памяти постоянной мысли о свертке, зарытом в песке Волчьего острова, Сагин попросту поднял бы вверх руки и сдался.

Володька удовлетворенно засопел. Встал.. Перед его прикрытыми усталыми глазами тихий воскресный вечер, примерно об эту же пору год назад, внимательно-ласковый Люськин взгляд. Сладкий семейный уют, вылизанная женой до блеска гостиная и небрежно брошенные Володькой на лаковую поверхность журнального столика две сиреневые пачки, оклеенные перекрестными полосками.

— Смертные мои, — объяснил тогда Сагин в ответ на молчаливый Люськин вопрос. — На самый крайняк. Случится коли, прижмут так, что в бега придется подаваться, так с ними всегда заново встану. Эти «бабки» святые. Их спрятать и забыть, где лежат.

Люська небрежно повела плечами:

— Святые так святые. Где прятать-то будем?

Голос жены звучал деловито и незаинтересованно, но какая-то неясная нотка заставила Володьку переменить первоначальное решение.

— Я сам спрячу где надо, — ответил он. — Потом скажу. Ты сейчас упакуй как следует. В пакет полиэтиленовый положи, а сверху оберни

тряпкой.— Володька кивнул на стоящую на столике, рядом с деньгами стеклянную банку с пластиковой крышкой.— Сюда заложу и зарою.

Люська обидчиво поджала губы и на секунду задумалась. Потом поднялась и пошла на кухню.

Володька устало опустился в кресло. Конечно, он на все сто доверял жене, но лучше все-таки было, чтоб Люська упаковала деньги при нем. Пять «косых» — это вам не пети-мети. На эдакой сумме и не такие люди, как Люська, ломались. Показывать жене место, где он зароет банку с деньгами, Володька решил погодить. Скажу просто — на Волчьем острове,— подумал он.— А где — покажу, мол, потом. Чтоб не обижалась.

Люська принесла из кухни разрисованный заграничными мордами пластиковый пакет и чистую тряпку. Села на диван у трюмо и, порывшись в груде коробочек, достала иголку.

— Заодно и обошью,— обратилась она к Володьке,— как посылку. Чтоб надежней было.

Володька кивнул и довольно прижмурил глаза, утопая спиной в податливом поролоне кресла. «Ох и домовитая баба,— подумал он разнеженно.— Не то, что другие. Тем все бы широм-пыром, абы как. А у моей полушка из рук не выскочит. Золото, а не жена».

Люська взяла со стола пачки двадцатипятирублевок: руки ее весело замелькали в прохладной полутьме комнаты. Забегала игла. Вправо, влево, вбок; вбок, вправо, влево, еще плотнее!

Сверточек вышел на диво аккуратен. Люська в последний раз провела по свертку ладонью, потуже натягивая материю, и смахнула со лба мелкие бисеринки пота.

— Чего это тебя так разжарило? — удивился Володька.— Кондиционер же вовсю пашет, аж знобко, а ты в поту. Не заболела ли случаем?

Жена слабо улыбнулась и отрицательно покачала головой. Взяла со стола стеклянную банку и, высоко подняв над головой, бросила пакет внутрь.

— Гляди сам, Фома неверный,— со смехом сказала она, защелкивая тугую крышку.— А то как бы не обжулили тебя на пятерку.

Сагин усмехнулся. Жена явно демонстрировала обиду.

— Я «бабки» эти на Волчьем острове притырю,— сказал он примирительно.— Есть там одно надежное местечко. Потом съездим — покажу.

— Больно нужно! — отозвалась Люська, вздернув нос.— Делать мне, что ли, нечего, чтоб по твоим островам шататься? Мне без интересу.

Володька взял банку и, потоптавшись у порога, вышел. Он чувствовал некоторую свою виноватость. Все ж таки своя, законная баба. Неловко получилось. Вроде как бы не доверял ей.

Сережки куплю,— решил он.— Мне для Люськи денег не жалко. А только эти — кровные. А ну как прижмет под горло? Ничего. Подуется, да забудет. Ей и так выше головы.— Сагин почесал в затылке.— Теперь, считай, неделю вместе спать не допустит. Будет форс давить. Наказывать. Ладно,— решил он,— пока и сам лезть не буду, вот куплю сережки и тогда...— Володька усмехнулся.— Бабы, они и есть бабы. Что с них взять?

...Затрещал над самым ухом сорокопут, и Сагин проснулся. Дикими глазами он огляделся вокруг. Заснул?! Сколько же он спал? Володька глянул на часы. Часы стояли. Одежда высохла. Солнце клонилось к закату. Вот это кемарнул,— испуганно подумал Володька.— Часа три оторвал, не меньше. Ну и дурак. Бери, кто хочет, голыми руками. Видишь ли, начальник ОСВОДа отдохнуть устроился. Все равно, как дома на диване. Да,— огорченно вздохнул он,— нет у меня больше ни дома, ни дивана, и, пожалуй, долго еще не будет.

Пока он дрых, как последний цуцик, время работало против Володьки. Почти полдня прошло с той минуты, как во двор его конторы зашли двое плечистых ребят в штатском. Громоздкий маховик, конечно, уже был раскручен.

Володька представил себе, как трещат телетайпы, передавая во все концы страны мельчайшие подробности и сведения о Сагине. Как заливаются телефонные звонки в прокуренных милицейских кабинетах и опорных пунктах охраны порядка, как патрульные «газики», шныряя по улицам, то и дело рапортуют невидимому начальству, что, мол, нет, не наткнулись на убийцу и побегушника Сагина, как растягиваются по всей стране огромные крылья заведенного на него частого бредня всесоюзного розыска. Представил, и холодный пот прошиб раскаленную солнцем и думами Володькину голову. Володька с ужасом ощутил всю страшную безысходность своего положения. Руки его затряслись.

— Ничего, ничего,— пробормотал он, сглатывая подступивший к горлу тошнотворный комок.— И «менты» люди. И они не без дырок в головах. Кабы всех сразу ловили, так сами бы давно без работы остались. Ничего. Самое главное, деньги есть. Выкручусь. Другое дело, если бы голяк за душой. Тогда на первом шагу сцапают. Да и куда шагнешь? Нищему весь мир враг. А так отсижусь годок-другой в укромном местечке, все, глядишь, и притихнет. Они ведь только первую неделю шибко ловят, а дальше уж не те сети в ход идут. Дальше ячея покрупнее, можно и проскользнуть. Потом построю новые бумаги, ну а там видно будет...

Покамест дальше первоначального укрыва от сыскарей Володькины мечты не заходили. Этого бы не сглазить!

Он поднялся, сунул руку в середину камышовой кочки и вынул короткую саперную лопатку. Ручка была вычищена дождями и солнцем добела, лезвие изрядно поржавело. Володька довольно хмыкнул. Все шло, как и было задумано еще почитай год назад. Он немного успокоился. Хорошо, видно, все же варила малограмотная сагинская голова.

Песок легко поддавался лопате. Тихо шепча про себя что-то успокоительное, Володька отгребал его в сторону. Вот металл звонко чиркнул по стеклу, и сердце Сагина радостно подпрыгнуло: есть!

Через минуту заветная банка была у него в руках. Володька быстро сдернул крышку. От свертка внутри пахнуло затхлостью. Володька вытащил пакет, оглядел его и совсем успокоился. Он узнал даже Люськины перекрестные стежки на тряпке.

Теплое чувство к жене поднялось в его душе. Постаралась. Как знала, что придет проклятое времечко, когда ее Володьку будут гонять по свету, как бешеную собаку. Считай, спасла. Как она там сейчас? Чай, грызут ее «менты», вдоль и поперек прессуют и давят — мол, отдай мужика, а не то и тебе каюк. Да только нет, не на такую нарвались, Володькина баба мужа не продаст за дешевый «ментовский» посул. Ничего, придет времечко, вызволю я тебя из чужих когтей. Еще поживем мы с тобой, женушка, помилуемся на широкой постельке. Володька твой и в воде не тонет, и в огне не горит. Свою линию в жизни все равно выправлю. Не горюй, Люська, еще свидимся.

Затрещали под пальцами гнилые, сопревшие нитки. Володька быстро сдернул тряпку с цветастого пластикового пакета, развернул ухоронку, полез внутрь и достал из самых недр своего клада плоскую картонную коробку одеколона «Сирень». Несколько мгновений, ничего не понимая, Володька тупо смотрел на коробку.

— А деньги где? — машинально пробормотал он.

Наконец пальцы Сагина зашевелились, верхушка коробки отлетела в сторону, и Володька потрясенно уставился на веселый желтый флакончик, торчащий из крохотной атласной постели.

— А-а-а! — полетел через секунду над островом дикий, задыхающийся вопль.— Подменила! Огра-би-ла! Про-да-ла! Люська, кур-р-рва, убью-ю-ю!!!

22

После постигшего удара Володька на время повредился в уме. Все его мыслительные способности жалко упали. Он плохо понимал, что делал весь вечер. Кажется, бродил по прибрежному окоему острова, заглядывал в воду и, пугаясь страшного, нечеловеческого лица, глядевшего на него из глубины реки, снова бросался в колючие заросли. Потом пробовал опять копать захоронку; выворотил наружу целую гору песка, но ни до чего больше не дорылся и бросил бессмысленное занятие. Было просто чудом, что его за это время не высмотрел какой-нибудь случайный рыбак.

Володька смутно помнил, что пытался рыть песок еще в двух, трех местах, потом долгие часы бесцельно гладил негнущимися пальцами шершавую картонную поверхность подсунутой Люськой жалкой подмены его сокровищ, плакал тяжелыми слезами и жаловался на горькую обиду неведомо кому, выборматывая пересохшими губами отчаянное горе.

Маленько отошел он только к сумеркам. Отчаяние, выбившее почву из-под его ног, слегка притупилось, и Володька начал туго, со скрипом осознавать свое незавидное положение.

Разом рухнули все великолепно продуманные, рассчитанные на годы вперед планы. В случае чего сразу мотануть в Казахстан, в позабытый богом и людьми отдаленный сельский район, куда-нибудь к предгорьям Алатау, само это название — Алатау — звучало, как восточная сказка, как отрицание любой официальной власти, ну были там, конечно, какие-нибудь свои местные, крохотные царьки, — уж с теми Володька всегда бы нашел общий язык, а дальше тихо-тихо купить у первого встреченного «бухарика» чистые бумаги и по возможности слегка изменив внешность, отсидеться пару лет в сторожах копеечного колхозного склада или махануть в другие широты и раствориться там в серой массе вербованных на далекий северный лесоповал сезонников. Да мало ли дорог беглому человеку в такой агромадной махине, как родная страна? Республики, области, края, районы, сам черт не разберется в этом административном винегрете. И везде процветают свои особые порядки, законы и обычаи. Плевое дело затеряться маленькому человечку в таком бурлящем людском котле...

Словно белки, бегающие по кругу, Володькины мысли все возвращались к деньгам. Ведь они были главным условием спасения. Деньги решали все. Украв деньги, больше чем жизнь отняла жена у Володьки: она отняла надежду.

Выдержать удар такой разрушительной силы и не сломаться окончательно помог Володьке никогда не покидавший его инстинкт жизни. Много было опасных рифов и коварных водоворотов в предыдущем плавании, и все их прошел Сагин благополучно. Вот и сейчас никак не верилось ему, что наступило время подвести окончательный расчет.

— Нет, — пробормотал он, стиснув зубы, — нет, не дамся!

Сильно пошатнулся Володька, смертно пошатнулся, но устоял.

23

В час между волком и собакой Володька проснулся. Словно бы кто-то стоявший на стреме внутри Сагина, толкнул под ребра: пора!

А и сон был, какой там сон, слезы, а не сон. Судорожные провалы в мозгу, вспышки дикого страха, бесконечный и мучительный бег от беспощадных преследователей, пульсирующие короткие искры слов, словно бы выкрикнутых на предсмертном выдохе:

— Не дамся!..

Володька утер ослабевшей рукой холодную испарину, густо высыпавшую на лбу, и настороженно огляделся.

Серые тени окружающих его контуров и предметов мира проступали с каждой минутой все резче и ясней. Словно на проявляемой фотографии, из полутьмы появлялись густые ветви низкорослого можжевельника, обступившего со всех сторон Володькино лежбище. Далеко за ними заколыхалась, постепенно приобретая зримые очертания, темная полоса воды. Легкий парок плыл от нее к серому осветляющемуся небу. В просвете высоких камышей Володька различал длинную песчаную косу, на которую он выбрался из реки этой ночью. Таяла легкая ночная прохлада. Песок под Володькой почти остыл.

Страшное внутреннее напряжение, не покидавшее Сагина вторые сутки, словно бы несколько поутихло. Он вяло отмахнулся от назойливого комара. «Вот так бы и от «ментов», — невольно подумалось ему.

Володька поднял глаза к небу. Жарынь сегодня будет — от и до. Через пару часов не продохнешь.

Чувство нестерпимого одиночества, оторванности от жизни охватило Сагина. Он провел ладонью по подбородку. Двухдневная щетина затрещала под пальцами. «С такой рожей куда сунешься? — тоскливо подумал Володька. — Сейчас видно, что беглый. Да и куда бежать, кто меня где ждет? Одни «опера» и караулят».

— Ой, Люська, Люська, — судорожно всхлипнул он, — что ж ты, дура, со мной содеяла? Не для тебя ли всю жизнь старался? А ты что?! Руки-ноги оторвала.

Володька застонал.

— Ой, женушка моя! Я ли тебя не ласкал, не холил? Я ли тебя с головы до пяток не облизывал? За что ж ты меня так? Мало тебе оказалось того, что есть? Всего мало? И дома мало, и машины мало, и сберкнижки мало, и мебели, и барахла, — последнее забрала. Жизнь ведь свою упрятал я, а не пять «кусков», жизнь, Люська, жизнь! А ты ее на моих слепых глазах утащила. Что ж мне теперь делать остается, Люська, мертвому-то? Ну, скажи же мне, иу отве-е-еть?..

Володька упал лицом в остывший песок и со стоном поехал головой вперед, словно пытаясь прободать лбом надсмеявшуюся над ним землю. Плечи его обмякли.

...Потекло время.

Внезапно Сагин оторвал от земли чугунную голову. В плавающей, серой тишине произошло какое-то непонятное изменение. Володька еще не успел понять, что его насторожило, но уж дыбом встали почуявшие неведомую опасность рыжие густые волосы на его загривке, мощная короткая шея ушла в плечи, а маленькие глазки быстро забегали по сторонам, ощупывая окрестности.

Издалека по-над водой шел тихий, невнятный звук. В следующее мгновение Володька узнал его. Моторка. И вроде не одна.

Еще через минуту он увидел на воде, примерно в километре выше острова, несколько черных, движущихся пятен.

Сагин кинулся вперед, раздвинул ветки.

— Одна, две, три, четыре... Мой глиссер!

Тут он все понял. Рука его дрогнула, ветка вырвалась из ватных пальцев и размашисто закачалась перед лицом. Значит, не просто продала, а со всеми потрохами! Одна только Люська могла указать, где он скрывается. Только она знала, что смертный побегушечный маршрут непременно приведет его сюда, на Волчий остров, к литровой стеклянной банке из-под огурцов с глупой картонной коробочкой внутри.

И вот теперь наведенные ею «оперушники» заводили крылья жестокой облавы на потаенную сагинскую отлежку. Сама смерть глянула на него своими жестяными глазами.

— Не хочу! — замотал головой Володька. — Не дамся! — Он метнулся было назад, но тут же остановился. — Стой, куда?!

В трех сотнях шагов позади Сагина Волчий остров закруглялся тупым, широким клином песка. За клином, в пяти метрах от косы, шла уже саженная глубина, начало Киярской ямы, протянувшей свои десятиметровые толщи воды на добрых три километра вниз по реке.

Слева Волчий остров был отделен от материка узкой протокой с быстрой, шумной водой. Прямо за протокой начинались бескрайние хлопковые поля. Можно было перемахнуть протоку за считанные минуты, но место на той стороне было голым, как плешь, хлопок поднялся только на ладонь от земли, и соваться в протоку было дело дохлое.

Справа остров огибало основное русло Акдарьи, стометровой ширины вода с ленивым, почти невидным течением. Главное русло Сагин одолел бы за две минуты. Вынырнул бы из островных кустов, маханул в воду, рванул что есть силы поперек реки, и ты уж там, на другом, спасительном берегу в сплошных тугаях, протянувшихся вдоль реки на километры, те же камыши, что на острове, те же переплетения можжевельника, колючек, саксаула и кривых карагачей — ищи ветра в поле.

Но знали службу «опера», чуяли, куда он может кинуться. По главному руслу и шли сейчас их моторки. Шли ходко, напористо, еще минута, другая, и они поравняются с Володькиной залежкой.

Володька снова заметался на месте. Даже если нырнуть от самого берега, то все равно сотню метров под водой не одолеешь, а высунешься взять воздух — и вот он ты, как арбуз на подносе, отовсюду и всем виден. Назад? На концевую косу? Где сливаются протока и главная вода и начинается Киярская яма? Ширина там чуть ли не километр, куда денешься?

Не успеешь отмахать и половины, как погоня будет рядом. Бери голыми руками. Эх, черт! Да куда же?!

Пока он метался без толку на своем лысом песчаном пятачке, протекли решающие минуты, в которые, казалось, еще можно было отыскать спасительное решение.

Первая моторка ткнулась острым носом в верхнюю оконечность Волчьего острова. Вторая вошла в протоку, еще одна пошла вниз. Бывший Володькин глиссер птицей пролетел по Акдарье и, резко сбавив ход, причалил к нижней оконечности острова.

Володька, до хруста вытянув шею, следил за облавой с высокого песчаного бугра. Из глиссера на косу выпрыгнули два милиционера, еще один остался сидеть за рулем. С верхней оконечности донесся шум. Володька испуганно обернулся. К острову причалили еще две лодки. Из них, поблескивая оружием, вылезали люди. Через минуту на косе, куда приткнулась первая лодка, стояло несколько милиционеров. Рядом с одним из них — Володька невольно облизал разом пересохшие губы — маячила крупная овчарка. Во рту у Сагина стало горько.

«Кобелем травить будут, — мелькнуло в голове, — что зайца. Худо дело. От кобеля не убежишь».

Володька стал медленно подаваться назад. Через минуту он опять стоял на своей секретной полянке. Преследователей было видно и отсюда.

Один из стоявших на косе милиционеров поднес к губам микрофон переносного громкоговорителя.

— Слушай нас, Сагин, — загрохотало из раструба, отдаваясь ударами грома в Володькином мозгу. — Мы точно знаем, что ты здесь, на Волчьем острове. Весь остров окружен, и на воде наши лодки. Деваться тебе некуда. Не валяй дурака, выходи сам. Оформим как явку с повинной. Это единственная твоя возможность спасти жизнь. Не выйдешь, прочешем остров с собакой. Тут спрятаться негде.

Микрофон замолчал. Молчал и Володька. Он явственно видел, как возбужденная собака яростно рвет короткий поводок. Проводник, как видно, только и ждал команды отцепить пса.

Володька до рези в глазах всматривался в облаву, стоящую как бы в некоторой нерешительности. Чего же они все-таки ждут? Чего тянут? Ведь в руках у них автоматы. Зачем им уговаривать сдаться безоружного Сагина? Приходи и бери!

Вот снова загрохотало:

— Вздумаешь сопротивляться или там стрельнуть в кого, так знай, тебе же хуже будет. Церемониться не станем, у нас приказ: при попытке вооруженного сопротивления убить на месте! Так что лучше не дури, выходи сам.

Володька сглотнул вязкую слюну. «Так вон оно в чем дело. Боятся, что ушибу кого. Не любят, видно. Привыкли сами всех ушибать. А чего вдруг насчет стрельбы? Стрельнуть-то как раз нечем. А-а-а! — сообразил Сагин. — Это они опасаются за ту «тозовку», что я утопил. Не знают, что винтовка в реке и что патронов к ней все равно не было. Трусят, чтоб палить не начал. Ну это конечно, кому охота под дурную пулю лезть? А то бы враз кинулись. Вот оно что!..»

Перед ним словно забрезжила неясная надежда на спасение. И не то чтобы на спасение, а просто, может, найдется какой-то пока неведомый Володьке ход, который ведь должен быть, существовать где-то в его беспощадной судьбе. Ведь нельзя же было довести его до полного краха, за которым уже все — конец, провал, смерть!

«До ночи бы как-то протянуть, до ночи, — взмолился Володька. — Там уже пусть хоть с тыщей собак гоняют, ночь не выдаст, за ночь я далеко отсюда буду. Эх, надо бы сразу когти рвануть, черт с ними, с деньгами, жизнь дороже любых денег!»

Милиционеры еще постояли, переговариваясь, потом, явно нехотя, начали растягиваться в цепь. Микрофон опять взвыл на весь остров:

— Сагин, выходи, в последний раз говорю! Спасай свою жизнь! Другой у тебя не будет!

Володьку забила мелкая дрожь.

На косе послышалась резкая команда. Заблестело оружие, цепь милиционеров двинулась вперед. Первый же ее шаг словно сорвал со спускового крючка пружину Володькиного молчания. Он не успел сам сообразить, что делает, как хриплый его голос прорезал напряженную тишину.

— Стойте, гады! Постреляю всех!

Дальнейшее произошло в мгновение ока. Цепь резко остановилась, словно наткнувшись на невидимое препятствие. Милиционеры пригнулись к земле и выбросили вперед автоматные стволы. Маленький, худощавый проводник овчарки, быстро наклонился к собаке и отстегнул карабинчик ошейника. Последовала зловещая команда: — Фас! — И крупный серый зверь огромными прыжками устремился в глубь зарослей.

Володька невольно подался назад. «Бежать!» — мелькнула испуганная мысль.

Страшным усилием воли Сагин принудил себя остаться на месте. Любому дураку было ясно, чем закончится состязание в беге с тренированным кобелем.

Володька быстро скинул с плеч измятый полотняный кителишко с осводовскими погончиками и обмотал им левую руку. Часто и прерывисто вздымалась тельняшка на его груди.

Не дамся! — пульсировала в виске одна мысль.

Володька окинул взглядом пространство перед собой. Маленькая песчаная полянка, место его разрушенной мечты, теперь стала ареной борьбы, ставкой в которой была Володькина жизнь.

Черт! — Сагин метнулся к краю полянки и подхватил брошенную им саперную лопатку.

Когда Володька разогнулся, овчарка уже была в пяти метрах от него. При виде Сагина серая с черными подпалинами шерсть разом вздыбилась на кобеле. Красные от ярости глаза, казалось, рвали Володьку в клочья. Зловеще хрипя, пес кинулся на Сагина.

Володька, пригнувшись и выставив вперед обмотанную кителем руку, рванулся навстречу овчарке. Прыжки их слились в одно неразличимое, молниеносное движение. Острые желтые клыки сомкнулись на Володькином предплечье. Несколько секунд шла отчаянная борьба в воздухе, потом человек и собака упали на прохладный песок. Клыки овчарки пробили Володькину руку насквозь. Злобно рыча, разъяренный пес бешено дергал головой, стремясь вырвать кус Володькиного мяса. Сагин отчаянно пытался оплести овчарку ногами и прижать к песку. Несколько секунд они катались по земле. Собачьи когти в кровь изодрали Володькино лицо и превратили в лохмотья тельняшку на его груди.

Минуту борьба продолжалась безуспешно, но наконец человек пересилил животное. С натужным стоном Володька подмял кобеля под себя, накрыл мускулистое, хрипящее горло круглой ручкой лопаты и, резко хекнув, навалился на нее.

Под буковой точеной палкой сухо хрустнули и сломались шейные позвонки. Клыки пса, мертво зажавшие Володькину руку, внезапно ослабли. Не веря в победу, Сагин еще раз с силой налег на черенок. Под ним в конвульсиях билось горячее, сильное тело.

Наконец, с трудом вырвав руку из нежелавших размыкаться стальных челюстей, Володька поднялся с песка. Он тяжело дышал. Резкими толчками билась вена на виске. Окровавленное лицо покрывали глубокие царапины и ссадины, тельняшка обвисла клочьями.

— Значит, так. Значит, кобелем травить, — бессмысленно и жалко повторял Сагин. — У-у-у, «ментовские» гады! Значит, кобелем...

Впереди, за кустами, зашуршал песок. Володька кинулся к просвету в ветвях. Цепь загонщиков приближалась к его убежищу. В десяти шагах от Сагина продирался сквозь густые колючие заросли здоровенный милицейский сержант с угрюмым лицом. В руке его ходуном ходил укороченный десантный автомат.

Володька болезненно охнул и побежал назад, ничего не видя перед собой. В руке его была зажата саперная лопатка.

Не да-а-мся! — нарастал внутри Сагина спазматический крик.

Володька вылетел на нижнюю оконечность Волчьего острова, когда сидевший в глиссере старшина, заскучав от безделья, начал доставать сигарету. Сигарета никак не хотела вылезать из плотной пачки. Двое вооруженных пистолетами милиционеров, сидевших рядком на алюминиевом борту, лениво переговаривались. Они никак не ожидали, что матерый,

травленый зверь среди бела дня выскочит прямо на них. В первую секунду все оцепенели.

Вид у Володьки, изодранного колючими кустами, истерзанного собачьими когтями, ошалевшего от погони, окровавленного, с забытой в руке ржавой лопатой, был страшен. Он на мгновение остановился, глядя на своих преследователей безумными глазами, дыхание хрипло вырывалось из груди, лопата вихлялась в руке, как пьяная. Потом с криком боли и отчаяния Сагин бросился на милиционеров, вздымая над головой свое единственное, жалкое оружие.

Онемевшие от неожиданности и испуга загонщики разом попадали внутрь катера. Мотор завелся с пол-оборота. Катер, пропахав левой скулой песок, рывком прыгнул в воду. Сидевший на штурвале старшина вжался в руль, второй милиционер с отчаянным лицом рвал застежку пустой кобуры, не осознавая, что оружие зажато в его руке, третий, не в силах унять прыгающего сердца, жадно хватал воздух задыхающимся ртом.

Володька с разбега кинулся в воду. Ни одной мысли не было сейчас в его обезумевшей голове, и только непрерывное мускульное усилие держало его на ногах.

Глиссер, описав на реке широкий круг, направился в Володькину сторону. Сагин успел отмахать вниз по течению всего каких-нибудь два десятка метров, как преследователи очутились рядом.

Безумный взгляд Володьки ухватил приподнятое над водой широкое, плоское днище катера со стекающими по алюминию струйками, в уши ворвался надрывный рев форсированного двигателя. В голове Сагина мелькнула страшная мысль: «Изрубят винтом! Как я того, вчерашнего!..»

Он резко повернулся и нырнул. Глаза его были широко открыты. В чуть мутноватой, желто-зеленой воде колыхалось огромное солнце, пронизывая тяжелую, ленивую толщу яркими полосами света. Прямо под Володькиными ногами круто уходил вниз темный провал. Здесь начиналась Киярская, изученная Володькой вдоль и поперек, глубоченная яма.

Разрезая воду, прямо на Сагина резво шел киль катера с бешено вращающимся винтом. За винтом тянулись сверкающие россыпи мелких серебряных пузырьков.

Володька пригнул голову и из последних сил заработал ногами и руками, стремясь уйти как можно глубже. Там, внизу, в буром колеблющемся полумраке терялось черное илистое дно ямы.

Полтора десятка крупных с темно-зелеными спинами сазанов слитой в целое плотной стайкой заскользили впереди Сагина, направляясь в глубину, и Володька рванулся следом за ними.

Не да-а-а-мм...—угасая, мелькнуло в мозгу.

...Туда, туда, к черному илистому дну, где чуть колышет тихая вода львиные гривы коряг, туда, туда, где навстречу теплому движению могучего речного потока бьют из потаенных копилок земли холодные, донные родники...

Сильва Капутикян

ЛИРИКА

★

Пускай синевою фиалки горят,
А розам — сиянье останется,
Природу с историей пусть не казнят,
И правда в сознаньи останется.
Зачем перекраивать и убивать
Гармонию почвы и дерева?
Березы на севере пусть шелестят,
А тополь наш с нами останется.

1982

★

Видит Бог, мне не песни отрава нужна
И не рана любви, не забава нужна,
Дайте мне и стране хоть немного вздохнуть,
А совсем не награда и слава нужна.

1984

★

Снова,
Опять
Даю себе слово
Сердцем остыть, душой не пылать,
Не возмущаться, не восставать.
Что мне, если бьет по полям
Град и плачет малыш несчастный?
Что мне, ежели путь непрям
И скрывается ложь под маской?
Обязал меня кто-нибудь
Ржавчину соскребать? Мне выпало
Выпрямлять искривленный путь
И спасать этот мир от гибели?
И опять,

И снова
Я даю себе слово
Не ввязываться, смолчать,
В сторону отойти, тихо жить — не тужить.

Но возможно так жить?
И зачем тогда жить?..

1976

★

Идеи чадят и дымят, но есть
Чистый огонь идей.
Идеи имеют своих святых
И блудных своих детей.
За идеи гибнут, уйдя в небеса,
Крылатые храбрецы,
Но чаще зреют плоды идей
Для приземленных людей.

1982

Отцу

Отнимали тебя у меня,
Смерть взяла, а потом столько лет
Ты опасен был, как западня,
На тебя налагали запрет.

Были отняты право и долг
Помнить имя твое и дела,
Было маленькой мне невдомек,
Что сиротство свое предала.

Смерть бессмертье ведет за собой,
Но ни в детских, ни в зрелых слезах
Ты, отец мой, как память и боль
Никогда еще не воскресал.

Ты мне жизнь и Армению дал,
И любовь к ним и к речи родной,
Но тебя за бесценный твой дар
Не прославила я ни строкой.

Отнимали тебя у меня —
Уступала... И жизнь — позади...
Покаянно и поздно моля,
Я взываю: отец мой, прости...

1985

★

Из этой зрелой поры
Гляжу, как будто сначала.
С вершины моей горы
Все мелким, ничтожным стало.

Ованес Туманян

И я достигла своей горы
И с ее вершины
Вижу,
Какая внизу толчея,
Как улыбаются, ненавидя,
Клянутся в дружбе и лгут,
Рвут из рук друг у друга славу,
Все позабывши, все отринув —
Высоту души, честь, идеи,
В горячке карабкаются на Парнас.
Себя потеряв и теряя друг друга.
И не знаю, что мне благословлять:
Годы или ленивую кровь,
Или детское сердце мое — мой добрый гений —
За то, что я полна такой ясности и такого света
И могу так мирно, так спокойно
И свысока
Глядеть вниз...

1974

Исихазты

Возле моря скалы известковые,
В них пещеры глубоки и часты.
Говорят, в глухом средневековии
Жили в них монахи-исихазты.

«Исихазт» — по-гречески — «молчание»,
И в безмерном гневе и в печали,
Уходя в себя, в свое отчаянье,
Мрачные отшельники молчали.

Крохотная секта с горькой верою
Обернулась в наши дни несчастьем:
Стань хоть вся Атлантика пещерою,
В ней не поместиться исихазтам.

1981
Варна



Если тайную сеть сплету,
Никто не узнает, одна буду знать.
Если солгу, предам, украду,
Никто не узнает, одна буду знать.

Если усопшего перевру,
Именем его поклянусь,
Он, дважды глухой, иа свою беду
О том не узнает, одна буду знать.

1986

★

Не печалься, что морщинки
Появились тут и там,
Исподволь берет природа
Все, что раздарила нам.
Не ропщи, что увядает
Жизни цвет во цвете лет.
Не приходит увяданье
Лишь к искусственным цветам.

1987

★

Не прославлены нисколько
Сочиненья Диогена,
Всех интересуют только
Злоключенья Диогена,
Не сыщи он жалкой бочки,
А живи обыкновенно,
Позабыли б вне сомненья
Поученья Диогена.

1985

Вопреки геологии

Как представить,
Что шли века,
Миллионы веков, не менее,
И не существовало Армении
И армянского языка.
И Масис не слился с нашей душой,
И Севан не слился с нашей слезой,
И земля, и камень, гора и лес,
Эти шорохи, шепоты были без
Дыхания нашей печали...
И за землю, судьбу любого клочка,
Тайной дрожью мы не дрожали;
Боли не было никакой
Да и радости никакой...
Лишь текли и текли века.

Не бывало поры такой,
Не бывало навериякa...

1974

★

Боже, ты замесил меня из любви
И отправил в мир, лишенный любви.

Маро Маркарян

Из глины людской замесил ты меня,
Из гнева и боли, любви и огня,
Из счастья и горя, из правды и лжи,
Из духа борьбы, из испуга души,
Из мощи надежды, из муки обид,
Из крови мятежной, что в жилах гудит,
И кинул сюда, где любовью зажглись,
Меия опалив, Арагац и Масис...

1981

★

Когда чей-то мальчик рыдает,
Мне чудится: внук мой рыдает,
Когда кто-нибудь умирает,
Он будто меня упрекает...
Когда загубил кто-то душу,
Мне чудится: я виновата —
Нарушила договор с Богом
И кто-то за это страдает.

1985

★

Сотвори добро и в воду брось.

(Народное изречение)

Сотвори добро и в воду брось,
Сотвори, не мысля, что авось
Воздадут тебе за то добро, —
В речку брось, не более того;
В море унесет его река,
Чтобы море подсластить слегка,
Чтобы подымался добрый пар,
Небесам неся свой щедрый дар,
Чтобы небо полнилось добром
И добро, чтоб, изойдя дождем,
На поля и души пролилось...
Сотвори добро и в воду брось.

1982

Перевел с армянского Владимир Корнилов.



Б. Л. Ванников,

генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы, трижды Герой Социалистического Труда

ЗАПИСКИ НАРКОМА

Борис Львович Ванников (1897—1962) руководил в 1939—1946 годах сначала наркоматом вооружения, потом наркоматом боеприпасов. Рукопись его воспоминаний об этом периоде работы нашей оборонной промышленности передал «Знамени» его сын Р. Б. Ванников. В 1965—1970 годах «Записки наркома» под общей редакцией и с комментариями генерал-полковника артиллерии Ф. А. Самсонова, в литературной редакции Д. В. Рубежного, предполагало выпустить издательство «Наука» (в серии «Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах»), но книга не вышла в свет. Проделанная издательством работа во многом облегчила подготовку настоящей публикации. Представляем читателям и написанную в 1968 году для названной книги вступительную статью Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Начиная с июля 1937 года, когда я был назначен начальником артиллерии Красной Армии, мне довелось участвовать в обсуждении и решении многих вопросов, связанных с перевооружением наших войск. Тогда-то я и познакомился с Борисом Львовичем Ванниковым, в то время заместителем наркома оборонной промышленности. И с первой же беседы почувствовал, что имею дело с человеком высокой эрудиции, большим патриотом советской промышленности, знатоком производства артиллерийского вооружения.

Вскоре мне представилось немало случаев убедиться, что Борис Львович — горячий приверженец нового, передового. Он со знанием дела высказывал свое мнение и о ряде образцов иностранного артиллерийского вооружения, за развитием которого внимательно следил. Мне тоже было чем поделиться, поскольку незадолго до этого я вернулся с полей сражений республиканской Испании. Так что наши беседы оказались для обоих весьма полезными.

Установившиеся между нами хорошие деловые и дружеские отношения, откровенный обмен мнениями — все это помогало в нашем общем деле. А оно было нелегким и поэтому, естественно, далеко не всегда протекало гладко. Обсуждая те или иные вопросы, связанные с перевооружением, мы нередко спорили, но и это помогало выяснять истину и находить правильные решения. Я питал глубокое доверие к Борису Львовичу и знал, что оно было взаимным. И это тоже помогало нам, позволяло избежать многих лишних трудностей на нашем и без того тяжелом пути.

В 1939 году Борис Львович был назначен народным комиссаром вооружения. Он остался таким же, как и был, простым, доступным, замечательным руководителем.

Б. Л. Ванников хорошо понимал роль и значение тесного взаимодействия производства артиллерийского вооружения и боевой техники для Красной Армии с Главным артиллерийским управлением (ГАУ) и с его Артиллерийским комитетом — высоким и доверенным учреждением наркомата обороны, являвшимся для промышленности заказчиком. Благодаря умелой организации труда многотысячной армии рабочих, работниц, техников и инженеров планы производства новейшего добротного артиллерийского вооружения для сухопутных войск Красной Армии успешно выполнялись.

Много пришлось поработать Б. Л. Ванникову, его заместителям и помощникам, чтобы создать также необходимые условия для тесного сотрудничества руководителей заводов и военной приемки. Возникавшие время от времени неизбежные трения и конфликты между ними наркомат вооружения стремился как можно скорее устранить. Как правило, Борис Львович в подобных случаях неизменно становился на сторону военной приемки и требовал принятия такого решения, которое не наносило бы ущерба делу повышения боеспособности Красной Армии.

Во время Великой Отечественной войны Борис Львович руководил самым трудным и ответственным участком оборонной промышленности — наркоматом боеприпасов. И здесь он много работал. Возглавляемый им большой коллектив рабочих и специалистов выпускал много миллионов снарядов и мин высокого качества для разгрома гитлеровской Германии и ее вооруженных сил.

Прошли годы, и не стало среди нас талантливого наркома, крупного государственного деятеля, одаренного организатора промышленного производства, трижды Героя Социалистического Труда. Он отдал много сил и энергии созданию и производству замечательного советского вооружения и боеприпасов.

Написанные им незадолго до смерти «Записки наркома» имеют большое познавательное значение. Я присутствовал при том, как разыгрывались некоторые события, о которых пишет автор «Записок», и мне всегда нравилось, что Борис Львович смело высказывал свое мнение, настойчиво добивался принятия наиболее целесообразных решений.

В своих воспоминаниях Б. Л. Ванников приводит много неизвестных читателю интересных исторических фактов, показывает обстановку, в которой решались важные вопросы оснащения Красной Армии первоклассным вооружением и боевой техникой, правдиво рассказывает о встречах с И. В. Сталиным и другими руководителями партии и правительства. К сожалению, Борис Львович не успел дополнить свои записки воспоминаниями о развитии промышленности боеприпасов, которой он руководил всю Великую Отечественную войну.

«Записки наркома» содержат много ценных и полезных сведений.

Некоторые высказывания автора следует, однако, уточнить и дополнить, так как кое-какие детали могли быть неизвестны Б. Л. Ванникову или забыты им.

Например, вопрос о пушке калибра 107 миллиметров имеет свою историю.

Многие военачальники Красной Армии положительно оценивали 122-мм пушку образца 1931—1937 годов, имевшую хорошую дальность стрельбы и достаточно мощный снаряд для решения боевых задач в масштабе стрелкового корпуса — нанесения ударов по вражеским батареям, резервам, штабам, командным пунктам, узлам связи и т. п. В то же время отмечали ее серьезный недостаток — большой вес в боевом и походном положении, что, конечно, уменьшало ее маневренность.

Хотя большим положительным качеством этой пушки была ее способность стрелять прямой наводкой по вражеским танкам на значительную дальность, однако неповоротливость и невысокая скорострельность данного орудия отрицательно сказывались при стрельбе на средние и ближние дальности. Орудийному расчету лишь с большим трудом удавалось выполнять свои обязанности в условиях массовых и повторных атак вражеских танков, а также при частых сменах огневых позиций.

Не случайно поэтому в 1938 году на одном из советских артиллерийских полигонов испытывалось 105-мм орудие чехословацкой фирмы «Шкода». Имелось в виду в первую очередь выявить его годность для выполнения боевых задач в качестве корпусной артиллерии. Орудие не выдержало полигонных испытаний.

Вот тогда-то было принято решение спроектировать орудие 107-мм, которое затем начали производить на одном из южных заводов. До войны успели выпустить примерно сто таких пушек. Потом завод был эвакуирован, и на этом производство орудий калибра 107 миллиметров прекратилось.

Во время войны вновь пришлось обратиться к поискам орудия 100-мм для корпусной артиллерии, и тогда уже обоснованно предусматривалось вооружить им советскую противотанковую артиллерию для борьбы с вражескими толстобронными танками. Такое орудие спроектировал известный артиллерийский конструктор В. Г. Грабин, и оно было принято на вооружение и передано в массовое производство.

Несколько замечаний по поводу высказывания Б. Л. Ванникова о том, что в предвоенные годы ни военным командованием, ни руководителями артиллерийской промышленности не были по достоинству оценены минометы.

В 1937 году Артиллерийский комитет ГАУ развернул большую научно-исследовательскую работу в области минометного вооружения. В ней участвовали многие крупные ученые-баллистики, теоретики и практики-артиллеристы, опытные конструкторы и специалисты промышленности. Были намечены пути развития минометного вооружения и впервые отработана стройная гамма минометов разных калибров. В начале 1938 года система минометного вооружения с тактико-техническими требованиями по каждому калибру была включена в план оснащения Красной Армии боевой техникой.

Уже во время советско-финляндской войны наши войска использовали в боях минометы калибров 50 и 82 миллиметра. Они, а также минометы 120-мм и 160-мм нашли широкое боевое применение в Великую Отечественную войну.

Надо сказать, что конструкторские коллективы и заводы с большим трудом добились хорошей баллистики, нужной дальности стрельбы, вполне удовлетворительного рассеивания и минимального веса миномета. Особенно сложным оказалось конструирование и производство мины. Советские люди преодолели все эти трудности, и Красная Армия получила минометное вооружение, сыгравшее большую роль в сражениях Великой Отечественной войны. Поистине огромный вклад внесли советские минометчики в дело разгрома фашистской Германии и ее вооруженных сил.

И, наконец, о сравнительных испытаниях 82-мм миномета конструкции Б. И. Шавырина и 81-мм миномета чехословацкого производства. Автор «Записок наркома» говорит: они «проводились не просто тщательно, но, я бы сказал, и придирчиво» по отношению к нашему миномету. Мне тоже довелось принимать участие в этих испытаниях. Они были проведены организованно, и, действительно, наш миномет оказался во всех отношениях лучшим.

Внося эти уточнения, я хотел бы подчеркнуть, что они нисколько не снижают значения «Записок наркома». Это очень полезная и интересная книга, из которой читатель узнает много нового о работе советской оборонной промышленности в предвоенный период и во время Великой Отечественной войны.

Главный маршал артиллерии
Н. Н. ВОРОНОВ

* * *

События и обстановка накануне и в годы Великой Отечественной войны представляют большой интерес не только для историков и экономистов, но и для широкой советской общественности. Однако некоторые события и отдельные ситуации того периода освещены недостаточно, и поэтому объяснение их порой составляет большие трудности. В известной мере это является результатом нередко практиковавшегося тогда обсуждения и решения тех или иных важных государственных вопросов без протокольных записей. В результате освещение многих событий только по документам оказывается недостаточным, неполным.

Вот почему немаловажное значение приобретают свидетельства очевидцев обсуждения, подготовки и принятия окончательных решений по важнейшим вопросам жизни страны. К сожалению, со временем уходят люди и теряются нити, необходимые для правильного освещения исторических событий. Но пока еще живы многие, кто может и должен своею памятью оказать такую помощь во всем том, что касается периода Великой Отечественной войны и предшествовавших ей лет.

Будучи одним из таких свидетелей, а также непосредственным участником подготовки и практического выполнения важных решений того времени, касавшихся оборонной промышленности, я счел своим долгом осветить некоторые факты, представляющие, на мой взгляд, определенную историческую ценность. Конечно, я могу изложить лишь то, что запомнил или узнал от людей, которые также были свидетелями и участниками событий.

I

В первых числах июня 1941 года, за две с половиной недели до начала Великой Отечественной войны, я был отстранен с поста Наркома вооружения СССР и арестован. А спустя менее месяца после нападения гитлеровской Германии на нашу страну мне в тюремную одиночку было передано указание И. В. Сталина письменно изложить свои соображения относительно мер по развитию производства вооружения в условиях начавшихся военных действий.

Обстановка на фронте мне была неизвестна. Не имея представления о сложившемся тогда опасном положении, я допускал, что в худшем случае у наших войск могли быть небольшие местные неудачи и что поставленный передо мной вопрос носит чисто профилактический характер. Кроме того, в моем положении можно было лишь строить догадки о том, подтвердило или опровергло начало войны те ранее принятые установки в области производства вооружения, с которыми я не соглашался. Поэтому оставалось исходить из того, что они, возможно, не оказались грубыми ошибками, какими я их считал.

Конечно, составленную мною при таких обстоятельствах записку нельзя считать полноценной. Она могла быть значительно лучше, если бы я располагал нужной информацией.

Так или иначе, записка, над которой я работал несколько дней, была передана И. В. Сталину. Я увидел ее у него в руках, когда меня привезли к нему прямо из тюрьмы. Многие места оказались подчеркнутыми красным карандашом, и это показало мне, что записка была внимательно прочитана. В присутствии В. М. Молотова и Г. М. Маленкова Сталин сказал мне:

— Ваша записка — прекрасный документ для работы наркомата вооружения. Мы передадим ее для руководства наркому вооружения.

В ходе дальнейшей беседы он заметил:

— Вы во многом были правы. Мы ошиблись... А подлецы вас оклеветали...

После описанного события прошло несколько месяцев. В течение этого времени я работал сначала в наркомате вооружения, потом выполнял задания Государственного Комитета Обороны, касавшиеся производства боеприпасов к зенитным орудиям и восстановления эвакуированных в глубь страны артиллерийских заводов, а в начале февраля 1942 года был назначен наркомом боеприпасов.

С первых же месяцев войны стала как никогда ранее очевидной огромная работа, проделанная в предвоенный период в нашей промышленности вооружения. Это обстоятельство нашло отражение, в частности, в том, что группе руководителей этой промышленности летом 1942 года было присвоено звание Героев Социалистического Труда.

В связи с подготовкой Указа о награждении И. В. Сталин предложил мне, как бывшему наркому вооружения, дать характеристики директорам лучших орудийных и оружейных заводов. В списке, показанном мне Сталиным, были А. И. Быховский, Л. Р. Гонор, А. С. Елян, а также тогдашний нарком вооружения Д. Ф. Устинов и его заместитель В. Н. Новиков, ранее руководившие крупнейшими предприятиями. Это были те, под чьим руководством в предвоенный период реконструировались и увеличивались мощности главных заводов промышленности вооружения, осваивались образцы артиллерийских систем и стрелкового оружия для Красной Армии. Глубоко ценя их заслуги, известные мне по совместной довоенной работе, я сказал, что, по моему мнению, каждый из них заслужил почетное звание Героя Социалистического Труда. Поскольку же в списке было и мое имя, то я позволил себе замечание, что меня еще рано награждать за работу в наркомате боеприпасов, куда я был назначен совсем недавно. На это И. В. Сталин ответил:

— Вам присваивается звание Героя Социалистического Труда как оценка вашего руководства промышленностью вооружения.

8 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР «за исключительные заслуги перед государством в деле организации производства, освоения новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводами...» вышеупомянутым товарищам и мне в их числе было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Я пишу обо всем этом не из тщеславия, хотя, разумеется, как и многие другие, горжусь высокой наградой. Хочу, однако, подчеркнуть, что для меня она означала высокую оценку довоенной работы замечательного, самоотверженного и высококвалифицированного коллектива промышленности вооружения, который, кстати сказать, в дальнейшем, во время войны, с честью справился с еще более сложными и ответственными задачами.

О деятельности этого коллектива в довоенный период можно судить и по резолюции XVIII партийной конференции, состоявшейся в феврале 1941 года, меньше чем за 4 месяца до начала войны, где отмечено: «Темпы роста продукции оборонных промышленных наркоматов в 1940 году были значительно выше темпов роста продукции всей промышленности... В результате успехов освоения новой техники и роста оборонной промышленности значительно повысилась техническая оснащенность Красной Армии и Военно-Морского Флота новейшими видами и типами современного вооружения».

Конечно, неправильно было бы этой резолюцией прикрывать крупные ошибки, имевшиеся в предвоенной работе промышленности вооружения. Напротив, следует признать, что тогда, в годы наибольшей интенсивности в работе по перевооружению Красной Армии новой боевой техникой, принимали немало ошибочных решений. Более того, о некоторых из них ни в коем случае нельзя забывать. Только при этом условии и ошибки послужат на пользу, ибо их можно будет не повторять. Ошибки — тот же опыт, который надо изучать, как изучают историю.

Практика, однако, показывает, что такому изучению не всегда уделяется достаточное внимание. Нередко новый руководитель начинает свою деятельность не с ознакомления с опытом прошлого, а с безапелляционных поучений. Они тем более опасны, что нередко принимаются безоговорочно; мол, раз начальник — значит, все знает лучше своих подчиненных и предшественников.

Опыт — это бесценное сокровище, огромная сумма практических знаний, накопленных людьми. Он позволяет не тратить усилий, подчас весьма дорогостоящих, на «открытие» уже открытых «Америк». Наконец, только при таком понимании значения опыта можно по-настоящему дорожить кадрами, беречь их, не допускать в отношении людей тех трагических ошибок, которые имели место в прошлом.

Не могу не вспомнить о таких ошибках и в отношении кадров нашей оборонной промышленности.

Общеизвестно, что боевая техника, созданная в мирное время, ее качество окончательную, подлинную проверку проходят во время войны, на полях сражений. Но в то же время нужно иметь в виду, что высокое качество оружия обеспечивается тщательной отработкой конструкции и испытанием образцов, составлением хорошей технической документации, разработкой рационального технологического процесса и организацией налаженного серийного производства.

В довоенный период, о котором идет речь, конструкторы и производственники не выполняли полностью эти элементарные требования, ссылаясь в свое оправдание на нереальность заданных им сроков. Хотя в ряде случаев сроки устанавливали с их согласия, нельзя все же не согласиться, что спешка вносила элементы дезорганизации в работу. При явно нереальных сроках «опускались руки», притуплялось чувство ответственности. В конечном итоге бывали срывы, опоздания или невыполнение установленных тактико-технических требований (ТТТ), за что руководителей и работников заводов, наркоматов и конструкторов подвергали взысканиям.

В связи с этим отмечу еще одну особенность предвоенных лет в руководстве оборонной промышленностью. Ее шефом согласно распределению обязанностей между руководителями партии и правительства тогда был Н. А. Вознесенский, но фактически ею занимался И. В. Сталин. Это имело и положительные, и отрицательные стороны. Так, с целью повысить качество и ускорить темпы работы конструкторов, он проявлял заботу о том, чтобы их запросы немедленно и полностью удовлетворялись, и это, естественно, играло важную роль. Но некоторые конструкторы, оказавшиеся в поле зрения Сталина и уже по этой причине занявшие «видное» положение, к сожалению, подчас использовали это обстоятельство в ущерб делу.

Кроме того, поиски способов ускорить работу конструкторов не всегда шли правильным путем, а подчас и грозили привести к противоположным результатам. Так, однажды Сталин высказал мысль о том, чтобы использовать в качестве стимула награждение конструкторов «авансом», то есть по изготовлении опытного образца и до проведения приемочных испытаний. Впрочем, это предложение не было осуществлено, так как при обсуждении выяснилось, что такой путь привел бы к спешке и сопутствующему ей снижению качества отработки образцов и технической документации.

Следует отметить, что обсуждение и утверждение тех или иных видов вооружения также не всегда отличались строгой деловитостью и высоким техническим уровнем. Нередко вопросы о сроках и качестве решались не на основе учета реальных научно-технических возможностей, а путем нажима. Поддерживая такой способ, И. В. Сталин как-то по окончании одного из заседаний сказал примерно следующее:

— Конструкторы всегда оставляют для себя резерв, они не показывают полностью имеющихся возможностей; надо из них выжимать побольше.

Это было верно. Но сложность заключалась в том, что резервы, которые «придерживали» конструкторы, выявлялись не в ходе технических обсуждений, а по «интуиции», причем в целом ряде случаев принимали желаемое за возможное. Поскольку же, как правило, сроки устанавливали именно таким образом, это приводило все к той же спешке. В результате новая оборонная продукция не полностью удовлетворяла первоначально установленным тактико-техническим требованиям. Это приводило к конфликтам между конструкторами, производственниками и заказчиками, к срыву сроков и крупным непроизводительным расходам.

В такой обстановке конструкторы из «прогрессивных» становились «не заслуживающими доверия», а созданная ими конструкция объявлялась неполноценной. В дальнейшем, в процессе ее совершенствования, нередко перекрывались даже первоначально установленные ТТТ, но это уже не снимало с нее формального клейма «некондиционности».

Современное состояние науки и техники таково, что открытия и изобретения, представляющие собой решение крупных проблем в той или иной области, являются комплексными исследовательскими, расчетными творческими разработками, которые под силу лишь большому квалифицированному коллективу, действующему в тесном сотрудничестве со многими другими коллективами из соприкасающихся отраслей науки и техники. От этого не только не снижается, но и возрастает значение таланта крупных конструкторов... От главного конструктора требуется умение работать с коллективом, выдвигать перед ним и совместно решать научно-технические и конструкторские задачи и не рассчитывать только на свои силы, не сползать к кустарщине, не бояться потерять приоритет или авторство.

Вместе с тем на главного конструктора как на руководителя возлагаются и организационные задачи, представительство в различных инстанциях при решении возникающих вопросов. Наконец, бесспорно, что место советского конструктора не в стороне от политики и общественной жизни, но это, конечно, не должно отрывать его от выполнения его прямого долга — творческой работы.

К сожалению, в описываемое время выход главного конструктора на внешнее поприще деятельности сопровождался отвлечением его от выполнения прямых обязанностей. Выдвижение в нужных и ненужных случаях во всевозможные комиссии, общества, назначения на должности по совместительству и т. п. отвлекали конструкторов от творческой деятельности и переключали их на «общее» руководство.

Некоторых конструкторов и ученых увлекали внешние атрибуты успеха: высокое положение, слава. Излишние дифирамбы, бывало, портили, а случалось, что и губили хороших специалистов. Поощряемые поблажками и нетребовательностью, они привыкали к безответственности. Стремясь сохранить положение и авторитет, но оторванные от творческой деятельности, они подчас пытались возместить ее разными прожектами, казавшимися заманчивыми, но на самом деле показными, растрачивали свои силы и способности на бесполезные дела.

У американского писателя Синклера Льюиса герой романа «Эроусмит» ученый Мартин мечтает обрести «нещадную злобу ко всему показному, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной...». Он хочет быть неугомонным, «чтобы и не спал, и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы из моих наблюдений сходятся с результатами моих расчетов, или пока в смиренной радости не открою и не разоблачу свою ошибку...».

Мне кажется, что из этих слов можно было бы составить хороший девиз для каждого конструктора и ученого.

В подавляющем большинстве среди наших конструкторов и ученых были скромные и талантливые люди, не поддавшиеся соблазнам высокого положения и славы. Они преуспевали как настоящие творцы научно-технического прогресса, и их имена неизгладимо вошли в историю науки и техники, в летопись создания советского вооружения.

В работе оборонной промышленности было вместе с тем немало недостатков и упущений в организационном, хозяйственном, техническом руководстве во всех звеньях управления. Одной из главных причин этого была большая текучесть кадров, особенно административного и технического персонала. Несправедливое массовое отстранение квалифицированных работников промышленности и военно-технических управлений в центральных аппаратах и на периферии, замена их недостаточно опытными кадрами нанесли немалый ущерб оборонной индустрии и вооруженным силам в период развернутых работ по перевооружению Красной Армии.

В оборонной промышленности последствия этого смягчались тем, что сохранялась преемственность: как правило, вновь выдвинутые руководители и специалисты ранее работали в той же системе и под руководством тех людей, на замену которых их ставили. Преемственность помогала новым работникам освоиться на ответственных должностях в более короткие сроки и возлагала на них определенную долю ответственности за работу бывших руководителей. Перестраховка «критикой» прошлого не могла служить для них гарантией от последствий при

неудовлетворительных результатах на порученных им участках. Поэтому в промышленности новые руководители не прибегали к огульной дискредитации всего прошлого.

В военно-технических же управлениях при массовом отстранении руководящего состава и ответственных исполнителей на смену им выдвигались кандидатуры без учета соответствия опыта и знаний этих людей поручаемому делу и без соблюдения преемственности. Кроме того, положение новых руководителей в военно-технических организациях отличалось и тем, что на них не возлагали непосредственную ответственность за результаты деятельности промышленности по снабжению армии боевой техникой. Поэтому им представилась широкая возможность выступать с «критикой» в духе сложившейся в то время конъюнктуры. Неполадки и упущения в своей деятельности они, как правило, объясняли последствиями «вредительства» предшественников или плохой работой промышленности.

Военные заказчики имели право контролировать качество продукции, состояние производства и воздействовать санкциями, в том числе и финансовыми. Обладая такими возможностями и используя политическую конъюнктуру, неудачно подобранные руководители военно-технических управлений превращали подчас заводы и наркоматы в арену своей карьеристской деятельности в ущерб работе промышленности и снабжению армии боевой техникой.

Хотя в последние предвоенные годы кадры в промышленности несколько стабилизировались, обстановка все же оставалась ненормальной, так как неуверенность в своем положении влияла на работоспособность людей. Возникла необходимость радикальных мер, которые оградили бы работников оборонной промышленности от несправедливых нападок заказчиков, контрольных и надзорных органов.

Вначале, однако, И. В. Сталин не давал согласия на то, чтобы был внесен соответствующий проект постановления правительства, выражая сомнение в необходимости такого решения. Не кроется ли за жалобами работников промышленности на нездоровую обстановку, говорил он, желание снизить требовательность — «в ущерб государству». Иногда Сталин в ответ на жалобы говорил:

— А почему вы допускаете? Что, у вас нет власти?.. Кого вы боитесь?

Тем не менее разговоры на эту тему все же возымели действие, и однажды Сталин сказал:

— Дайте факты, и мы примем меры.

За фактами дело не стало. Именно в это время руководство Главного артиллерийского управления (ГАУ) РККА, недовольное «поведением» директора одного из орудийных заводов, командировало на это предприятие своего сотрудника. Ему прямо и недвусмысленно поручили сфабриковать «факты преступной деятельности» и передать материал в следственные органы для привлечения директора и других руководящих работников завода к судебной ответственности.

Этот посланец уже находился в пути, когда о нем было доложено в ЦК партии. Сталин высказал возмущение и дал указание подготовить соответствующий проект, по которому предусматривалось, что директора артиллерийских заводов могут быть привлечены к суду только решением Совета народных комиссаров СССР, а также были оговорены условия, упрочивающие положение и авторитет руководящих работников этих предприятий.

На другой же день И. В. Сталин сказал мне по телефону: «Мы в ЦК ознакомились с вашим письмом и предложениями, вполне с вами согласны и поддерживаем вас. Проект будет утвержден...». Вскоре были даны соответствующие указания наркомату обороны. Работники артиллерийских заводов были воодушевлены проявлением такой заботы со стороны партии и правительства, обрели уверенность. Жаль, что решение касалось только артиллерийских заводов и, несмотря на просьбы, не было распространено на другие предприятия.

II

Об артиллерии и артиллерийской промышленности И. В. Сталин, мне казалось, проявлял наибольшую заботу.

Правда, он уделял много внимания всем отраслям оборонного производства. Например, авиационной промышленностью он занимался повседневно. Руководивший тогда этой отраслью А. И. Шахурин бывал у него чаще всех других наркомов, можно сказать, почти каждый день. Сталин изучал ежедневные сводки выпуска самолетов и авиационных двигателей, требуя объяснений и принятия мер в каждом случае отклонения от графика, подробно разбирал вопросы, связанные с созданием новых самолетов и развитием авиационной промышленности. То же самое можно сказать о его участии в рассмотрении вопросов работы танковой промышленности и военного судостроения.

Но при всем этом в отношении Сталина к артиллерии и артиллерийской промышленности чувствовалась особая симпатия. Возможно, что это было связано с его воспоминаниями о своей прошлой военной деятельности, когда только артиллерия решала исход боев, а все другие виды техники не достигли еще столь высокой степени развития, какое они получили перед второй мировой войной. И. В. Сталин выразил свое отношение к артиллерии, повторив крылатую фразу: «Артиллерия — бог войны».

В период между двумя мировыми войнами артиллерийские системы подверглись коренному видоизменению и совершенствованию на основе новейших научно-технических достижений. Новые типы этого вооружения были разработаны и апробированы в СССР задолго до начала Великой Отечественной войны и в основном оставались неизменными до окончательного разгрома противника. В целом система артиллерийского вооружения Красной Армии в течение всей войны не испытывала потребности в новых калибрах или острой необходимости принципиально новых конструкций.

Огромная работа, проделанная в довоенный период, позволила конструкторам и производственникам-вооруженцам сосредоточить свои творческие усилия во время войны на дальнейшем совершенствовании артиллерийского вооружения и улучшении процесса его изготовления. Это дало возможность повышать эксплуатационные качества систем, упрощать конструкции деталей и узлов, лучше организовать производство, увеличивать выпуск продукции и снижать ее себестоимость.

Разносторонность и высокий уровень техники в промышленности вооружения обеспечили быстрое решение целого ряда важных задач, возникавших в ходе войны. Когда, например, к 1943 году потребовалась мощная танковая и самоходная артиллерия, конструкторы и производственники-вооруженцы и танкостроители с большим успехом использовали наиболее ответственные и трудоемкие так называемые качающиеся части артиллерийских систем (ствол с люлькой) калибров 122 и 152 миллиметра, которые промышленность выпускала крупными сериями. И уже с начала 1943 года фронт получал в требуемых количествах танки и самоходные установки с мощной артиллерией и боекомплекты снарядов.

К моменту нападения гитлеровской Германии на нашу страну Красная Армия была вооружена самой лучшей артиллерией, превосходившей по боевым и эксплуатационным качествам западноевропейскую, в том числе и германскую.

Классической для того времени была 76-миллиметровая пушка, созданная Героем Социалистического Труда конструктором В. Г. Грабиным. Немцы считали эту пушку образцом для артиллерийских систем такого калибра. В танковом варианте она пробивала броню немецко-фашистских танков на значительно больших дистанциях, нежели могли это сделать их пушки в отношении наших танков.

Конечно, надо иметь в виду, что броня советского танка «Т-34» была мощнее. Но, во-первых, вес и габариты 76-миллиметровой пушки были сравнительно малы. Во-вторых, сама эта пушка обладала лучшими техническими и тактическими качествами. Все это, вместе взятое, и позволило нашей оборонной промышленности создать боевую машину, которая значительно превзошла немецко-фашистские танки по броневой защите и меткости стрельбы на больших дистанциях. «Танк «Т-34» произвел сенсацию,— писал после войны бывший гитлеровский генерал Эрих Шнейдер.— Этот 26-тонный русский танк был вооружен 76,2 мм пушкой (калибра 41,5), снаряд которой пробивал броню немецких танков с 1,5—2 тыс. м., тогда как немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 м, да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую и кормовую части танка «Т-34».

В связи с этим не могу не вспомнить о том, что 76-миллиметровая пушка, да и многие другие новые артиллерийские орудия снимались в последние предвоенные годы с производства в результате ошибочной оценки их качеств. Что касается названной пушки, а также 45-миллиметровой, об этом стоит рассказать подробнее, как о событиях чрезвычайной важности, происходивших в 1941 году, за несколько месяцев до начала войны.

Инициатива принадлежала начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии маршалу Г. И. Кулику. Сообщив наркомату вооружений, что, по данным разведки, немецкая армия в ускоренном темпе перевооружается якобы танками с пушками калибром более 100 миллиметров и броней увеличенной толщины и повышенного качества, он заявил, что неэффективной против них окажется вся наша артиллерия калибров 45—76 миллиметров. В связи с этим маршал Кулик предложил прекратить производство таких пушек, а вместо них начать выпуск 107-миллиметровых, в первую очередь в танковом варианте.

Предложение не встретило поддержки в наркомате вооружения. Мы знали, что еще совсем недавно, в 1940 году, большая часть немецких танков была вооружена пушками калибров 37 и 50, остальные — 75-миллиметровыми. А так как калибры танковых и противотанковых пушек, как правило, корреспондируют броневой защите танков, то было ясно, что наша танковая противотанковая артиллерия калибров 45 и 75 миллиметров в случае войны будет иметь превосходство. Мы считали маловероятным, чтобы гитлеровцы могли за один год обеспечить такой большой скачок в усилении танковой техники, о котором говорил Г. И. Кулик.

Наконец, если все же появилась необходимость повысить бронепробивающие возможности нашей артиллерии, то следовало начинать не с новых для промышленности конструкций, а в первую очередь попытаться достигнуть этой цели, увеличивая начальную скорость полета снаряда тех 76-миллиметровых пушек, производство которых уже освоено. Да и вообще переход на больший калибр нужно было начинать не с 107-миллиметровой пушки, которой в современной конструкции еще не существовало. Целесообразнее было бы, например, использовать готовую качающуюся часть выпускавшейся крупными сериями 85-миллиметровой зенитной пушки. Предложение снять с производства все варианты пушек калибров 45 и 76 миллиметров нельзя было принять еще и потому, что они выпускались в качестве очень маневренных средств против многих важных целей — живой силы противника, проволочных и других преград.

Итак, маршал Кулик, обычно легко поддававшийся самым невероятным слухам и основанным на них «идеям», не сразу добился своего. Однако он продолжал действовать в том же направлении и спустя несколько дней предложил мне выехать вместе с ним на один из артиллерийских заводов, чтобы на месте выяснить возможность форсированного создания и освоения танковой 107-миллиметровой пушки в серийном производстве вместо 76-миллиметровой. При этом сослался на якобы имеющееся у него разрешение И. В. Сталина.

Были все основания усомниться в характере указаний, полученных маршалом Куликом. Кроме того, если бы задание было сколько-нибудь определенным, то его, несомненно, получил бы и наркомат вооружения. Наконец, и Н. А. Вознесенский, с которым я тогда связался по телефону, заявил, что ему ничего по этому вопросу не известно и что он лишь дал указание, чтобы на заводе, куда ехал Г. И. Кулик, ему были представлены все материалы и объяснения, которых он потребует. Я передал это распоряжение директору завода, а от поездки отказался.

Побывав на одном заводе, Г. И. Кулик вскоре собрался и на другой. На этот раз он еще более настаивал, чтобы ему сопутствовал кто-либо из руководителей наркомата вооружения. Мы вновь отказались, полагая, что он сам в конце концов разберется и откажется от своего опасного и несвоевременного предложения.

Надежды не оправдались. Вскоре меня вызвал И. В. Сталин и, показав докладную записку маршала Кулика, вкратце ознакомив с ее содержанием, спросил:

— Что скажете вы по поводу предложения вооружать танки 107-миллиметровой пушкой? Товарищ Кулик говорит, что вы не согласны с ним.

Он очень внимательно выслушал мои доводы. В это время в кабинет вошел А. А. Жданов, и Сталин, обращаясь к нему, сказал:

— Ванников не хочет делать 107-миллиметровые пушки для... танков. А эти пушки очень хорошие, я с ними воевал в гражданскую войну.

— Ванников всегда всему сопротивляется, это стиль его работы,— ответил Жданов.

Сталин, вероятно, не хотел действовать в этом вопросе поспешно.

— У Ванникова,— сказал он,— имеются серьезные мотивы, их надо обсудить.— И, по-прежнему обращаясь к Жданову, добавил: — Ты у нас главный артиллерист, поручим тебе возглавить комиссию с участием товарищей Кулика, Ванникова, Горемыкина (тогда — нарком боеприпасов) и еще кого найдешь нужным. И разберитесь с этим вопросом.— Помолчав, он повторил: — А 107-миллиметровая пушка — хорошая пушка...

Замечу, что Сталин, говоря о 107-миллиметровой пушке, имел в виду полевое орудие времен первой мировой войны; оно, кроме калибра, то есть диаметра ствола, ничего общего не могло иметь с конструкцией, которую нужно было создать для современных танков. А. А. Жданов же, к сожалению, воспринял реплику Сталина как одобрение проекта Г. И. Кулика, что и наложило отпечаток на дальнейшее его отношение к этому вопросу.

На состоявшемся вскоре заседании комиссии у Жданова присутствовали маршал Кулик, генерал Каюков и другие военные. Со мной в качестве представителей наркомата вооружения были мой заместитель Мирзаханов, директора заводов Елян и Фрадкин. Нарком боеприпасов Горемыкин прибыл вместе со своим заместителем и другими ответственными работниками.

С самого начала заседания возможность подробно излагать свои доводы предоставлялась только военным. Когда же я высказал несогласие с таким характером обсуждения, А. А. Жданов резко обвинил меня в саботаже и раздраженно повторил, по-видимому, понравившуюся ему фразу, ранее произнесенную Г. М. Маленковым: «Мертвый тянет живого...»

Надо сказать, что накануне этого заседания в наркомате вооружения состоялось широкое и всестороннее обсуждение вопроса. Участвовали в нем директора и конструкторы соответствующих артиллерийских заводов. Тщательно взвесив все за и против, пришли к выводу, что предложение маршала Кулика не только нецелесообразно, но и грозит опасными последствиями. Поэтому мне особенно тяжелы были не столько явные угрозы А. А. Жданова по моему адресу, сколько его необоснованные симпатии к проекту Г. И. Кулика. И я решительно заявил, что принятие этого предложения поведет к разоружению армии. В ответ на это Жданов немедленно прекратил совещание и заявил, что пожалуется на меня Сталину.

Смущенные таким концом работы комиссии, все ее участники разошлись, а вскоре меня вызвал Сталин. Он показал подготовленное А. А. Ждановым и уже подписанное постановление в духе предложений И. Г. Кулика.

Я попытался возражать, но Сталин прервал мои объяснения, заявив, что они ему известны и основаны на нежелании перестраиваться на выпуск новой продукции, а это наносит ущерб государственным интересам.

— Нужно, чтобы вы не мешали,— сказал Сталин,— а поэтому передайте директорам указание немедленно прекратить производство пушек калибра 45 и 76 миллиметров и вывезти из цехов все оборудование, которое не может быть использовано для изготовления 107-миллиметровых пушек.

Эти слова означали, что вопрос решен окончательно и возврата к его обсуждению не будет.

Но все сложилось иначе. Правда, указание Сталина было выполнено, и непосредственно перед нападением гитлеровской Германии производство самых нужных для войны 45- и 76-миллиметровых пушек было прекращено. Но как только развернулись военные действия, Сталин увидел, что была допущена непростительная ошибка. Спустя месяц после начала войны, разговаривая со мной в присутствии В. М. Молотова и Г. М. Маленкова, он возмущался Ждановым и Куликом и называл их виновниками создавшегося положения. И как было не возмущаться! Перед Сталиным лежали донесения, из которых явствовало, что немецко-фашистские армии наступали далеко не с первоклассной танковой техникой; у них были и трофейные французские танки «Рено» и устаревшие немецкие «T-I» и «T-II», участие которых в войне Берлин ранее не предусматривал.

В настоящее время опубликованы довольно точные данные о бронетанковом парке, с которым Гитлер начал «Восточную кампанию». Они подтверждают, что действительное состояние бронетанковой техники противника не соответствовало тем сведениям, которыми располагал Г. И. Кулик и руководствовался А. А. Жданов, приняв решение ввести на вооружение 107-миллиметровые пушки взамен 76-миллиметровых. Иначе говоря, стало совершенно ясно, что наши пушки калибра 45 и 76 миллиметров были способны эффективно действовать против немецко-фашистской танковой техники. И, к сожалению, ошибка оказалась еще более тяжелой, чем можно было предполагать. Дело в том, что значительное количество этих пушек, имевшихся в войсках приграничных районов, а также свезенных на склады в западной части СССР, было потеряно при отступлении в первые месяцы войны. Производство же таких пушек, как сказано выше, мы прекратили перед самым началом вражеского вторжения.

Вот почему бывший гитлеровский генерал Эрих Шнейдер мог впоследствии писать, что, «несмотря на некоторые конструктивные недостатки, немецкие танки вполне оправдали себя в первые годы войны. Даже небольшие танки типов I и II, участие которых в войне не было предусмотрено, показали себя в боях не хуже других...» Впрочем, Шнейдеру пришлось признать, что это продолжалось лишь «до тех пор, пока в начале октября 1941 года восточнее Орла перед немецкой 4-й танковой дивизией не появились русские танки «T-34» и не показали нашим (немецко-фашистским.— **Б. В.**) привыкшим к победам танкистам свое превосходство в вооружении, броне и маневренности».

Дело в том, что после начала войны, когда стала очевидной ошибочность ранее принятого решения, Государственный Комитет Обороны СССР с целью исправить положение принял решение в форсированном порядке восстановить производство пушек калибра 45 и 76 миллиметров не только на заводах, которые изготовляли их прежде, но и на других, в том числе и некоторых гражданских, имевших хоть мало-мальски пригодное для этого оборудование.

Задача оказалась нелегкой. Станочное и кузнечно-прессовое хозяйства многих предприятий предназначались для изготовления тяжелых крупногабаритных деталей. На этом громоздком оборудовании, в частности, на карусельных станках со столами диаметром несколько метров, в огромных корпусах, обслуживаемых мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 25 тонн, пришлось изготовлять сравнительно небольшие детали и узлы для пушек. В технологическом отношении это было варварство. Но иного способа наверстать упущенное не существовало, и мы пошли этим путем.

Для ускорения выпуска новых пушек заводы получили готовую техническую документацию. Промышленность вооружения к тому же располагала большими производственными мощностями и запасами технологического оснащения и заготовок (поковок, незавершенных изделий и т. п.) на артиллерийских заводах, ранее изготовлявших 45- и 76-миллиметровые орудия, а также хорошо организованным чертежным хозяйством. Решающее значение имели огромный технический опыт и самоотверженный труд рабочих, техников, инженеров и руководителей предприятий, которые буквально выжали из первоклассного оборудования все, что оно могло дать.

В результате положение начало меняться уже к концу первого полугодия войны, а в 1942 году промышленность вооружения дала фронту 23 100 пушек калибра 76 миллиметров (по другим данным — 29 920.— **Ред.**).

Чтобы дать представление о значении этой цифры, напомню, что гитлеровский вермахт к 1 июня 1941 года, то есть перед началом войны с СССР, имел на востоке 4176 пехотных пушек калибра 75 миллиметров.

В связи с историей прекращения производства 45- и 76-миллиметровых пушек в результате ошибочной оценки немецко-фашистской бронетанковой техники, мне вспомнились и другие события, в частности история противотанкового ружья (ПТР); к нему некоторые в нашем военном командовании отнеслись в то время столь же пренебрежительно. И по той же причине.

ПТР, правда, не получило до начала второй мировой войны должного признания не только у нас, но и в других странах, хотя необходимость в таком специальном стрелковом оружии возникла еще в первую мировую войну с момента появления танков.

Первым специальным средством против танков стали созданные в конце первой мировой войны ружья и пулеметы крупного калибра, представлявшие собой всего лишь укрупненные образцы имевшегося вооружения. Так, германское противотанковое ружье образца 1918 года представляло собою увеличенную копию винтовки Маузера образца 1898 года... Вообще же при создании противотанкового оружия стремились прежде всего получить соответствующий пулемет; считалось, что его можно будет использовать для борьбы и с танками, и с самолетами. А так как для стрельбы по самолетам важное значение имеет и высокий ее темп, обеспечиваемый только автоматическим оружием, то на первых этапах противотанковые и зенитные средства и совместили в крупнокалиберных пулеметах, как правило, переделываемых из конструкций среднего калибра.

После окончания первой мировой войны работы по конструированию противотанкового стрелкового оружия во всех крупных западных государствах продолжались в тех же направлениях, что по существу ограничивало возможности получить хорошие тактико-технические показатели противотанковых средств. Увеличение калибра пулеметов, веса пули и ее начальной скорости при сохранении необходимых для зенитной стрельбы качеств (в частности темпа стрельбы) потребовали настолько увеличить тяжесть и габариты конструкций, что сделали их непригодными в качестве пехотного противотанкового средства. Оружейники пришли к заключению, что «по мере увеличения брони танков пробивная способность крупнокалиберных пулеметов уже не может считаться достаточной и эти пулеметы мало-помалу теряют свое прежнее значение, как противотанковое средство» (В. Федоров. Эволюция стрелкового оружия. М., 1939).

Тогда усмотрели дальнейшее развитие противотанковых средств в переходе от стрелкового оружия к малокалиберной артиллерии. Получалось, что пуля в состязании с броней уступила.

Но это был преждевременный вывод. Советские конструкторы Дегтярев, Токарев и Симонов создали полуавтоматические и неавтоматические противотанковые ружья калибра 14,5 миллиметра с начальной скоростью полета пули 1000 метров в секунду и более. Они обладали хорошими тактическими и техническими показателями: были простые по конструкции, удобные, приемлемого веса и размеров, в походе двое солдат без особого напряжения могли нести это оружие; стрелкам были обеспечены хорошая маневренность, возможность тщательной маскировки.

И вот одновременно с предложением снять с производства пушки калибра 45 и 76 миллиметров как якобы неэффективное средство борьбы против танков, было высказано такое же мнение о ПТР. По-видимому, оно было основано на устаревших данных, а быть может, и на дезинформации, распространявшейся гитлеровским командованием относительно танковой и противотанковой техники вермахта.

Но наши военные, преувеличивая тогда мощь германских танков, явно преуменьшали эффективность немецких противотанковых средств. Они запоздали в оценке этих средств. Между тем гитлеровская армия только во время войны на Западе имела мало ПТР образца 1938 и 1939 годов, но к началу войны против СССР, точнее к 1 июня 1941 года, у нее было уже более 25 тысяч таких ПТР и появились первые 183 тяжелых ПТР образца 1941 года.

Итак, недооценка ПТР дала себя знать у нас как раз тогда, когда в ходе второй мировой войны уже определенно выявилось, что это хорошее противотанковое средство.

Свернуть у нас работы по конструированию и производству ПТР помешала решительная защита и поддержка этого хорошего, простого и дешевого оружия со стороны наиболее дальновидных наших военачальников, и особенно — твердая позиция генерал-полковника, впоследствии Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова. Благодаря этому к началу войны производство ПТР было освоено. Они поступили на вооружение Красной Армии и в первых же боях показали себя грозным и эффективным противотанковым средством. Немецкий генерал Эрих Шнейдер писал по этому поводу: «Еще в начале войны русские имели на вооружении противотанковое ружье калибра 14,5 мм с начальной скоростью полета пули 1000 м/сек, которое доставляло много хлопот немецким танкам и появившимся позднее легким бронетранспортерам».

Перед войной был момент, когда судьба 45- и 76-миллиметровых пушек угрожала также ряду других новых артиллерийских конструкций. Например, 152-миллиметровой гаубице образца 1937 года — в ту пору она была одной из лучших и отвечала всем новым технико-тактическим требованиям. Охарактеризовав ее как «вредительскую», представители Главного артиллерийского управления потребовали приостановить производство и провести новое испытание.

Повторные испытания по полной программе дали не менее хорошие результаты, да и к тому времени началось некоторое отрезвление от «вредительствомании». Короче говоря, 152-миллиметровая гаубица вновь получила справедливое признание, и единственное, что изменили те, кто пытался ее дискредитировать, было название. Теперь это стала уже не гаубица, а «пушка-гаубица».

В конечном итоге были реабилитированы и другие новые артиллерийские системы, взятые тогда под сомнение безо всяких оснований.

III

Во время войны немаловажную роль в борьбе за господство в воздухе сыграло увеличение огневой мощи наших ВВС. Среди новых образцов авиационного вооружения одной из лучших была 23-миллиметровая пушка, которую советская промышленность окончательно создала в 1942 году.

Я говорю «окончательно» потому, что эта конструкция рождалась несколько лет. И, несомненно, могла быть взята на вооружение еще до войны, от чего наша страна лишь выиграла бы в час, когда над ней нависла грозная опасность вражеского нашествия. Но своевременному завершению соответствующих работ помешали, по моему глубокому убеждению, те же ошибки, допускавшиеся в предвоенный период в отношении специалистов и руководителей промышленности. Имею в виду не только необоснованные репрессии, но и неоправданную поспешность при возведении «на пьедестал» тех или иных работников. И то, и другое нанесло немалый вред, в частности, развитию авиационного вооружения в предвоенное время.

Прежде всего надо сказать, что еще в начале 30-х годов советская авиация была вооружена лишь пулеметами двух типов. Они имели хороший калибр — 7,62 миллиметра, но небольшую скорострельность. По мере увеличения скоростей самолетов они перестали соответствовать новым требованиям ВВС. Значительно лучшим оказался пулемет, созданный к 1933—1934 годам талантливыми конструкторами Б. Шпитальным и И. Комарницким. Это была ориги-

нальная конструкция, которая при том же калибре увеличивала число выстрелов до 2 тысяч в минуту. Приняв на вооружение эту скорострельиую систему, получившую название «Шкас», Военно-Воздушные Силы СССР по пулеметному оружию выдвинулись на первое место в мире. Примерно тогда же Б. Шпитальный и С. Владимиров создали крупнокалиберный (12,7 миллиметра) пулемет «Швак».

От промышленности переход к высокой скорострельности автоматического оружия потребовал еще большей точности в исполнении чертежей, расчетах допусков, изготовлении авиационного оружия и особенно высокого качества стали и термической обработки деталей, предопределявших живучесть и безотказность автоматики. Тактико-технические требования (ТТТ) к этому вооружению, которые всегда были выше, чем к наземному, вновь намного возросли. Оружейное же производство, хотя оно и находилось на сравнительно высоком техническом уровне, все же оказалось недостаточно подготовленным к выпуску скорострельного авиационного автоматического оружия, полностью отвечающего предъявленным ТТТ.

Наибольшие трудности возникли при подборе высокопрочных специальных сталей для самых напряженных деталей и пружин и при создании технологии их термической обработки. В те годы автоматизация в производстве только зарождалась, да и то лишь на отдельных участках. А без автоматизации изготовления и контроля изделий нельзя было добиться требуемой стабильности их и высокого качества.

Освоение выпуска пулеметов «Шкас» отставало и по многим другим техническим и производственным причинам. Так, авторы конструкции, возведенные на вышеупомянутый «пьедестал» и позволяя себе этакую «небрежность гения», плохо отработали чертежи, вносили в них множество изменений уже после запуска в серийное производство. При испытаниях допускались нарушения условий, давали необъективные оценки выявленных недочетов, что было опять-таки связано с «особым» положением конструкторов, а это, в свою очередь, предопределяло новые и новые исправления.

Все эти задержки вызывали беспокойство И. В. Сталина, уделявшего много внимания развитию авиации. А так как пулемет «Шкас» был для нее новым могучим огневым средством и обеспечивал ей значительные преимущества на случай войны, Сталин взял на себя непосредственный контроль соответствующих работ конструкторского бюро и заводов. Он вызывал представителей промышленности и авиации, лично решал возникавшие между ними разногласия.

Много раз эти вопросы обсуждало Политбюро ЦК ВКП(б). В таких случаях приглашали также конструкторов и директоров предприятий. Производственники в основном докладывали о действительных трудностях освоения новой системы. Конструкторы же, пользуясь тем, что им верили на слово, вначале стремились переложить на промышленность даже свои собственные ошибки. Это усиливало нервозную обстановку, в которой часто происходили заседания, и вело к «особым мерам».

Так, по жалобе конструкторов был арестован главный технолог производства пулемета «Шкас» инженер Сандомирский, обвиненный в саботаже. Готовили репрессии в отношении других специалистов. Несколько раз при обсуждении упоминали, например, главного инженера одного из заводов Лебедко, которого на основании жалоб конструкторов сочли виновником задержки, хотя это был честный и высококвалифицированный специалист, упорно работавший над исправлением конструктивных недостатков пулемета «Шкас».

Приостановить репрессии мог только Сталин. Поэтому я и обратился к нему с такого рода просьбой, попутно изложив действительное положение дел и истинные причины отставания в освоении производства нового авиационного вооружения. И хотя инженера Сандомирского все же не освободили, но больше не было арестов. Одновременно, для того, чтобы выправить положение, была создана большая группа квалифицированных специалистов во главе с крупным оружейником военным инженером Майном. Они заново переработали чертежи и провели тщательные расчеты размеров и допусков.

Осуществление этой большой работы, как и принятые тогда же меры по упорядочению производства пулеметов «Шкас», обеспечили вскоре их выпуск для ВВС в требуемом количестве.

По мере совершенствования авиационной техники требовалось усиливать мощь авиационного оружия. Пулеметный огонь становился менее эффективным в отношении самолетов возможного противника: уязвимые места, которые стали бронировать, нужно было теперь поражать бронебойными малокалиберными снарядами, а увеличившиеся несущие поверхности — разрывами на больших площадях.

Появилась необходимость создать осколочно-разрывные снаряды с взрывателями высокой чувствительности, и был выдвинут вопрос об авиационном пушечном вооружении. На этот счет тогда имелись различные точки зрения.

Одни считали, что главным оружием самолета остается скорострельный пулемет. Посему, говорили они, задача состоит в дальнейшем повышении темпа стрельбы и уменьшении веса материальной части, что позволит ставить спаренные пулеметы.

Другие называли вооружение пулеметами — второстепенным, пригодным только для решения частных задач. Сторонники этого взгляда утверждали, что по мере совершенствования техники пулеметы вообще не нужны будут самолетам и что главным и единственным авиационным вооружением станут пушки, калибр которых будет все более возрастать.

Наконец, третьи отстаивали жизненность пулеметного оружия на длительный период и вместе с тем придавали важное значение пушечному вооружению. Иначе говоря, предлагали совершенствовать и тот и другой виды вооружения как дополняющие друг друга. Именно такую точку зрения поддержал И. В. Сталин.

Обмен мнениями способствовал углубленному изучению и освещению проблем развития авиационного вооружения. Вместе с тем не только на итоги дискуссии, но и на все дальнейшее развитие авиационного пушечного вооружения отрицательно повлияла позиция конструкторов пулеметов. Если тогда еще можно было спорить о том, правы они или нет, то теперь уж, во всяком случае, ясно, что своим стремлением сохранить монопольное положение созданных ими систем они способствовали недооценке пушечного вооружения.

Произошло это так.

В обстановке, когда советские авиационные пулеметы по тактическим и техническим данным были, как уже говорилось, лучшими в мире, а работа по созданию авиационных пушек велась у нас недостаточными темпами и еще не вышла за рамки конструирования и изготовления опытных образцов пушек калибров 23 и 37 миллиметров, Б. Шпитальный и С. Владимиров предложили для крупнокалиберного пулемета «Швак» сменный ствол калибра 20 миллиметров и к нему бронебойные и осколочно-разрывные снаряды. Получалась вроде бы пушка без изменения материальной части системы и установок к ней. Она была принята на вооружение; таким образом, появилась, казалось бы, возможность очень быстро оснастить авиацию пушками.

Но то был всего лишь паллиатив.

Сам по себе калибр 20 миллиметров вполне мог тогда удовлетворить потребности нашей авиации, особенно для легких самолетов, если бы новая пушка не была своего рода гибридом, причем явно неполноценным. Автоматика конструкции и питание оставались теми же, у гильзы патрона лишь дульце увеличивалось с 12,7 до максимально возможного внутреннего диаметра — 20 миллиметров, а сама она ни по размерам, ни по геометрии не изменилась, объем ее сохранился. Таким образом, пороховая камора для 20-миллиметрового снаряда оставалась такой же, как и для пули диаметром 12,7 миллиметра. А так как снаряд был значительно больше и тяжелее пули, его начальная скорость при таком же пороховом заряде снизилась. Вынужденной была и геометрия этого снаряда, рассчитанная лишь на то, чтобы уложиться в существующую геометрию автоматики, а вовсе не на повышение эффективности его действия...

Самолетостроители и ВВС приветствовали 20-миллиметровый калибр даже в варианте авиационной пушки «Швак» с неполноценным патроном, так как это открывало выход из создавшегося положения. Но выход был кажущимся, неперспективным, мог удовлетворить авиацию лишь ненадолго; вместе с тем усилились сомнения в необходимости для боевых самолетов бо́льших калибров, чем 20 миллиметров, отвлечено было внимание от работы, направленной на создание полноценных авиационных пушек с эффективным патроном. А такую работу, как уже отмечено, вели. В частности, конструкторы промышленности боеприпасов изготовили унитарный патрон калибра 23 миллиметра со снарядом, обладавшим хорошими баллистическими качествами, и гильзой с мощной пороховой каморой. Вооруженцы разрабатывали конструкции соответствующих авиационных пушек.

23-миллиметровый патрон был значительно тяжелее и больше, чем 20-миллиметровый, а следовательно, материальная часть и установки для конструируемой системы неизменно оказывались по весу и по габаритам крупнее, чем у пушки «Швак». Значительней была и сила отдачи. Но названные параметры были решающими при конструировании самолетов, и самолетостроители, которые в своих расчетах при создании новых боевых машин исходили из веса, габаритов и силы отдачи пушки «Швак», настаивали на близких к ней показателях новых систем.

Конструкторы-вооруженцы на первых порах сопротивлялись требованиям конструкторов-самолетостроителей и отстаивали параметры, соответствующие полноценному пушечному вооружению. В результате процесс согласования технических условий затягивался, а вместе с тем усиливался нажим на вооруженцев в ходе совещаний по этому вопросу у Г. М. Маленкова. Поскольку давление оказывали без учета технической стороны дела, некоторые условия принимались чисто формально, выполнить же их не удавалось.

Но завышенные обязательства принимали не только под нажимом. Особенности тех лет, когда решения по важным технологическим вопросам подчас вырабатывали некомпетентные в них инстанции и лишь на основании тех или иных обещаний, способствовали тому, что некоторые конструкторы пушек из желания «выдвинуться» становились на путь, который наносил ущерб делу и был опасен для них самих.

Так получилось и с конструктором Таубиным, разрабатывавшим одну из конструкций 23-миллиметровой авиационной пушки. Его проект был оригинальным, содержал много хороших технических решений, да и продвинулся он в изготовлении опытных образцов дальше других. Словом, эта пушка была лучшей и могла своевременно обеспечить нашей боевой авиации большие преимущества, если бы Таубин не пожелал преждевременно «блеснуть» не только достигнутыми успехами, но и такими, которых у него не было. Он же поступил именно так, объявив заниженные вес, габариты и силу отдачи пушки и добившись тем самым выдвижения своего проекта на первый план. Руководители наркомата вооружения, в том числе такие крупные инженеры, как заместитель наркома И. А. Барсуков, начальник технического отдела Э. А. Саттель и другие, попытались было разъяснить, что параметры пушки, разрекламированные Таубиным, пока что не обоснованы, но их критику расценили как «выступление против прогрессивного конструктора». Самолетостроители приняли обещания Таубина на веру и положили их в основу при конструировании самолетов.

Однако так называемые заводские испытания, которые Таубин старался проводить без «посторонних», то есть без представителей авиационной промышленности и военных, выявили ряд конструктивных недочетов его пушки. Наиболее серьезно было то, что сила отдачи при стрельбе значительно превышала обещанную. Впрочем, сила отдачи вполне соответствовала калибру и мощности пушки, но выявилось несоответствие техническим условиям, предложенным самим Таубиным.

Чтобы привести этот показатель в соответствие с установленными ранее требованиями и устранить другие недочеты, нужно было серьезно потрудиться.

Таубин же преуменьшал значение выявленного несоответствия техническим условиям и даже пытался объяснить его «необъективностью» испытателей, их ошибками и т. п. Сами недочеты устранялись наскоро. Таубин руководствовался при этом главным образом так называемой «конструкторской интуицией», не изучал и не анализировал причины своей неудачи, и его попытки выполнить обещанное не имели успеха. Тогда он попробовал добиться, чтобы конструкцию приняли в таком виде, но, естественно, натолкнулся на сопротивление со стороны авиаконструкторов. Повышенная сила отдачи пушек, размещенных в крыльях, при неодновременной стрельбе сбивала с курса легкие самолеты.

К тому времени подоспели результаты испытания создававшихся тогда других авиационных пушек, и оказалось, что и у них сила отдачи превышала требуемую самолетостроителями. Тогда конструкторы, как вооруженцы, так и авиационные, вынуждены были признать, что подошли к этому вопросу легковесно. Стало ясно, что нужно либо отказаться от авиационных пушек, развивающих значительные силы отдачи, либо исходить из иных параметров в расчетах при конструировании самолетов.

Вновь возникшие в связи с этим сомнения в целесообразности применять мощное пушечное вооружение для боевых самолетов усилились после того, как Б. Шпитальный, явившись на прием к И. В. Сталину, показал ему свой новый тонкостенный осколочно-разрывной снаряд калибра 20 миллиметров для пушки «Швак». За счет уменьшения толщины стенок снаряда конструктор увеличил разрывной заряд, повысив взрывную силу и количество осколков. Они, хотя и стали мельче, были вполне эффективными. При увеличении заряда это позволяло наносить большие разрушения поверхностям самолетов того времени. Продемонстрировав все это, Б. Шпитальный заявил, что пушка «Швак» с новым тонкостенным снарядом вполне может удовлетворить требования, предъявляемые авиацией к пушечному вооружению, причем без изменения остаются принятые параметры — вес, габариты и сила отдачи.

Сталин положительно оценил тонкостенные снаряды и дал указание изготовлять их в большом количестве. Поддержали Шпитального и авиаконструкторы. Но военные отнеслись к этому вопросу более сдержанно, высказав мнение, что тонкостенный снаряд под пушку «Швак» приемлем, однако необходимость в пушке калибра 23 миллиметра с мощным патроном не снимается.

После подробного обсуждения к этой точке зрения присоединился и Сталин.

Так, после очередного периода колебаний вновь было принято решение форсировать соответствующие работы.

Что касается Таубина, то он на одном из совещаний, отвечая на вопрос Сталина, заявил, что добьется значительного снижения силы отдачи, хотя и в данном случае не имел твердых оснований для такого обещания. И. В. Сталин же, по-видимому, счел его ответ вполне обоснованным. Я сужу об этом по тому, что после совещания он сказал мне, что следовало бы награждать конструкторов «немного авансом», например, Таубина, как только он представит образец на приемочные испытания.

Я высказал сомнение в целесообразности такого метода, полагая, что награждение «авансом» приведет не к ускорению, а к затяжке работ, так как толкнет конструкторов к еще большей спешке. В результате, говорил я, снизится качество отработки образцов и технической документации, а это, как показала практика, создаст при освоении серийного производства большие трудности и в конечном итоге приведет к потере времени и ухудшению качества вооружения. Свое мнение по этому вопросу я сформулировал так: лучше награждать конструкторов и вместе с ними производственников после промышленного освоения нового изделия, так как это будет способствовать большей слаженности и взаимной помощи в их работе.

Выслушав, Сталин сказал, что подумает. В дальнейшем он к этому вопросу не возвращался.

Когда об этом разговоре узнал Таубин, он воспринял мои слова как не-

желание представить его к награде и развернул целую кампанию против наркомата вооружения, обвиняя его в «саботаже 23-миллиметровой пушки». На такого рода деятельность он затрачивал много усилий, а в работе над пушкой по-прежнему выбирал окольные пути. Не добившись значительного уменьшения силы отдачи, Таубин попытался найти выход из положения, создав дополнительное устройство типа салазок с пружинными амортизаторами для пушки. Это могло в известной степени решить вопрос, если бы не вело к резкому увеличению веса и габаритов всей пушечной установки, что грозило новыми неувязками.

Авиаконструкторы были недовольны, но не решились довести дело до конфликта с Таубиным, так как чувствовали и свою долю вины. Они предпочли усилить у мотора то место, к которому крепится пушка, и — по-видимому, даже без разрешения руководства наркомата авиационной промышленности — договорились об этом с авиазаводами. Хотя такое усиление не оказало никакого влияния на конструкцию мотора, а для установки пушки было весьма полезно, тем не менее оно нарушало установленный порядок, по которому изменения в утвержденные чертежи на продукцию, переданную в серийное производство, можно было вносить только с разрешения правительства.

Каким-то путем о нарушении узнал Сталин. А поскольку как раз тогда он настойчиво требовал соблюдения упомянутого порядка, то «самовольничанье» вызвало у него особенно острую реакцию. Случайно мне довелось быть свидетелем того, как Сталин в сильном возбуждении обвинил наркома авиационной промышленности А. И. Шахурина в недисциплинированности и под конец сказал ему резким, повышенным тоном:

— Вам за это будет объявлен выговор с предупреждением от ЦК и СНК. Я заявлю в Политбюро, что я с вами работать не могу...

На следующий день постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР А. И. Шахурину действительно был объявлен выговор за внесение изменений без разрешения правительства.

Я пришел к концу разговора и не знаю, что говорил А. И. Шахурин. Но полагаю, что столь сильное раздражение Сталина было, вероятно, вызвано несогласием наркома авиационной промышленности с отрицательной оценкой характера изменения. Этот вывод я делаю отчасти потому, что не раз видел недовольство Сталина стремлением Шахурина отстаивать свою точку зрения.

Вместе с тем Сталин благоприятно относился к изменениям, которые предлагались в процессе конструирования и представляли собой улучшенный вариант. Конструкторы же иногда выдвигали такие предложения главным образом для того, чтобы получить дополнительные значительные сроки. Таким образом, по существу поощрялась безответственность в отношении своевременного выполнения заданий, ибо даже в том случае, когда предлагаемые новые варианты действительно могли дать некоторое преимущество, их можно было без ущерба осуществить в последующих сериях, не задерживая производство нужного оружия.

В 1941 году, за несколько месяцев до начала войны, Таубин тоже внес изменения в свою конструкцию и попросил установить новые сроки. А в наркомате вооружения, где уже потеряли надежду получить законченную пушку в ближайшее время, тогда уже был иной план: передать доводку конструкции Таубина заводским конструкторам и технологам, обладавшим высокой квалификацией и огромным опытом, для чего, пойдя на риск, принять ее в серийное производство до проведения окончательных испытаний.

Оба эти предложения были внесены одновременно. При рассмотрении их Г. М. Маленков поддерживал Таубина, но в конечном счете наркомат вооружения добился согласия, правда, устного, на осуществление своего плана.

Итак, мы передали судьбу 23-миллиметровой пушки в руки замечательного коллектива одного из самых мощных артиллерийских заводов. Там были хорошие конструкторы и технологи, прекрасное оборудование и отличная металлургическая база, поставлявшая лучшие стали и заготовки. Такое благоприятное сочетание возможностей обеспечивало быструю доводку и запуск пушки в серийное производство.

Работы на заводе уже шли быстрыми темпами, как вдруг совершенно неожиданно для наркомата конструкция Таубина была объявлена вредительской, а сам он арестован. Вызвав к себе меня и И. А. Барсукова, Г. М. Маленков стал упрекать нас в содействии «вредителю» Таубину. Сославшись на указание Сталина, он предложил мне выехать на завод и представить предложения относительно этой «никуда не годной» пушки.

На заводе я не встретил сколько-нибудь значительного числа противников пушки Таубина, хотя здесь уже знали о его аресте, а это обычно вызывало довольно сильные «перестраховочные» настроения. Подавляющее большинство коллектива во главе с директором завода крупным инженером-оружейником В. Н. Новиковым считало возможным и целесообразным продолжать работу над пушкой. Такое же мнение высказал прибывший со мной представитель наркомата обороны военный инженер Сакриер. Это был опытный специалист, пользовавшийся большим авторитетом, и, в частности, его высоко оценивал К. Е. Ворошилов, когда был наркомом обороны.

По возвращении в Москву я был принят Сталиным и коротко доложил ему о результатах поездки. Казалось, он остался удовлетворенным. Но вскоре после этого начались новые аресты. Как-то у себя на квартире в Кремле, куда он после одного из совещаний пригласил нас, несколько человек, поужинать, Сталин сказал мне:

— Знаете, среди военных инженеров оказались подлецы, которые вредили в области авиационного оружия. Их скоро арестуют.

У меня, как говорится, «екнуло сердце». Я почему-то сразу подумал о Сакриере, которого и раньше обвиняли в поддержке конструкции Таубина. Но спросить не решился. А спустя два дня Сакриер был арестован. Вероятно, он, как и Таубин, погиб. Больше о них сведений не было.

Когда началась война, я тоже был в тюрьме, а потом, как уже сказано, работал в другой отрасли оборонной промышленности. Обстоятельства сложились так, что мне не приходилось заниматься авиационным вооружением. Но я знал, что после ареста Таубина все варианты пушек его конструкторского бюро были отвергнуты, причем к этому приложили руку некоторые конструкторы, особенно Б. Шпитальный, стремившийся во что бы то ни стало продвинуть свои собственные проекты.

Конечно, Таубин был человеком неуравновешенным и легкомысленным, но, безусловно, талантливым конструктором, автором прекрасного, я бы сказал, лучшего в то время проекта мощной авиационной пушки. Он мог принести неоценимую пользу обороне страны. И его неудача, а затем и гибель были результатом непоследовательных и неоправданных действий, нередких в сложившейся тогда обстановке.

Тогдашние же руководители наркомата вооружения, в том числе и я, занимая правильную позицию, не проявили, однако, твердости и принципиальности до конца, выполняли требования, которые считали вредными для государства. И в этом сказывались не только дисциплинированность, но и стремление избежать репрессий.

После описанных выше событий прошел год. Однажды мне позвонил по телефону Сталин.

— Знаете ли вы что-нибудь о пушке Нудельмана и каково ваше мнение о ней? — спросил он.

Я знал, что ближайший помощник Таубина инженер Нудельман, несмотря на сложную обстановку, которая сложилась и для него после ареста руководителя проекта, смело выступил в защиту конструкторского бюро, возглавил его и, реорганизовав доработку авиационных пушек, добился хороших результатов. Но тут он столкнулся с новыми большими трудностями, к сожалению, опять-таки связанными с противодействием со стороны Б. Шпитального.

Доверие, которое последнему оказывал Сталин, еще больше укрепилось после неудач Таубина и некоторых других конструкторов авиационного вооружения. Шпитальный же неблагоразумно использовал свой авторитет. В эгоистических целях, стремясь сохранить собственную «монополию», он заведомо необъективно давал отрицательные оценки пушкам других конструкторов, ополчился даже против тогдашнего наркома вооружения Д. Ф. Устинова и других руководителей наркомата только за то, что они поддерживали Нудельмана, и пустил в ход свое обычное средство — обвинения чуть ли не во вредительстве.

Ко мне Сталин обратился в связи с тем, что Нудельман попросил его вмешательства в это дело. В ответ я сообщил все, что мне было известно, добавив, что хотя пушку Таубина в 1941 году называли вредительской, тем не менее Нудельман при поддержке наркомата вооружения добился на ней очень хороших результатов. Спрошенный далее Сталиным о том, лучше ли она, чем пушки Шпитального, я ответил, что не берусь судить об этом, так как уже год не занимаюсь вопросами вооружения и мне неизвестны подробные результаты последних работ конструкторов в этой области.

На этом разговор закончился. Но спустя часа два Сталин позвонил вновь. На этот раз он сказал, что будут проведены сравнительные стрельбы пушек Нудельмана, Шпитального и других конструкторов с участием представителей наркоматов обороны, вооружения и авиационной промышленности. Меня же Сталин просил руководить этими испытаниями.

Такое предложение было для меня нежелательным по ряду причин. Во-первых, речь шла о пушке Таубина, которую я в свое время одобрял, следовательно, мое мнение могло быть сочтено необъективным. Кроме того, не хотелось ввязываться опять в дело, из-за которого я уже имел неприятности в бытность наркомом вооружения. Наконец, мои новые обязанности в промышленности боеприпасов требовали напряженного внимания в тот тяжелый период, когда фронты нуждались во всевозрастающем количестве ее продукции, а эвакуированные на восток заводы еще не полностью обосновались на новых местах.

Откровенно сказав обо всем этом Сталину, я просил не назначать меня руководителем испытаний.

Сталин ответил, что после первого разговора со мной он еще раз посоветовался с членами ГКО, и в результате было решено остановиться на моей кандидатуре.

— В объективности вашей,— сказал он,— мы уверены.

Сравнительные стрельбы состоялись через несколько дней на одном из полигонов ВВС под наблюдением комиссии, состав которой назвал Сталин. Они были проведены в строго деловой обстановке, исключавшей какие бы то ни было основания для недовольства любой из сторон. По результатам стрельб пушка конструкторского бюро, возглавляемого Нудельманом, получила лучшую оценку. Она имела преимущества и по большинству других пунктов технических условий. Соответствующее заключение было представлено И. В. Сталину.

Конструкторское бюро под руководством Нудельмана в дальнейшем приобрело репутацию лучшего и создало на базе схем первых пушек целый ряд хороших образцов оружия. Это вполне подтверждает ранее высказанную мной мысль о том, что у этого бюро и при Таубине были все возможности для достижения успеха.

Мне кажется поучительной и дальнейшая судьба бюро конструктора Шпитального. Взяв когда-то неправильное, неперспективное направление в области развития пушечного вооружения для авиации, Б. Шпитальный пытался удержать его всеми средствами, в том числе и вредными для дела, а это не могло не кончиться рано или поздно провалом. С победой правильного направления в создании авиационного пушечного вооружения, достигнутой, к сожалению, с опозданием, конструкторское бюро Шпитального постепенно теряло жизнеспособность и в конечном итоге бесславно закончило свое существование.

А жаль. Б. Шпитальный также был незаурядным конструктором, родоначальником высокоскорострельной автоматики и, если бы обстановка не испортила его, мог дать еще много хороших образцов оружия для обороны государства.

IV

Особенности предвоенной внутриполитической обстановки, к сожалению, сыграли печальную роль и в истории развития минометного вооружения нашей армии.

Эти чрезвычайно несложные в производстве и в эксплуатации, дешевые системы в те годы не были по достоинству оценены ни военным командованием, ни руководителями артиллерийской промышленности. Минометы считались «непервоклассным» вооружением. Их иронически прозвали «трубой и плитой».

Пренебрежительно относились к минометному вооружению не только у нас, но и в других государствах, обладающих первоклассной артиллерийской промышленностью.

Но, например, в германской армии так было лишь до начала второй мировой войны. Боевая обстановка заставила командование вермахта очень скоро пересмотреть свою оценку минометов и, особенно при подготовке к нападению на СССР, позаботиться о расширении их парка и увеличении боезапаса своих минометов. Уже к 1 июня 1941 года число минометов в гитлеровской армии выросло более чем в 2,5 раза, а мин к ним — почти в 7 раз, в то время как количество артиллерийских систем к этому же времени увеличилось на 40—46 процентов, а снарядов к ним — в среднем вдвое. К столь резкому повороту фашистского командования в оценке минометов привели опыт западной кампании и, главное, изучение условий боя в предстоявшей войне против СССР.

Вермахт возлагал на минометы большие надежды и заранее готовился к интенсивному их применению. «Пехота,— свидетельствовал позднее Эрих Шнейдер в статье «Техника и развитие оружия в войне»,— приветствовала появление легко транспортируемого, точно стреляющего оружия, при помощи которого она могла воздействовать на противника из-за любого укрытия».

Красная Армия к началу Великой Отечественной войны обладала хорошим минометным вооружением, которое значительно превосходило немецкие образцы и было освоено в серийном производстве. На 1 июня у нас было в наличии 16 тысяч минометов, то есть значительно (более чем на 4 тысячи) больше, чем у противника, притом среди них не только 13 тысяч 82-миллиметровых, превосходивших германские 81-миллиметровые, но и 3 тысячи 120-миллиметровых, которых не имели тогда вражеские войска.

Тот же Эрих Шнейдер так оценивал это преимущество: «Русские также с большим искусством и весьма широко использовали это оружие; их объединенные в батальоны 120-мм минометы приняли на себя основную часть тактических задач, которые обычно решались легкой дивизионной артиллерией. Немцы, убедившись в эффективности огня русских тяжелых минометов, сконструировали по их образцу свой миномет и в 1944 году создали минометные батальоны».

В СССР еще за несколько лет до начала Великой Отечественной войны были созданы хорошие образцы минометов калибра 82 и 120 миллиметров и к ним осколочно-фугасные и осколочные мины. Прекрасных результатов добился советский конструктор Б. И. Шавырин, впоследствии Герой Социалистического Труда. Упорно преодолевая малоблагоприятные условия, вызванные неправильным отношением к этому виду вооружения, он создал минометы названных калибров, отличавшиеся наиболее высокими боевыми и эксплуатационными качествами. Как подтвердилось в военное время, их выпуск без особых усилий могли быстро освоить и гражданские машиностроительные заводы. Но прежде чем шавыринские минометы получили признание, конструктору довелось пройти путь, усеянный множеством препятствий.

Так, в 1938—1939 годах искусственно затягивалась окончательная апробация конструкций Шаварина. Артиллерийское управление армии потребовало сначала их испытаний в сравнении с чехословацкими, наибольший калибр которых не превышал 81 миллиметра. Это было сделано. Причем, хотя испытания проводились не просто тщательно, но, я бы сказал, и придирчиво, 82-миллиметровый миномет Б. И. Шавырина оказался по всем показателям лучше чехословацкого 81-миллиметрового.

Впрочем, даже успешные испытания не внесли коренной перемены в отношение к минометам. Это вооружение продолжали считать второсортным и в 1940 году, основываясь на данных разведки, оказавшихся впоследствии дезинформацией, подсунутой гитлеровским командованием, или на «опыте германской армии», извлеченном из запоздалых сведений.

Всевозможные затяжки привели к значительной потере времени, что отрицательно отразилось на работе конструкторов и производственников, а прежде всего обернулось против самого Б. И. Шавырина. В канун войны ко мне, как наркому вооружения, обратились из наркомата государственной безопасности за санкцией на его арест, предъявив при этом «дело» по обвинению во вредительстве, злостном и преднамеренном срыве создания минометов. По установленному в то время положению специалиста могли арестовать только с согласия руководителя наркомата или ведомства, в системе которого работал обвиняемый. К сожалению, должен признать, что эти руководители, в том числе и я, при сложившейся тогда обстановке, кто из малодушия, а кто из карьеристских соображений, чаще всего не противились в подобных случаях, даже если не были уверены в справедливости обвинения.

Что касается Б. И. Шавырина, ко мне пришли уже после того, как распоряжение о его аресте подписали нарком госбезопасности и генеральный прокурор. Тем не менее я отказался поставить свою подпись на этом документе. Материалы «дела» убедили меня не в «виновности» Б. И. Шавырина, а в том, что кому-то понадобилось в тот напряженный момент арестовать единственного главного конструктора минометов, сорвать работу над ними и с помощью «следственных средств» осветить положение дел таким образом, чтобы виновниками задержки в создании этого замечательного оружия оказались сами его творцы. Такой характер этого «дела» виден был и из того, что арестовать одного из крупнейших главных конструкторов оборонной промышленности собирались без обязательной для этого санкции правительства. Кстати, такая попытка тоже отражала уже упомянутое пренебрежительное отношение к минометному вооружению и тем, кто его создавал.

Долго и настойчиво убеждали меня представители наркомата госбезопасности, что располагают вполне достаточными и убедительными материалами и что арест Б. И. Шавырина нужно осуществить немедленно для пресечения «злостного вредительства» в минометном деле. Они приходили несколько раз, принося все новые «доказательства».

Но чем больше разбухал перечень псевдоулик, тем очевиднее становилось для меня, что этот материал не обвинение, а иллюстрация того, какие препятствия, начиная с крупных и кончая мелочами, ставились на пути создания советского минометного вооружения. И самые серьезные, катастрофические последствия в этом отношении мог вызвать арест Б. И. Шавырина. Видя это, я решительно отказался дать требуемую санкцию.

Вопрос на некоторое время повис в воздухе, поскольку вскоре, как уже сказано, арестовали меня самого. А потом, когда тяжелые уроки начала войны изменили многое, минометы и их творцы получили заслуженное признание. И одним из самых уважаемых людей в нашей стране стал талантливый конструктор вооружения Б. И. Шавырин.

Можно с уверенностью сказать, что при более благоприятных условиях и главным образом при лучшем отношении к минометам со стороны нашего командования советская промышленность была способна в довоенный период обеспечить советским войскам еще большее превосходство в этом вооружении.

Подтверждение тому дал уже начальный этап войны. Когда в ходе боевых операций этот вид вооружения более чем оправдал себя и потребовалось увеличить его поставки фронту, советская промышленность только за один 1942 год дала Красной Армии более 25 тысяч минометов калибра 120 миллиметров. Противник же получил возможность применить это очень эффективное вооружение лишь в 1944 году.

V

В ходе эволюции стрелкового оружия наибольшей критике в предвоенные годы подверглась винтовка.

Наряду со станковым пулеметом она в начале первой мировой войны считалась основным и главным стрелковым вооружением армий всех государств, но в дальнейшем, с появлением первых образцов автоматического оружия, хотя и несовершенных, возникла концепция отмирания обычной (драгунской) винтовки. Сторонники такого мнения считали, что она потеряла свое значение и должна быть полностью заменена различными пулеметами. Ярким отражением этих крайних взглядов был изданный во Франции после первой мировой войны пехотный устав, согласно которому бойцу с винтовкой не было места в стрелковых частях; они комплектовались автоматчиками и прислугой при автоматах. Существовала и другая точка зрения, отстаивавшая винтовку как основное оружие пехоты.

В Красной Армии главным оружием стрелковых частей сначала была винтовка Мосина образца 1891 года. К 1930 году ее модернизировали. Решение об этом было принято для устранения выявленных в войну ее недостатков, а также в связи с тем, что на создание автоматического стрелкового оружия, удовлетворяющего современным тактико-техническим требованиям, нужно было намного больше времени и средств. Модернизированная винтовка образца 1891—1930 годов, заняв место в одном ряду с лучшими иностранными образцами и опередив их по продолжительности существования, оставалась на вооружении Красной Армии вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

В довоенное время ее производство осуществляли на двух оружейных предприятиях и осваивали в порядке мобилизационной подготовки на одном из заводов среднего машиностроения. Последнее обстоятельство, как мы увидим далее, сыграло в годы войны исключительно важную роль, так как позволило намного увеличить выпуск винтовок.

До нападения гитлеровской Германии на нашу страну указанный машиностроительный завод выпускал свою обычную продукцию и одновременно, используя специальные станки, инструменты, заготовки, осваивал изготовление всех деталей драгунской винтовки, за исключением ствола и ложа. Вскоре он уже смог поставлять их одному из оружейных заводов, а там они поступали на сборку винтовок наряду с собственными деталями. Этим обеспечивалась взаимозаменяемость деталей, постепенно ставшая полной. Оружейный и машиностроительный заводы систематически обменивались приемочными калибрами и достигли по всем без исключения производственным операциям одинакового состояния технологического процесса, строго соответствовавшего технической документации. В результате мы фактически имели, кроме двух оружейных заводов, изготовлявших драгунскую винтовку, еще один, третий, способный при необходимости полностью переключиться на выпуск деталей для этого оружия.

В целом считалось, что эти три предприятия имели мощности, позволявшие в случае войны изготовить в первый год необходимое количество драгунских винтовок, как и предусматривалось мобилизационными планами.

Практически же мощности оказались выше, чем предполагалось. Так, за 1941 год было выпущено 2,5 миллиона винтовок, а в следующем, 1942 году, когда два предприятия, перебазированные на восток, возобновили работу на новом месте, промышленность вооружения дала более 4 миллионов винтовок. Всего за годы войны их изготовили для Красной Армии примерно 12 миллионов.

Говоря о винтовке, следует отметить одну важную сторону дела. Речь о том, что при ее модернизации вооруженцы получили указание сохранить штатный патрон калибра 7,62 миллиметра образца 1908 года. По-видимому, это объяснялось наличием определенного запаса боеприпасов такого калибра. Вследствие этого штатный патрон образца 1908 года был единым для всех винтовок и пулеметов этого калибра, в том числе и автоматических, вплоть до окончания Великой Отечественной войны; речь идет, конечно, о гильзе. Конструктивно гильза патрона образца 1908 года была характерна тем, что шляпка ее выступала, образовывая закраину, которая усложняла механизмы автоматики, расширяла размеры и утяжеляла оружие. Как правило, все конструкторы-вооруженцы именно этим, а также размерами и весом штатного патрона объясняли свои неудачи в попытках обеспечить заданные тактико-технические требования, вес и габариты автоматов.

Были у старого патрона и другие недостатки.

Крупнейшие знатоки стрелкового оружия были сторонниками перехода на новый патрон меньшего калибра, который дал бы возможность провести унификацию в оружейном деле. Старейший советский ученый и конструктор профессор генерал-лейтенант В. Г. Федоров писал: «...Дальнейшая эволюция индивидуальных образцов стрелкового вооружения может направиться к сближению двух типов, а именно — автомата и пистолета-пулемета на базе проектирования нового патрона. Ружейная техника ближайшего будущего стоит перед созданием малокалиберного автомата-карабина, приближающегося к пистолету-пулемету, но разработанному, само собою разумеется, под более мощный патрон... Создание одного патрона с уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулеметов прицельной дальностью разрешило бы задачу создания будущего оружия... Винтовки и ручные пулеметы будут иметь один патрон с уменьшенным калибром».

Но, как видим, этот вопрос не был решен своевременно, в первые годы после окончания гражданской войны, а в рассматриваемый период нужно было думать о запасах патронов, изготовлявшихся не только для винтовок, но и для других типов штатного оружия того же калибра — станковых ручных и специальных пулеметов. И, конечно, было бы рискованно в напряженной обстановке 30-х годов начинать коренное перевооружение с введения новых боеприпасов для решающего, массового оружия.

Несмотря на существовавшие трудности, связанные, кстати сказать, далеко не только с недостатками штатного патрона, в довоенный период была создана для Красной Армии вся гамма автоматического стрелкового оружия, не считая пулемета Максима, доставшегося нам от прежних времен. Она целиком оправдала себя в тяжелых битвах с врагом, явилась одной из решающих предпосылок Победы.

И каждый из образцов этого оружия имеет свою историю, подчас весьма поучительную.

VI

И. В. Сталин уделял в предвоенные годы и особенно начиная с 1938 года большое внимание работам, связанным с созданием самозарядной винтовки (СВ). С присущей ему настойчивостью следил он за ходом конструирования и изготовления ее образцов. Высказывая недовольство медленными темпами работы, он не раз подчеркивал чрезвычайную необходимость иметь на вооружении нашей армии самозарядную винтовку. Говоря о ее преимуществах, высоких боевых и тактических качествах, он любил повторять, что стрелок с самозарядной винтовкой заменит десятерых, вооруженных обычной винтовкой. Кроме того, говорил Сталин, СВ сохранит силы бойца, позволит ему не терять из виду цель, так как при стрельбе он сможет ограничиться лишь одним движением — нажимать на спусковой крючок, не меняя положения рук, корпуса и головы, как это приходится делать с обычной винтовкой, требующей перезарядки патрона.

Сталин считал очень важным, чтобы самозарядная винтовка могла производить до 20—25 выстрелов в минуту или примерно вдвое больше, чем винтовка образца 1891—1930 годов.

Первоначально намечали вооружить Красную Армию автоматической винтовкой, но потом остановились на самозарядной, позволяющей рационально расходовать патроны и сохранять большую прицельную дальность, что особенно важно для индивидуального стрелкового оружия.

Правда, с точки зрения конструирования и производства самозарядная винтовка абсолютно такая же, как автоматическая, и отличается лишь тем, что требует нажатия на спусковой крючок при каждом выстреле. Автоматическая винтовка не нуждается в этом только потому, что имеет одну-единственную дополнительную деталь, называемую переводчиком и обеспечивающую непрерывную стрельбу. Выбрасывание же гильзы, подача нового патрона в ствольную коробку и продвижение его в ствольной коробке до положения готового к выстрелу происходят в обеих винтовках совершенно одинаково, причем и автоматическую можно использовать как самозарядную.

Отдавая предпочтение СВ, Сталин отмечал, что хочет исключить возможность автоматической стрельбы, ибо, как он говорил, в условиях боя нервозное состояние стрелков толкнет большинство их на бесцельную непрерывную стрельбу, нерациональное расходование большого количества патронов. Исходя из этих соображений, он отклонил и предлагавшееся военными компромиссное решение — изготовлять и поставлять переводчик для автоматической стрельбы в качестве отдельной запасной детали.

В связи с этим мне вспоминается эпизод, относящийся, кажется, к 1943 году.

Однажды Сталин сказал мне по телефону, что получил от Н. А. Булганина сообщение об одном фронтовике, который очень легко переделал самозарядную винтовку в автоматическую.

— Я дал указание,— сказал Сталин,— автора наградить за хорошее предложение, а за самовольную переделку оружия наказать несколькими днями ареста. Вам я звоню потому, что хочу послать сообщение товарища Булганина на ваше заключение. Вы прочтите и напишите ваше мнение.

Я был наркомом боеприпасов, а винтовки изготовляла промышленность вооружения. Но когда я напомнил об этом Сталину, он ответил:

— Хорошо помню, что вы теперь нарком боеприпасов, но я вам звоню не как наркому, а хочу знать именно ваше мнение.

Материал немедленно был мне доставлен. Просмотрев его, я пришел к выводу, что упомянутый фронтовик, как видно, работал раньше на винтовочном заводе и знал, что автоматическая и самозарядная винтовки — одно и то же, если не считать названной выше детали (переводчика). Приспособив ее к СВ, он и получил автоматическую винтовку.

В таком духе я ответил Сталину, и на этом дело закончилось. Но, сопоставляя данный случай с довоенными событиями, относящимися к истории создания самозарядной винтовки, я вижу, как быстро забывается то, над чем подчас долгое время ломают копья. Ведь когда обсуждался вопрос о том, какую создавать винтовку — автоматическую или самозарядную, все знали, что разница между ними только в одной небольшой детали. Но прошло несколько лет, и все было забыто.

Но вернемся ко второй половине 30-х годов.

Одновременно с вышесказанным Сталин требовал, и в этом его поддерживали и военные, и вооруженцы, чтобы СВ была легкой, ненамного тяжелее драгунской образца 1891—1930 годов. Это условие было очень существенным, но, к сожалению, Сталин и военные в дальнейшем сами от него отступили.

Надо сказать, что к тому времени история создания самозарядной винтовки уже насчитывала десятки лет, а существенных результатов все еще не было. Первое автоматическое многозарядное ружье сконструировал в 1866 году английский инженер Куртис. В России в 1908 году была организована особая

комиссия по разработке этого оружия. Конструкторам не удавалось выполнить все требования, предъявляемые армиями к автоматической винтовке, вследствие чего она и не заняла надлежащего места в системе вооружения.

После первой империалистической войны внимание к этим работам в СССР и других государствах усилилось.

В январе 1926 года состоялся первый советский конкурс на автоматическую винтовку, но ни одна из представленных систем не выдержала всех испытаний. Участникам было предложено улучшить свои конструкции и представить их в самозарядном варианте с магазином на 5—10 патронов к следующему, второму конкурсу. Он состоялся в июле 1928 года. И на этот раз результаты стрельб оказались плохими. На третьем конкурсе, в 1930 году, привлекла внимание лишь одна система, представленная В. Дегтяревым, однако и на нее промышленности был дан очень небольшой заказ — только для войсковых испытаний.

Новые конкурсные испытания удалось провести уже в 1937—1939 годах, после завершения работ по улучшению образцов. В этот период опробовали несколько самозарядных винтовок, в том числе представленные конструкторами Токаревым и Симоновым.

Тогда-то и допустили ошибку.

Симонов создал наиболее легкий образец с наилучшим механизмом автоматики, но вследствие небрежности самого конструктора при изготовлении винтовки она показала на стрельбах несколько худшие результаты, чем конструкция Токарева.

Будучи членом комиссии, я руководствовался тем, что принять на вооружение массовое стрелковое оружие — дело тонкое и ответственное. Ведь, например, винтовка в отличие от других видов вооружения обычно принимается на долгие годы, так как последующие изменения ее конструкции неизбежно требуют и сложных мероприятий в организации боевой подготовки в армии, и длительного, дорогостоящего технологического переоснащения промышленности. Это в особенности относилось к самозарядной винтовке; мне было ясно, что лучший из представленных на конкурс образцов — симоновский и что отказывал он при стрельбе не по конструктивным причинам, а по производственным, то есть вполне устранимым.

Достоинства винтовки Симонова не ограничивались самым малым весом, хотя и это было исключительно важно, ведь требование, чтобы самозарядные винтовки были как можно легче, являлось одним из главных. Наряду с другими преимуществами винтовка Симонова имела меньшие габариты и маленький штык-тесак, что обеспечивало хорошую маневренность.

Но как раз против маленького тесака и ополчились военные, ссылаясь на то, что русская винтовка из-за наибольшей длины штыка всегда имела преимущества в ближнем бою.

Я настаивал на том, что симоновская винтовка лучше других, и просил дать возможность изготовить новые образцы для повторных испытаний. Большинство членов комиссии не согласилось на это и решило рекомендовать на вооружение винтовку Токарева. В этом сказалась прежде всего недостаточная техническая эрудиция. Несомненно, оказала влияние популярность Токарева. Он был старым конструктором-оружейником, известным специалистом по автоматам, тогда как Симонова знали мало и уже только поэтому отнеслись к нему с некоторым недоверием.

При рассмотрении этого вопроса в присутствии Сталина я вновь выступил против самозарядной винтовки Токарева и привел доказательства превосходства симоновского образца. Напомнив И. В. Сталину, в частности, о его указании относительно минимального веса, я отметил, что винтовка Симонова лучше отвечает этому, вполне обоснованному, требованию.

Сталин в ходе дискуссии давал возможность всем говорить сколько угодно, а своего мнения не высказывал, ограничиваясь лишь вопросами к выступавшим. Меня он слушал так внимательно, а вопросы его были столь благожела-

тельны, что его согласие с моей точкой зрения, хотя отстаивал ее я один, казалось несомненным. Каково же было мое удивление, когда Сталин предложил принять на вооружение винтовку конструктора Токарева.

У меня невольно вырвался вопрос:

— Почему же?

Сталин ответил:

— Так хотят все.

К организации производства самозарядной винтовки Токарева мы приступили на одном из оружейных заводов. Так как чертежи не были отработаны, то по указанию наркомата вооружения они уточнялись в процессе подготовки и освоения производства. При этом устранялись конструктивные недостатки, а также недоделки, мешавшие правильному ведению технологического процесса при массовом выпуске самозарядной винтовки. Объем этих работ оказался весьма значительным, так как Токарев *доводил* свои образцы только отстрелом и напильником, пренебрегая помощью грамотных инженеров-конструкторов, расчетчиков и технологов при подготовке элементов технической документации.

В результате сроки начала серийного выпуска срывались, и наркомат обороны пожаловался на меня Сталину, утверждая, что задержка была следствием отрицательного отношения к этой винтовке со стороны наркомата вооружения. Мне даже не пришлось давать объяснения. На заседании, куда я был вызван, Сталин изложил содержание жалобы наркомата обороны и тут же, не открывая обсуждения этого вопроса, продиктовал постановление. Оно было настолько кратким, что я запомнил его почти дословно. В нем было сказано: предложить товарищу Ванникову прекратить колебания и ускорить выпуск СВ Токарева.

После долгих мытарств завод наконец начал их выпускать и поставлять армии. Но прошло совсем немного времени, и посыпались жалобы на то, что самозарядная винтовка тяжела, громоздка, в эксплуатации сложна, и бойцы всеми силами стремятся от нее избавиться. А так как шла война с белофиннами и дело дошло до Сталина, назревал скандал.

Однажды вечером по вызову И. В. Сталина я явился к нему в Кремль. Он был один и мрачно ходил по кабинету. На длинном столе, стоявшем у стены, было разложено оружие. Подведя меня к столу и указав на один из образцов, Сталин спросил, что это за винтовка. Я сказал, что это автомат Федорова, и не из последних образцов. Перебрав несколько автоматов, он взял СВ Симонова и опять задал тот же вопрос. Я ответил. Видимо, этот образец и нужен был Сталину, так как он тотчас же принялся расспрашивать о сравнительных данных симоновской и токаревской самозарядных винтовок. Когда я доложил и об этом, он резко спросил:

— Почему приняли на вооружение токаревскую винтовку, а не симоновскую?

Когда я напомнил историю этого вопроса, Сталиным овладело раздражение. Он несколько раз молча прошелся по кабинету, а затем подошел ко мне и сказал:

— Вы виноваты. Вы должны были внятно доказать, какая винтовка лучше, и вас бы послушали. Почему вы допустили, что у нас такой длинный тесак?

Я молчал. Сталин сказал:

— Надо прекратить изготовление винтовок Токарева и перейти на изготовление винтовок Симонова, а тесак взять самый малый, например, австрийский.

Как я ни был поражен этими обвинениями, возражать и оправдываться было неуместно. Но в то же время я сразу представил себе последствия такого решения и решил попытаться предотвратить его. Я учел и то благоприятное в данном случае обстоятельство, что мы были одни. Ибо если бы присутствовал кто-нибудь еще, то он, несомненно, поддакивал бы Сталину, и тогда уже трудно было бы что-либо доказать.

Итак, я сказал, что прекращение производства токаревских СВ приведет к тому, что у нас не будет ни их, ни симоновских, так как выпуск последних можно начать не ранее чем через год-полтора. Сталин подумал, согласился и отказался от своего намерения. Вместо прекращения производства винтовки Токарева он предложил конструктивно улучшить ее, главным образом в части снижения веса, и уменьшить тесак, сделав все это без замены большого количества технологической оснастки.

Такое предложение было приемлемо, но его следовало обсудить с конструкторами и технологами, о чем я и сказал Сталину. Он тотчас же вызвал Маленкова и дал ему указание возглавить комиссию в составе представителей наркомата вооружения и военных, которая должна была при участии конструкторов и технологов подробно изучить каждую деталь токаревской СВ в целях ее облегчения и улучшения с тем, чтобы, как сказал Сталин, «приблизить самозарядную винтовку Токарева к самозарядной винтовке Симонова, а тесак взять самый наименьший».

Комиссия была сформирована в ту же ночь. Начавшуюся вслед за тем работу вели наспех. Комиссия стремилась облегчить вес металлических деталей путем сверления отверстий, увеличения фасок и т. п., а деревянных — утончая их. Битва шла за каждый грамм веса винтовки, за каждый час, приближавший начало выпуска облегченных СВ. Но как ни спешили, все же потребовалось немало времени. Да и переделанное всегда хуже нового. Это была расплата за ошибки, тем более тяжелая, что она наступила в канун Великой Отечественной войны, хотя при ином, вдумчивом подходе можно было заблаговременно изготовить нужное количество хороших самозарядных винтовок и полностью снабдить ими Красную Армию.

А как же относительно моих «колебаний»? После одного из заседаний я подошел к И. В. Сталину и В. М. Молотову и попросил отменить принятое на этот счет постановление, поскольку у меня не было никаких «колебаний», а что касается оценки винтовок Симонова и Токарева, жизнь подтвердила мою правоту. Ответил мне В. М. Молотов.

— Отменять решение,— сказал он,— не следует, так как вопрос не в том, правильно или неправильно вы колебались, а в том, когда колебались.

Казалось бы, история о СВ должна была стать уроком осторожности при решении вопросов вооружения. К сожалению, это было не так.

Наступил 1941 год. Наркомат обороны неожиданно изменил свой очередной годовой заказ, включавший около 2 миллионов винтовок, в том числе 200 тысяч самозарядных. Он пожелал увеличить их выпуск до 1 миллиона штук и в связи с этим даже готов был полностью отказаться от обычных (драгунских) винтовок.

Наркомат вооружения счел это требование непонятным. Время было напряженное, задача укрепления обороноспособности страны ставилась острее, чем когда-либо. И вдруг — заказ только на СВ, которая при всех своих достоинствах не могла полностью заменить обычную винтовку — что имели в виду военные,— так как оставалась пока сложной и тяжелой.

Решение этого вопроса было передано в комиссию, состоявшую из В. М. Молотова (председатель), Н. А. Вознесенского, Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, С. К. Тимошенко, Г. К. Жукова и других.

Докладывая на ее заседании о точке зрения наркомата вооружения, я добавил к вышеупомянутому соображению и другие, основанные на том, что, как тогда считали, война должна была начаться в ближайшие годы. Тот факт, что она оказалась ближе, чем ожидали, лишь подчеркивает опасный характер отказа от обычных винтовок. Касаясь военной стороны дела, я отметил, что иметь на вооружении только самозарядную винтовку можно лишь при том условии, если будет решен вопрос о ее облегчении и упрощении путем перехода на патрон иной геометрии и меньшего веса и размера. Но даже имеющуюся на вооружении СВ, считал я, ввиду сложности ее автоматики в ближайшие годы не успеет освоить большая часть кадровой армии, не говоря уже о призываемых из запаса, которых обучали владеть только драгунской винтовкой.

Кроме того, наркомат вооружения производил тогда драгунские винтовки на двух заводах с соответствующим технологическим оборудованием, причем только один из них располагал мощностями для выпуска СВ, да и то в количестве примерно 200 тысяч штук. Таким образом, годовой заказ на 1 миллион самозарядных винтовок практически нельзя было выполнить, так как одному из заводов потребовалось бы для расширения их выпуска сократить на длительное время общее производство, а второму — полностью переоснастить цеха, на что уйдет более года.

Из сказанного вытекало, что согласиться с военными означало совершить тяжелую и непростительную ошибку.

Но никакие доводы не были приняты во внимание. Напротив, пришлось выслушать немало резких упреков, и, как это ни странно, особенно нападал на наркомат вооружения Н. А. Вознесенский, который в то время ведал оборонной промышленностью и, казалось, должен был знать хоть основную, главную суть вопросов. К сожалению, он ее не знал, хотя и был незаурядным человеком. В конце концов председатель комиссии заявил:

— Нам не нужны ваши устаревшие винтовки.

Окончательный вывод комиссии, который должен был в тот же день стать официальным постановлением, гласил: заказ дать только на самозарядные винтовки и поручить наркомату вооружения совместно с представителями наркомата обороны определить максимальное количество СВ, которое могут выпустить заводы в 1941 и последующих годах.

Тут же мне было дано указание немедленно вызвать директора одного из оружейных заводов В. Н. Новикова и приступить к выполнению принятого комиссией решения.

В наркомате меня ждали мои заместители В. М. Рябиков и И. А. Барсуков. Узнав об итогах заседания комиссии В. М. Молотова, они также сочли решение ошибочным и настойчиво высказались за то, чтобы я опротестовал его немедленно, пока оно еще не оформлено официальным постановлением. В. Н. Новиков же был настолько обескуражен предстоявшей ему задачей, что начал просить меня не издавать пока соответствующего приказа, как будто от этого что-нибудь зависело.

В. М. Рябиков и И. А. Барсуков возобновили атаки на меня. Когда же я обратил их внимание на состав комиссии и сказал, что жаловаться некому, В. М. Рябиков с той же настойчивостью предложил мне обратиться к Сталину.

Я не решался.

Тогда мои товарищи по работе убедили меня позвонить Н. А. Вознесенскому с тем, чтобы еще раз попытаться переубедить его. Но последний не пожелал ничего слушать и в грубой форме потребовал прекратить «саботаж и волокиту» и приступить к немедленному выполнению решения.

И тогда я все же позвонил И. В. Сталину. Подобно мне, В. М. Рябиков и И. А. Барсуков, остававшиеся рядом со мной, с волнением ждали, что ответит он на просьбу принять меня по вопросу о заказе на винтовки.

Сначала Сталин сказал, что уже в курсе дела и согласен с решением комиссии.

В. М. Рябиков и И. А. Барсуков знаками настаивали, чтобы я изложил по телефону свои доводы.

Сталин слушал. Потом он сказал:

— Ваши доводы серьезны, мы их обсудим в ЦК и через 4 часа дадим ответ.

Мы не отходили от телефона, ждали звонка. Ровно через 4 часа позвонил Сталин. Он сказал:

— Доводы наркомата вооружения правильны, решение комиссии товарища Молотова отменяется.

И ушел, даже не выслушав слов благодарности» (А. Лесс. Непрочитанные страницы. М. 1966, с. 254).

Как видно из публикуемых писем, Булгаков испытывал чувство глубокой признательности Вересаеву, высоко ценил благородную позицию старшего товарища по перу, делился с ним самыми сокровенными мыслями и переживаниями.

1925 г. 6 декабря.

Дорогой Викентий Викентьевич,

я был у Вас, чтобы без всякой торжественности поздравить Вас[1]. Вчера, собираясь послать Вам парадное письмо, я стал перечитывать Вас, письма так и не написал, а ночью убедился, насколько значительно то, что Вы сочинили за свой большой путь.

Не раз за последние удивительные годы снимал я с полки Ваши книги и убеждался, что они живут. Сроков людских нам знать не дано, но я верю, и совершенно искренно, что я буду держать в руках Вашу новую книгу и она также взволнует меня, как много лет назад меня на первом пороге трудной лестницы взволновали «Записки врача».

Это будет настоящей радостью — знаком, что жива наша Словесность Российская — а ей моя любовь.

Крепко целую Вас

Михаил Булгаков.

1926 г., 19 августа
Москва

Дорогой Викентий Викентьевич!

Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего о том, что такое излишек площади (я лично считаю излишним лишь все сверх 200 десятин), толкнуло меня на подачу анкеты в Кубу[2].

Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнете ли квалификационной даме, сидящей под плакатом у Незлобинского театра, или мне (не упоминая об отрицательных сторонах моего характера) Ваше заключение обо мне.

Как скорее протолкнуть анкету и добиться зачисления?

Советом крайне обяжете!

Когда собираетесь вернуться? Как Ваше здоровье? Работаете ли над Пушкиным?[3] Как море? Если ответите на все эти вопросы — обрадуете. О Вас всегда вспоминаю с теплом.

Мотаясь между Москвой и подмосковной дачей (теннис в те редкие промежутки, когда нет дождя), добился стойкого и заметного ухудшения здоровья. Радуют многочисленные знакомые: при встречах говорят о том, как я плохо выгляжу, ласково и сочувственно осведомляются, почему я в Москве, или утверждают, что ...с осени я буду богат!! (намек на Театр).

Последнюю мысль мне они внушили настолько, что я выкормил в душе одно — с осени платить долги!!!

В редкие минуты просветления, впрочем, сознаю, что мысль о богатстве — глупая мысль.

Итак, желаю Вам отдохнуть.

Преданный Вам

М. Булгаков.

Мал. Левшинский пер. 4, кв. 1.

1926. 18. XI.

Дорогой Викентий Викентьевич!

При сем посылаю Вам два билета (для Вас и супруги Вашей) на «Дни Турбиных». Кроме того, посылаю первые 50 рублей в уплату моего долга Вам. Только вчера начал небольшими порциями получать гонорар (громадные суммы забрали крупные мои кредиторы и в 1-ю очередь Театр). Только этим объясняется моя задержка в уплате Вам.

Посылаю Вам великую благодариость, а сам направляюсь в ГПУ (опять вызвали).

Искренно преданный Вам

М. Булгаков.

[без даты]

Дорогой Викентий Викентьевич, у меня сняли телефон и отрезали таким образом от мира[4].

Зайду к Вам завтра (2-го) в 5 час. вечера. Удобно ли это Вам?

Любовь Евгеньевна и я Марии Гермогеновне[5] шлем привет!

Ваш М. Булгаков
(бывший драматург, а ныне режиссер МХТ).

29.VI.31 г.

Дорогой Викентий Викентьевич!

К хорошим людям уж и звонить боюсь, и писать, и ходить: неприлично я исчез с горизонта, сам понимаю.

Но, надеюсь, поверите, если скажу, что театр меня съел начисто. Меня нет. Преимущественно «Мертвые души». Помимо инсценирования и поправок, которых царствию, по-видимому, не будет конца, режиссура, а кроме того, и актерство (с осени вхожу в актерский цех — кстати, как Вам это нравится?).

МХТ уехал в Ленинград, а я здесь вожусь с работой на стороне (маленькая постановка в маленьком театре)[6].

Кончилось все это серьезно: болен я стал, Викентий Викентьевич. Симптомов перечислять не стану, скажу лишь, что иа письма деловые перестал отвечать. И бывает часто ядовитая мысль — уж не свершил ли я в самом деле свой круг? По-ученому это называется неврастения, если не ошибаюсь.

А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал[7].

Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?

Видел позавчера сон: я сижу у Вас в кабинете, а Вы меня ругаете (холодный пот выступил).

Да не будет так наяву!

Марии Гермогеновне передайте и жены моей и мой привет! И не говорите, что я плохой. Я — умученный. Желаю Вам самого всего хорошего.

Ваш М. Булгаков.

22.VII.31 г.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Сегодня, вериувшись из г. Зубцова, где я 12 дней купался и писал, получил Ваше письмо от 17.VII и очень ему обрадовался.

Вы не могли дозвониться, потому что ни Любови Евгеньевны, ни меня ие

Я сейчас же позвонил Вознесенскому, но не застал его. Вскоре он сам связался со мной по телефону, и я сообщил ему об ответе Сталина. Вознесенский заявил, что ему уже все известно, но он удивлен тем, что я сначала не договорился с ним.

На радостях я промолчал.

Я часто вспоминал потом этот день и думал: а что если бы В. М. Рябиков, И. А. Барсуков и В. Н. Новиков не предприняли столь упорного нажима на меня? Ведь я уже смирился и готовился приступить к выполнению решения. Через несколько месяцев началась Отечественная война, а вскоре завод, выпускавший СВ, был эвакуирован.

Это значит, что, осуществив указание упомянутой комиссии, мы бы не имели в начале войны, в самый тяжелый период, ни одного винтовочного завода, ибо второй бездействовал бы, хотя и находился в глубоком тылу. Что же касается запасов винтовок, то, как уже сказано, они хранились в приграничных районах и были потеряны на первом же этапе войны. Наконец, большие потери винтовок несла тогда и наша отступавшая армия.

Легко представить себе, какие тяжелые последствия имело бы вышеприведенное решение комиссии.

Окончание следует.

ПИСЬМА М. А. БУЛГАКОВА В. В. ВЕРЕСАЕВУ

Наследники В. В. Вересаева, В. Нольде и Е. Зайончковский, передали редакции «Знамени» сохранившиеся в его архиве письма Михаила Афанасьевича Булгакова. Письма эти — важная часть эпистолярного наследия Булгакова, они во многом пополняют и обогащают наши познания о его жизни и творческом труде.

Выражая глубокую признательность В. Нольде и Е. Зайончковскому за предоставленную нам возможность познакомить читателей с неопубликованными письмами Булгакова, а также за их послесловие и комментарии к данной публикации, редакция считает нужным предпослать ей краткие сведения о том, как завязалось личное знакомство между Булгаковым и Вересаевым, и о некоторых существенных обстоятельствах их взаимоотношений.

Личность писателя Вересаева, автора знаменитых «Записок врача», живо интересовала Булгакова смолоду, с той поры, когда он был студентом-медиком и когда он, уже дипломированный врач, работал в госпиталях и больницах. Вскоре после того, как Булгаков в 1921 году приехал в Москву, он воспользовался первой же возможностью лично увидеть Вересаева и побывал по меньшей мере на одной его публичной лекции. Кроме того, как видно из дневниковой записи Булгакова от 14 февраля 1922 года, он присутствовал на «суде» над «Записками врача», состоявшемся в здании бывших Женских курсов на Девичьем поле. Булгаков пытливо вглядывался в Вересаева, вслушивался в его «низкий голос», отметил, что «говорит он мало, но когда говорит, как-то умно и интеллигентно у него выходит». «Мне он очень понравился»,— записал Булгаков в дневнике (см.: «Москва», 1987, № 7, с. 30—31).

В 1923 году Вересаев, деятельно участвовавший в работе редколлегии альманаха «Недра» и в руководстве одноименным кооперативным издательством, обратил внимание на талант молодого прозаика, высоко оценил «Белую гвардию» Булгакова, рекомендовал к печати «Роковые яйца» (см.: Чудакова М. Архив М. А. Булгакова.— В кн. «Записки отдела рукописей ГБЛ». Вып. 37. М., 1976, с. 51). Л. Е. Белозерская вспоминала: «Приблизительно в это же время мы познакомились с Викентием Викентьевичем Вересаевым», он «очень доброжелательно относился к Булгакову». О том, как Булгаков впервые явился домой к Вересаеву, он с юмором поведал своей жене, Елене Сергеевне. Со слов Елены Сергеевны этот рассказ записали А. Л. Лесс и В. Я. Лакшин, причем их записи, сделанные в разное время, совпадают почти во всех подробностях. Булгаков пришел к Вересаеву без предупреждения; Вересаев, не расслышав его фамилию, сухо отказался принять незваного посетителя, и только после того, как понял, что перед ним автор «Записок на манжетах», сразу изменил тон и радушно пригласил: «Заходите, милости прошу!»

В 1925 году публикация «Белой гвардии» в журнале «Россия» прервалась. «Дьяволиаду» и «Роковые яйца» критика встретила враждебно. Печататься Булгакову стало негде. Вересаев тотчас же предложил ему материальную помощь. «Поймите,— писал он,— я это делаю вовсе не лично для Вас,— а желая оберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем. Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас,— добавил Вересаев,— Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит» (см.: «М. Горький и русская литература». Ученые записки Горьковского гос. университета. Горький, 1970, с. 165).

Вторично, и опять-таки по собственной инициативе, Вересаев протянул Булгакову руку помощи в тот злополучный 1929 год, когда были сняты с репертуара и запрещены сразу три булгаковские пьесы: «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров».

А. Лесс записал рассказ Елены Сергеевны:

«Как-то открывается дверь — входит Вересаев.

— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно,— сказал Вересаев своим глухим голосом, вынимая из портфеля завернутый в газету сверток.— Вот, возьмите... Здесь пять тысяч... Отдадите, когда разбогатеете...

было, а домашняя работница, очевидно, отлучалась. Телефон мой прежний — 2-03-27 (Б. Пироговская, 35а).

В самом деле: почему мы так редко видимся? В тот темный год, когда я был раздавлен и мне по картам выходило одно — поставить точку, выстрелив в себя, Вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность!

Но не только это. Наши встречи, беседы, Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны!

За то, что бремя стеснения с меня снимаете — спасибо Вам.

Причина — в моей жизни. Занятость бывает разная. Так вот моя занятость неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен был бы заниматься, полной безнадежности, нейростенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло.

Я запустил встречи с людьми и переписку. Вот, например, последнее обстоятельство. Ведь это же поистине чудовищно! Приходят деловые письма, ведь нужно же отвечать! А я не отвечаю подолгу, а иногда и вовсе не отвечал.

Вы думаете, что я не пытался Вам писать, когда, чтобы навестить Вас, не выкраивалось время из-за театра? Могу уверить, что начинал несколько раз. Но я пяти строчек не могу сочинить письма. Я боюсь писать! Я жгу начала писем в печке.

25.VII.

Вот образец: начал письмо 22-го и на второй странице завяз. Но теперь в июле — августе и далее я буду с этим бороться. Я восстановлю переписку.

26.VII. Викентий Викентьевич! Прочтите внимательно дальнейшее. Дайте совет.

Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсекром [8]. Это ужас и черный гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю.

Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? Ведь он же произнес фразу: «Быть может, Вам действительно нужно уехать за границу?..»

Он произнес ее! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня?..

27.VII. Продолжаю: один человек с очень известной литературной фамилией и большими связями, говоря со мной по поводу другого моего литературного дела, сказал мне тоном полууверенности:

— У вас есть враг.

Тогда еще фраза эта заставила меня насторожиться. Серьезный враг? Это нехорошо. Мне и так трудно, а тогда уж и вовсе не справиться с жизнью. Я не мальчик и понимаю слово — «враг». В моем положении это — lasciate ogni speranza [9]. Лучше самому запастись KCN'ом! [10] Я стал напрягать память. Есть десятки людей — в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мирке литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан.

Где-нибудь в источнике подлинной силы как и чем я мог нажить врага? И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии! Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк [11] и Хлудов (из «Бега»). Вот они мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной:

«Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами».

Тогда выходит, что мой главный враг — я сам.

Имеются в Москве две теории. По первой (у нее многочисленные сторонники) я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток. Так на мой вопрос: «А зачем же, ежели все это так важно и интересно, мне писать не дают?», от обывателей московских вышла такая резолюция: «Вот тут-то самое и есть. Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под Вашего пера хвала».

Но это совершенно переворачивает формулу «Бытие определяет сознание», ибо никак даже физически нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу. Поэтому я против этой теории.

Есть другая. У нее сторонников почти нет, но зато в числе их я.

По этой теории — ничего нет! Ни врагов, ни горнила, ни наблюдения, ни желания хвалы, ни призрака Кальсонера, ни Турбина, словом — ничего. Никому ничего это не интересно, не нужно, и об чем разговор? У гражданина шли пьесы, ну, сняли их, и в чем дело? Почему этот гражданин, Сидор, Петр или Иван, будет писать и во ВЦИК, и в Наркомпрос и всюду всякие заявления, прошения, да еще об загранице?! А что ему за это будет? Ничего не будет. Ни плохого, ни хорошего. Ответа просто не будет. И правильно, и резонно! Ибо если начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение.

Вот теория, Викентий Викентьевич! Но только и она никуда не годится. Потому что в самое время отчаяния, нарушив ее, по счастию мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу.

28.VII.

Но упала глухая пелена. Прошел год с лишним. Писать вновь письмо, уж конечно, было нельзя.

И тем не менее этой весной я написал и отправил [12]. Составлять его было мучительно трудно. В отношении к генсекретарю возможно только одно — правда, и серьезная. Но попробуйте все изложить в письме. Сорок страниц надо писать. Правда эта лучше всего могла бы быть выражена телеграфно:

«Погибаю в нервном переутомлении. **Смените мои впечатления** на три месяца. Вернусь!»

И все. Ответ мог быть телеграфный же: «Отправить завтра».

При мысли о таком ответе изношенное сердце забилось, в глазах показался свет. Я представил себе потоки солнца над Парижем! Я написал письмо. Я цитировал Гоголя, я старался все передать, чем пронизан.

Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное. Один человек утешал: «Не дошло». Не может быть. Другой, ум практический, без потоков и фантазий, подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен.

«Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Кто поверит?»

И так далее.

Я с детства ненавижу эти слова «кто поверит?». Там, где это «кто поверит?» — я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я — писатель?» И прочее и так далее.

Ныне хорошего ничего не жду. Но одна мысль терзает меня. Мне пришло время, значит, думать о более важном. Но, перед тем как решать важное и страшное, я хочу получить уж не отпуск, а справку. Справку-то я могу получить?

Кончаю письмо, а то я никогда его Вам не отошлю. Если вскоре не увидимся, напишу еще одно Вам о моей пьесе.

Викентий Викентьевич, я стал беспокоен, пуглив, жду все время каких-то бед, стал суеверен.

Желаю, чтобы Вы были здоровы, отдохнули. Марии Гермогеновне привет. Жду Вашего приезда, звонка. Любовь Евгеньевна в Зубцове.

Ваш М. Булгаков.

P. S. Перечитал и вижу, что черт знает как написано письмо! Извините!

15.III.32.

Мой телефон теперь
Г-3-58-03

Дорогой Викентий Викентьевич!

Все порываюсь зайти к Вам в сумерки, поговорить о литературе, да вот все репетиции.

У Станиславского репетируем — поздно кончаем [13].

А между тем иногда является мучительное желание поделиться.

Вчера получил известие о том, что «Мольер» мой в Ленинграде в гробу. Большой Драматический Театр прислал мне письмо, в котором сообщает, что худполитсовет отклонил постановку и что Театр освобождает меня от обязательств по договору.

Мои ощущения?

Первым желанием было ухватить кого-то за горло, вступить в какой-то бой. Потом наступило просветление. Понял, что хватать некого и неизвестно за что и почему. Бои с ветряными мельницами происходили в Испании, как Вам известно, задолго до нашего времени.

Это нелепое занятие.

Я — стар.

И мысль, что кто-нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеется и скажет: «Ну-ну, побарахтайся, побарахтайся»... Нет, нет, немыслимо!

Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя.

Живу после извещения в некоем щедринском тумане.

На столе лежит пьеса, на пьесе литера «Б» Главреперткома [14]. Но если вглядеться, то оказывается, что ни пьесы, ни литеры нет! Чудеса.

На репетицию надо идти!

Целую Вас, а Марии Гермогеновне прошу передать привет.

Ваш М. Булгаков.

Москва, 2.VIII.1933.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Как чувствуете Вы себя в Звенигороде [15] и что делаете?

Прежде всего хочу рассказать Вам о своей поездке в Ленинград. Там МХТ в двух театрах играл «Дни Турбиных». Играл с большим успехом и при полных сборах, вследствие чего со всех сторон ко мне поступили сообщения о том, что я разбогател. И точно: гонорар должен быть оттуда порядочный.

Вот мы и поехали в Ленинград, зная, как трудно заполучить в руки эти богатства.

Тут уж не я, а Елена Сергеевна [16], вооруженная доверенностью, нагрянула во 2-й из театров — Нарвский дом культуры. Заведующий театром дважды клялся, что вдогонку нам он немедленно переведет из моего гонорара 5 тысяч. Как Вы догадываетесь, он не перевел по сию минуту даже 5-ти копеек.

И наступила знакомая мне жизнь в мертвом театральном сезоне. Елена Сергеевна через Всероскомдрам шлет телеграммы и выцыганивает малые авансы, а я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьется своего и я, вернув Вам мой остающийся долг, еще раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич.

Ох, буду я помнить года 1929—1931!

Я встал бы на ноги, впрочем, раньше, если бы не необходимость покинуть чертову яму на Пироговской! Ведь до сих пор не готова квартира в Нащокинском. На год опоздали. На год! И разодрали меня пополам.

Но больше уж и говорить об этом не буду!

Что Вы делаете после «Сестер»? [17] Елена Сергеевна чрезвычайно, чрезвычайно интересно отзывается об этой книге! Мы с ней долго толковали об этом романе.

Я же, кроме того, просидел две ночи над Вашим Гоголем [18]. Боже! Какая фигура! Какая личность!

В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман [19]. Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверное, скоро брошу это.

Передайте, пожалуйста, Елены Сергеевны и мой привет Марии Гермогеновне.

Желаю Вам отдохнуть, желаю Вам хорошего.

Ваш М. Булгаков.

Б. Пироговская, 35а, кв. 6.

6.III.34 г.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Адрес-то я Вам не совсем точный дал. Надо так: Москва 19, Нащокинский пер., д. 3, кв. 44. До 10-го я позвоню Вам, и мы условимся, как быть с билетами. Я искренно опечален тем, что Вы сообщили о Вашем доме. Подтверждается ли это? Я от души желаю Вам, чтобы Ваше новое пристанище в случае, если придется уезжать, было бы хорошо.

А об этом кабинете сохраню самые лучшие воспоминания [20]. Я становился спокойнее в нем, наши беседы облегчали меня.

Свое жилище я надеюсь Вам вскоре показать, лишь только устроюсь поуютнее.

Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку.

Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае! Викентий Викентьевич!

Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом.

Господи! Хоть бы скорее весна. О, какая длинная, утомительная была эта зима. Мечтаю о том, как открою балконную дверь.

Устал, устал я.

Итак, приветствую Марию Гермогеновну, Вас обнимаю, а Елена Сергеевна просит Вас поблагодарить за приглашение и так же, как и я, приветствует Марию Гермогеновну.

Ваш М. Булгаков.

P.S. Елена Сергеевна перенесла грипп в серьезной форме.

Москва, 26 апреля 1934 года.
Москва 19 Нащокинский пер.
дом 3 кв. 44 тел. 58 67.

Дорогой Викентий Викентьевич!

На машинке потому, что не совсем здоров, лежу и диктую. Телефон, как видите, поставили, но пока прибегаю не к нему, а к почте, так как разговор длиннее телефонного. Никуда я не могу попасть, потому что совсем одолела работа. Все дни, за редкими исключениями, репетирую, а по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу, которую задумал давным-давно. Мечтал — допишу, сдам в театр Сатиры, с которым у меня договор, в ту же минуту о ней забуду и начну писать сценарий по «Мертвым душам». Но не вышло так, как я думал.

Прочитал в Сатире пьесу [21], говорят, что начало и конец хорошие, но середина пьесы совершенно куда-то не туда. Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! В голове со-

вершеннейший салат оливье: тут уже Чичиков лезет, а тут эта комедия. Бросить это дело нельзя: очень душевно отнеслись ко мне в Сатире. А поправлять все равно, что новую пьесу писать. Таким образом, не видится ни конца, ни края. А между тем и конец, и край этот надо найти.

Вот что я хотел Вас спросить, Викентий Викентьевич. В Звенигороде, там, где Вы живете, есть ли возможность нанять дачу? Если Вам это не трудно, позвоните или напишите нам об этом: у кого, где, есть ли там купанье? Вопрос идет главным образом о Сережке. Но Елена Сергеевна, конечно, и меня туда приладит. Мне это ни к чему, не люблю подмосковных прелестей, и, следовательно, я там не поправлюсь. Но за компанию и чтобы дать возможность жене с Сергеем подышать свежим воздухом, готов оказаться и на даче. Ежели не Звенигород, то еще где-нибудь близ Москвы да найдем что-нибудь.

Но дальше идет блестящая часть. Решил подать прошение о двухмесячной заграничной поездке: август — сентябрь. Несколько дней лежал, думал, ломал голову, пытался советоваться кое с кем. «На болезнь не ссылайтесь». Хорошо, не буду. Ссылаться можно, должно только на одно: я должен и я имею право видеть хотя бы кратко — свет. Проверяю себя, спрашиваю жену, имею ли я это право. Отвечает — имеешь. Так что ж, ссылаться, что ли, на это?

Вопрос осложнен безумно тем, что нужно ехать непременно с Еленой Сергеевной. Я чувствую себя плохо. Неврастения, страх одиночества превратили бы поездку в тоскливую пытку[22]. Вот интересно, на что тут можно сослаться? Некоторые из моих советников при словах «с женой» даже руками замахали. А между тем махать здесь нет никаких оснований. Это правда, и эту правду надо отстоять. Мне не нужны ни доктора, ни дома отдыха, ни санатории, ни прочее в этом роде. Я знаю, что мне надо. На два месяца — иной город, иное солнце, иное море, иной отель, и я верю, что осенью я в состоянии буду репетировать в проезде Художественного театра, а может быть, и писать.

Один человек сказал: обратитесь к Немировичу.

Нет, не обращусь! Ни к Немировичу, ни к Станиславскому. Они не шевельнутся. Пусть обращается к ним Антон Чехов!

Так вот решение. Обращаюсь к Елене Сергеевне. У нее счастливая рука.

Пора, пора съездить, Викентий Викентьевич! А то уж как-то странно — закат!

Успеха не желайте; согласно нашему театральному суеверию, это нехорошо.

Что Вы делаете, Викентий Викентьевич? Здоровы ли Вы и когда поедете в Звенигород? Дом Ваш не трогают (московский)? Будет ли перестройка?

Несмотря на некоторые неполадки и чертовы неряшливости, я счастлив в своей квартире. Много солнца. Ждем газа, а то ванн нельзя брать, а мне без ванн прямо гроб — очень помогают.

Я все-таки вырву минуту — приду к Вам, и очень прошу Вас, позвоните нам или напишите. Дайте Елене Сергеевне совет насчет Звенигорода.

И она и я передаем искренний привет Марии Гермогеновне. Я Вас обнимаю.

М. Булгаков.

Ленинград. Астория, 430.
11.7.34.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Вот уж около месяца я в Ленинграде, где, между прочим, лечусь электричеством и водой от нервного расстройства. Теперь чувствую себя получше, так что, как видите, потянуло писать письма.

Во время своего недуга я особенно часто вспоминал Вас, но не писал, потому что не о погоде же писать. А чтоб написать обстоятельно, надо поправиться. А теперь вспоминаю вдвойне, потому что купил книжку Н. Телешова «Литературные воспоминания». Он рассказывает о кличках, которые давались в литературных кругах. Прозвища заимствовались исключительно в названиях московских улиц и площадей. «Куприн, за пристрастие к цирку — „Конная площадь"», «Бунин, за худобу и остроословие — „Живодерка"» и так далее. А «Вересаев, за нерушимость взглядов — „Каменный мост"». И мне это понравилось. Впрочем, может быть, Вы читали?

Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях.

К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества, то есть, точнее говоря, боязнь оставаться одному. Такая гадость, что я предпочел бы, чтобы мне отрезали ногу!

Ну, конечно, врачи, бромистый натр и тому подобное. Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают, газет видеть не могу, хожу с Еленой Сергеевной под ручку или с Сережкой — одному смерть!

Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной (об этом я Вам писал). Сережка здесь, стало быть, все в полном порядке. Послал. А вслед за тем послал другое письмо Г.[23]. Но на это второе ответ получить не надеялся. Что-то такое там случилось, вследствие чего всякая связь прервалась. Но догадаться нетрудно: кто-то явился и что-то сказал, вследствие чего там возник барьер. И точно, ответа не получил!

Стал ждать ответа на заявление (в Правительственную Комиссию, ведающую МХАТ — А. С. Енукидзе).

— И Вам, конечно, отказали,— скажете Вы,— в этом нет ничего необыкновенного.

Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали.

Первое известие: «Заявление передано в Ц. К.»

17 мая лежу на диване. Звонок по телефону, неизвестное лицо, полагаю, служащий: «Вы подавали? Поезжайте в ИНО Исполкома, заполняйте анкету Вашу и Вашей жены».

К 4 часам дня анкеты были заполнены. И тут служащий говорит: «Вы получите паспорта очень скоро, относительно Вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, если бы пришли пораньше. Получите девятнадцатого».

Цветной бульвар, солнце, мы идем с Еленой Сергеевной и до самого центра города говорим только об одном — послышалось или нет? Нет, не послышалось, слуховых галлюцинаций у меня нет, у нее тоже.

Как один из мотивов указан мной был такой: хочу написать книгу о путешествии по Западной Европе.

Наступило состояние блаженства дома. Вы представляете себе: Париж! памятник Мольеру... здравствуйте, господин Мольер, я о Вас и книгу и пьесу сочинил; Рим! — здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я Ваши Мертвые души в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идет в театре, и даже совсем не похожа, но все-таки это я постарался... Средиземное море! Батюшки мои!..

Вы верите ли, я сел размечать главы книги!

Сколько наших литераторов ездило в Европу — и кукиш с маслом привезли! Ничего! Сережку нашего, если послать, мне кажется, он бы интереснее мог рассказать об Европе. Может быть, и я не сумею? Простите, попробую!

19-го паспортов нет. 23-го — на 25-е, 25-го — на 27-е. Тревога. Переспросили: есть ли распоряжение.— Есть. Из Правительственной Комиссии, через Театр узнаем: «дело Булгаковых устроено».

Чего еще нужно? Ничего.

Терпеливо ждать. Ждем терпеливо.

Тут уж стали поступать и поздравления, легкая зависть: «Ах, счастливцы!»

— Погодите,— говорю,— где ж паспорта-то?

— Будьте покойны! (Все в один голос).

Мы покойны. Мечтания: Рим, балкон, как у Гоголя сказано — пинны, розы... рукопись... диктую Елене Сергеевне... вечером идем, тишина, благоухание... Словом, роман!

В сентябре начинает сосать под сердцем: Камергерский переулок, там, наверно, дождик идет, на сцене полумрак, чего доброго, в мастерских «Мольера» готовят...

И вот в этот самый дождик я являюсь. В чемодане рукопись, крыть нечем!

Самые трезвые люди на свете, это наши мхатчики. Они ни в какие розы и дождики не веруют. Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. Значит же, дело серьезно! Настолько уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта (а в этом году как раз их едет очень много), включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта открыть, как я уже взялся за сердце.

Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М. А. Булгакову отказано.

Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба, Елизавет Воробей! О ней нечего и разговаривать!

Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос!

Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня. Но здесь начинаю поправляться.

Перед отъездом я написал генсекру письмо, в котором изложил все происшедшее, сообщал, что за границей не останусь, а вернусь в срок, и просил пересмотреть дело [24]. Ответа нет. Впрочем, поручиться, что мое письмо дошло по назначению, я не могу.

---

13 июня я все бросил и уехал в Ленинград. Через два дня мы возвращаемся в Москву. Может быть, на короткий срок поеду под Звенигород в деревню, где проживает Сережка с воспитательницей. Буду там искать покоя, как велит доктор.

Очень обрадуете меня, если напишете мне (Москва 19, Нащокинский пер. 3, кв. 44). Напоминаю телефон — 58-67.

И Елена Сергеевна и я шлем Марии Гермогеновне самый лучший привет.

Ваш М. Булгаков.

12.III.36 г.

Сейчас, дорогой Викентий Викентьевич, получил Ваше письмо и был душевно тронут! Удар очень серьезен. По вчерашним моим сведениям, кроме «Мольера», у меня снимут совсем готовую к выпуску в театре Сатиры комедию «Иван Васильевич» [25].

Дальнейшее мне неясно.

Серьезно благодарю Вас за письмо, дружески обнимаю. Желаю доброго

Ваш М. Булгаков.

2.X.1936.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Надеюсь, что Вы чувствуете себя хорошо и летом отдохнули?

Мне удалось провести месяц на Черном море. К сожалению, Елена Сергеевна съездила со мною неудачно. Привезла с юга какую-то инфекцию и хворает целый месяц. Теперь ей лучше, и я понемногу начинаю разбираться в хаосе, получившемся после моего драматургического разгрома.

Из Художественного театра я ушел. Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера». Договор на перевод «Виндзорских» я выполнять отказался. Тесно мне стало в Проезде Художественного театра, довольно фокусничали со мной.

Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто так либретто! [26]

В этом письме посылаю Вам справку Киевского театра о том, что налог с Вас удержан [27]. Мир праху Пушкина и мир нам. Я не буду тревожить его, пусть и он меня не тревожит.

Переписка Чехова с Книппер нашлась. Принесу ее Вам вместе с другими книгами и моим долгом, как только Елена Сергеевна поправится. Она приведет в порядок финансы, а то «Виндзорские» повисли на шее — надо вернуть деньги по договору.

Обнимая Вас, желаю плодотворной работы.

Ваш М. Булгаков.

Сделайте исключение из Вашего правила, дорогой Викентий Викентьевич, от Елены Сергеевны и меня Марии Гермогеновне передайте дружеский привет.

5.X.37.

Дорогой Викентий Викентьевич,

сейчас получил Ваше письмо и завтра принесу Вам мой долг (а может быть, удастся и сегодня).

Очень прошу извинить меня за то, что задерживался до сих пор: все время ничего не выходит.

Меня крайне огорчило то, что Вы пишете насчет пушкинской биографии и о другом. По себе знаю, чего стоят такие удары.

Недавно подсчитал: за 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, а та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдет 17-я или 19-я.

Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии.

Ваш М. Булгаков.

11.III.39.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Давно уж собирался написать Вам, да все работа мешает. К тому же хотел составить наше соглашение по «Пушкину».

Посылаю его в этом письме в двух экземплярах. Если у Вас нет возражений, прошу Вас подписать оба и вернуть мне один [28].

У меня нередко возникает желание поговорить с Вами, но я как-то стесняюсь это делать, потому что у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль все время устремляется к одной мрачной теме о моем положении, а это утомительно для окружающих.

Убедившись за последние годы в том, что ни одна моя строчка не пойдет ни в печать, ни на сцену, я стараюсь выработать в себе равнодушное отношение к этому. И, пожалуй, я добился значительных результатов.

Одним из последних моих опытов явился «Дон Кихот» по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них и будет лежать, пока не сгниет, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжен разрешающею печатью реперткома.

В своем плане они его поставили в столь дальний угол, что совершенно ясно — он у них не пойдет. Он, конечно, и нигде не пойдет. Меня это нисколько не печалит, так как я уже привык смотреть на всякую свою работу с одной сторо-

ны — как велики будут неприятности, которые она мне доставит? И если не предвидится крупных, и за то уже благодарен от души.

Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.

Все-таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог.

Над чем Вы работаете? Кончили ли Ваш перевод? [29]

Хотелось бы повидаться с Вами. Бываете ли Вы свободны вечерами? Я позвоню Вам и зайду.

Будьте здоровы, желаю Вам плодотворно работать.

Ваш М. Булгаков.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В архиве Викентия Викентьевича Вересаева, переданном нами в ЦГАЛИ, сохранилось двадцать одно письмо от М. А. Булгакова. Шесть из них, касающиеся совместной работы Булгакова и Вересаева над пьесой о Пушкине, были — вместе с ответами Вересаева — опубликованы Е. С. Булгаковой в журнале «Вопросы литературы», 1965, № 3. Остальные письма публикуются впервые.

Булгаков относился к Вересаеву с глубоким уважением и откровенно поверял ему свои мысли, переживания, тревоги. Такое доверие объяснялось не только тем, что известная книга Вересаева «Записки врача» произвела очень сильное впечатление на Михаила Булгакова и, несомненно, повлияла на него, когда он писал свои «Записки юного врача». Быть может, еще важнее для Булгакова было то обстоятельство, что Вересаев первым из крупных русских писателей старшего поколения по достоинству оценил дарование Булгакова и всячески помогал ему утвердиться в литературе. Надо сказать, что Вересаев вообще очень чутко относился к молодым литераторам, и когда он в феврале 1926 года был избран председателем Всероссийского Союза писателей, его поддержку ощутили многие начинающие прозаики, драматурги, поэты. Но его отношение к Булгакову было особенно заботливым. Мы имеем в виду не только то, что Вересаев дважды, с характерной для него щедростью, в самые трудные для Булгакова годы оказывал ему материальную помощь, но и то, что, несмотря на почти четвертьвековую разницу в возрасте, между ними возникла подлинная дружба.

Многие часы Викентий Викентьевич и Михаил Афанасьевич проводили в беседах в тиши вересаевского кабинета. В 1934 году пересеклись и их творческие пути. Они начали совместную работу над пьесой «Пушкин», причем договорились, что Вересаев берет на себя «разработку исторических материалов для пьесы», а Михаил Афанасьевич — «драматургическую часть». Такое разделение труда внешне выглядело вполне разумным, ибо Вересаев занимался изучением биографии Пушкина многие годы, а Булгаков обладал уже большим театральным опытом. Вскоре, однако, между соавторами возникли серьезные и даже острые разногласия — они отразились в их переписке по этому поводу (опубликованной, как сказано выше, в 1965 году). В конечном счете Вересаев отказался подписать завершенную пьесу, которой отдал много времени и сил.

Тем не менее этот конфликт не повлиял на их дружеские взаимоотношения. До самых последних дней жизни Булгакова Вересаев отзывался о нем очень тепло, считал его одним из талантливейших современных писателей. Мы хорошо помним слова Вересаева о том, что Булгаков — это «наш второй Гоголь», что в нем есть «искра божья». Вересаев сожалел, что великий талант Булгакова не раскрылся полностью, что лучшие творения его неведомы широкой читательской аудитории.

В 1945 году, незадолго до смерти, В. В. Вересаев, указывая нам, как распорядиться его архивом, когда его не станет, особо подчеркнул значение писем к нему М. А. Булгакова. Он сказал, что письма Булгакова следует непременно опубликовать, как только это станет возможным, как только творчество Булгакова получит всеобщее признание. В том, что такой момент рано или поздно наступит, Викентий Викентьевич не сомневался.

Ныне мы выполняем его волю.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] 5 декабря 1925 года отмечалось 40-летие литературной деятельности В. В. Вересаева.

[2] Кубу (или Цекубу) — Центральная комиссия по улучшению быта ученых, созданная в 1919 году при Совете Народных Комиссаров. Оказывала материальную поддержку и литераторам.

[3] В 1926—1927 гг. Вересаев завершил и опубликовал книгу «Пушкин в жизни» — свод эпистолярных, дневниковых и мемуарных свидетельств современников поэта.

[4] Письмо не датировано. Скорее всего оно написано 1 июня 1930 года, так как в мае 1930 года, после телефонного разговора со Сталиным (состоявшегося 18 апреля), Булгаков был зачислен в штат Московского Художественного театра на должность режиссера-ассистента, о чем упомянуто в конце письма.

[5] Любовь Евгеньевна Белозерская (1895—1987) — вторая жена Булгакова, Мария Гермогеновна Смидович (1875—1963) — жена Вересаева.

[6] В архиве М. А. Булгакова сохранилось соглашение с Передвижным театром Института санитарной культуры: Булгаков должен был осуществить в этом театре постановку пьесы Н. А. Венкстерн «Одиночка» (см.: **Чудакова М.** Архив М. А. Булгакова.— В кн.: «Записки отдела рукописей ГБЛ». Вып. 37. М., 1976, с. 51).

[7] Ленинградский Красный театр 5 июля 1931 года заключил с Булгаковым договор на пьесу «на тему о будущей войне». В октябре 1931 года драма «Адам и Ева» была закончена, но постановка ее не состоялась. (См.: **Шереметьева Е.** Из театральной жизни Ленинграда.— «Звезда», 1976, № 12, с. 192—200).

[8] В разговоре с Булгаковым 18 апреля 1930 года Сталин выразил желание побеседовать с ним лично: «Да, нужно найти время и встретиться, обязательно» (см.: «Октябрь», 1987, № 6, с. 189). Встреча так и не состоялась.

[9] «Оставь всякую надежду» (итал.) — слова из «Божественной комедии» Данте Алигьери («Ад», песнь третья), начертанные над вратами ада.

[10] Цианистый калий.

[11] Кальсонер — персонаж повести Булгакова «Дьяволиада» (альманах «Недра», 1924, № 4); Александр Семенович Рокк — персонаж повести Булгакова «Роковые яйца» (альманах «Недра», 1925, № 6).

[12] Письмо Булгакова И. В. Сталину от 30 мая 1931 года опубликовано в журнале «Октябрь», 1987, № 6, с. 181—182.

[13] Во МХАТе шли репетиции «Мертвых душ» по Гоголю в инсценировке Булгакова.

[14] Согласно правилам, установленным Главреперткомом в 1929 году, «литерой Б» отмечалось «произведение вполне идеологически приемлемое и допускаемое беспрепятственно к повсеместной постановке» («Репертуарный указатель Главного комитета по контролю за репертуаром». М., 1929, с. 4).

[15] У В. Вересаева была дача в поселке Николина Гора под Звенигородом, в дачном кооперативе «Ранис».

[16] Елена Сергеевна Булгакова (Шиловская) (1893—1970) — третья жена писателя.

[17] Роман Вересаева «Сестры» вышел в свет в 1933 году.

[18] Книга Вересаева «Гоголь в жизни» издана в 1933 году.

[19] Речь идет о романе «Мастер и Маргарита».

[20] Эти воспоминания Булгакова были сопряжены с кабинетом квартиры Вересаева на углу Смоленского и Шубинского переулков, возле Смоленской площади. Ныне на доме, где жил Вересаев, установлена мемориальная доска.

[21] Для Театра сатиры Булгаков написал пьесу «Иван Васильевич».

[22] В дневнике Е. С. Булгаковой 13 октября 1934 года отмечено: «У М. А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества. Думает — не обратиться ли к гипнозу» (См.: **Чудакова М.** Архив М. А. Булгакова..., с. 115).

[23] Упоминаемое письмо Булгакова к Горькому не разыскано.

[24] Письмо Булгакова Сталину от 10 июня 1934 года опубликовано в журнале «Октябрь», 1987, № 6, с. 183—184.

[25] Имеется в виду опубликованная 9 марта 1936 года редакционная статья «Правды» о постановке «Мольера» Булгакова на сцене МХАТа «Внешний блеск и фальшивое содержание». Как и предполагал Булгаков, «Мольер» был снят с репертуара, премьера комедии «Иван Васильевич» в Театре сатиры не состоялась.

[26] 15 сентября 1936 года Булгаков подал заявление об уходе из МХАТа, после чего написал несколько оперных либретто для Большого театра (сохранились либретто опер «Минин и Пожарский», «Черное море», «Петр Великий», «Рашель»).

[27] 6 декабря 1935 года Булгаков и Вересаев заключили с украинским Театром Красной Армии договор, согласно которому этому театру предоставлялось право постановки их пьесы о Пушкине в Киеве. Аналогичные договоры были заключены с Театром им. Вахтангова в Москве, с Красным театром в Ленинграде и с Театром русской драмы в Харькове.

[28] Пьеса «Пушкин» была начата Булгаковым в 1934 году в соавторстве с Вересаевым. Затем между авторами возникли серьезные разногласия. Решено было, что пьеса будет подписана одним Булгаковым, который озаботился, однако, тем, чтобы авторский гонорар делился «между обоими соавторами пополам». Это и оговорено в их «Соглашении» от 11 марта 1935 года.

[29] В это время Вересаев работал над новым переводом «Илиады» Гомера, изданным только в 1953 году, уже после кончины писателя.

Публикация, послесловие и комментарии
В. Нольде и Е. Зайончковского.

В. Фролова

ВЫБОРЫ: ПРОЛОГ БЕЗ ЭПИЛОГА

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

— Спрашиваю одного члена партии: «Все понятно в постановлениях январского и июньского Пленумов ЦК?» — «А как же!!» — изумился. И брови домиком...— Славно! А мне вот не все понятно. Я вам могу в пять минут двадцать пять вопросов набросать, на которые у меня ответов нет. И у вас их нет!.. Или у вас есть?.. Беру одну позицию: выборы руководителей. Говорят: дайте две-три кандидатуры, люди сами назовут лучшего. Возможно. Коллективу виднее. Но выборы руководителя — не выборы секретаря парткома в уставной срок. Скажите: к о г д а прежний, много лет работавший, вдруг стал худшим? Правильно я ставлю вопрос? Нет? Жду ответа, к о г д а?.. Нет точного ответа? А его надо иметь... Я инженер. Мне легче говорить цифрами. Чертим. По горизонтали — года, По вертикали — темпы роста. Руководитель когда-то начинал вот с этой точки, с нуля. Был окрылен. У лопаток пиджак трещал — крылья прорастали. Он генератор идей. Вокруг него сплотилось все умное, все талантливое, все имеющее возможность расти. Дела в коллективе поправились. Пошли от точки отсчета вверх... Вот так. (Твердая рука провела прямую и поставила точку А.) Идут года. Человек исчерпал резервы роста. Или даже просто приустал. Может устать? Вокруг люди, которые заинтересованы в том, чтобы коллектив хвалили, чтобы все оставалось как есть. Стремление к стабильности — в натуре человека. Верно? В кадровом корпусе кадровый застой. Меты омертвения. Руководитель умен. Он все видит. Но знает, шквала в болоте не поднять. Одних бы снять, с другими поссориться, с третьими подраться, с четвертыми объединиться,— но он же с этими людьми высоту А брал!.. Может, он напрасно себя терзает? То, что он, умница, видит, соседи не видят? Город не видит? Может, он среди слепых живет? Тем более, что рост-то есть. (Карандаш, спотыкаясь, карабкается — карабкается вверх, доползает до точки Б.) Годы идут. Что дальше?.. О том, что дальше, говорить неохота. (Карандаш проваливается. Прыгает вверх. Опять проваливается. Вскарабкался. Кривая заковыляла по скату.) Кадровый кризис. От рапортов — к рапортомании. Окружение уже не аппарат — контора. Контора плодит «документы». Липу. Ложь. Манипуляции цифрами. Кружение бюрократической карусели. Спрашивается, когда надо менять руководителя?

Смотрю на чертежик.

— Наверное, в точке Б?

— Гуманно. Мы все любим «подождать». Наступать на пятки соседу не любим! Гуманно... Но накладно! А что такое кривая АБ, если не кривая застоя? Вот точка, в которой пора менять руководителя: точка А! Тогда Ивана Ивановича можно не только сместить, но и переместить. И он, человек с самолюбием, на новом месте сплотит вокруг себя все умное, живое, жизнедеятельное, рванет к высоте А. Говорят: «Мы живем лучше, чем работаем». Лучше — за счет природных богатств, за счет продажи сырья..., за счет внуков, выходит. А может, хватит внуков обирать? А? Правильно я говорю? Нет?.. Так когда же менять руководителя? Как вы, пользуясь материалами Пленума, переведете вот эту точку А на язык даты — числа? месяца?

Рука инженера швыряет карандаш. Чертежик скомкан. Летит в корзину.

Ускорение — необходимость, продиктованная реальным положением дел. Выборы — инструмент ускорения. Выборы прошли в тысячах производственных коллективов страны, остро задели интересы многих. Точка А на прямой — драматическая, это конфликтный узел. Человек по инерции еще верит в себя и свои силы, но он, прежний, уже кончился. Дальше не работа — забота о сохранении кресла. Содержание кресла все дороже обходится государству. Сам человек не в состоянии себе сказать, что точка А — предел высоты, которую он способен взять.

Да и только ли о руководителях речь?

У каждого из нас своя точка А, и, поднявшись на нее, стóит трезво оценить свои силы.

Выборы — всегда стресс, сгусток эмоций. Для победившего — положительных, для побежденного — отрицательных. Но и для того, и для другого живительных.

Кто этот с о м н е в а ю щ и й с я, у кого это столько вопросов вызывают материалы Пленумов ЦК? Первый секретарь Севастопольского городского комитета партии Алексей Петрович Смолянников.

По образованию и опыту предыдущей работы он инженер. Несколько лет был в аппарате ЦК Компартии Украины. Он кандидат наук. А в Севастополе не очень давно, и многие севастопольцы все еще воспринимают его как нового здесь человека.

Но все выборы руководителей в Севастополе прошли при нем.

ВЫБИРАЮТ ДИРЕКТОРА

Стихия

Зал бурлит. Добровольные контролеры в смятении. И они сами уже торопятся усесться на места, придерживаемые для них знакомыми. Делегатов на конференции сто сорок. Но вдвое больше «обойденных», не получивших делегатского статуса. Они звонили в газету «Слава Севастополя», в горком партии и в райком. Телефонных звонков было столько, что первый секретарь Ленинского райкома Василий Михайлович Пархоменко оставил все дела и прибыл на конференцию, вот он сидит в президиуме, с удивлением всматривается в людей, стоящих в проходах, у стен, за рядами кресел. Предприятию «Эра» (ремонт и наладка электрорадиоаппаратуры) своего конференц-зала не хватило. Одолжили громадный зал у соседей. И он трещит на стыковых швах. Люди рвутся на конференцию.

Один из кандидатов в директора «Эры» немного похож на артиста Алексея Баталова. Это «человек со стороны», начальник пуско-наладочного управления Минрыбхоза СССР Томин Владимир Николаевич. Высок, легок. Лицо удлиненное, черты крупные, и — «баталовские глаза». Умные и добрые. Он смотрит в зал. Видит кое-кого знакомых. И взгляд его не скользит.

Второй кандидат — Мотов Владимир Сергеевич, главный инженер «Эры». Он вернулся к назначенному часу из дальней командировки. Директор Приходько давно объявил, что уйдет: сдало здоровье. Теперь достиг пенсионного возраста и уходит. Уже три года начальники цехов многие вопросы решают с Мотовым. Хорошо ли себя чувствует Приходько, плохо ли, Мотов не мелочится. Тянет и свой воз, и воз директора.

Кандидаты примерно ровесники.

В зале — стихия. Торопится открыть конференцию секретарь парткома Макеенко. К чему такой ажиотаж?! Кто-то обзывает неприглашенных «крикунами». В ответ — гул протеста.

Чего шумят?

Не признают правомочность конференции. Неравное представительство! Да и вообще сам хочу голосовать, мой голос — я ему и хозяин!

Любопытно прислушаться:

— Урны в цеха, пусть голосуют в цехах!

— Ты, анархия! Ты хоть понимаешь, что такое свобода?

— А ты — понимаешь?

Поднимается секретарь райкома партии. Терпеливое его молчание заметно успокаивает зал.

— Товарищи! Мы тут посоветовались. Голосование проведем по цехам и службам.

Грохот аплодисментов.

— Но раз уж мы собрались,— продолжает секретарь райкома,— дадим слово нашим кандидатам.

Голосовали за все! Даже кому первому выступать. С блеском в глазах следили за пальцем того, кто считал голоса.

Сперва дали слово Томину, «человеку со стороны». Впрочем, здесь, на «Эре», он после армии начинал учеником, был рабочим. Потом технологом, конструктором, заместителем начальника цеха, начальником цеха. И семь лет секретарем парткома. Отсюда и ушел в «наладку». Пять лет назад.

По залу шепоток: тогда, мол, Томин не сам ушел. С начальством ругался. За правду стоял. За правду поплатился.

Из чего рождаются легенды? Из симпатий.

Выступают кандидаты

Конференция была накануне Восьмого марта.

— Дорогие женщины! — проговорил Томин.— Разрешите сначала поздравить вас с наступающим праздником!

По залу лёт легких и радостных аплодисментов.

— Смотрю в зал и вижу знакомых. И вы меня знаете, дорогие «эровцы», и я вас знаю. Знаю монтажников, знаю сборщиков, знаю наладчиков.

Пушечное уханье мужских ладоней.

— ...Более всего в отношениях ценю порядочность. (Уже не лёт, не уханье аплодисментов, шквальная волна рванула к сцене. Как взрыв после слова, по которому, видно, душа истомилась.) Социальные вопросы — во главу угла! Когда я пришел в «наладку», там не было очереди на квартиры, ибо их никто не получал. Если уйду, то уйду из управления, в котором нет очереди на квартиры, ибо все получили. (Зал содрогнулся: вот это директор! В зале грохотало все, от пола до потолка.) Но кто бы ни стал здесь директором, он не сделает ничего без поддержки «эровцев». (И снова аплодисменты.)

Вышел на трибуну Мотов. Привычно осмотрел зал, тишина не заставила себя ждать: его, практически исполняющего обязанности директора, всегда слушают. Постоял, уставший после трудной командировки. Чуть раздосадованный: «Детский сад, да и только!.. Н-ну-с, хватит, делу — время, потехе — час». Поправил исписанные листочки, опустил к ним глаза.

— «Эра» работала, работает и будет работать стабильно. План прошедшего квартала выполнен и даже чуть перевыполнен. Достигнут рост производительности труда... Успешно идет смена оборудования. На участке пластмасс устаревшие станки заменены двумя термопластавтоматами из ГДР. Идет аттестация рабочих мест... Наши успехи несомненны... Самоуспокоение исключено. Нерешенные проблемы требуют напряжения...

Вот и в самом деле кончился праздник. Коротенький. Вроде каникул. Пошумели, покричали, хватит! Производство, если всерьез, то ведь оно — будни.

Кто будет директором «Эры», зал знал. Знал с начала конференции. Знал до начала. Да что там, за год вперед все знали. За три года вперед знали!

Выборы — дань моде. Но производство живет не модой. На «Эре» все стабильно. Когда бы ни менялось руководство, директором всегда становился главный инженер. От добра добра не ищут.

Каждый квартал «Эра» — с переходящим Красным знаменем. Здесь все надежно, прочно, выверено. Тут не диво специалист со стажем сорок лет. К примеру, Шамлиев Валентин Константинович. Электромонтажник-схемщик. Сорок лет протрубил за своим столом и еще до пенсии не дотрубил. Шестьдесят ему будет через два года. Как пришел в цех, как засел за свои схемы,— все, больше никуда. «Эре» мало звания «Ветеран труда». Здесь введено новое, невиданное: «Заслуженный ветеран труда». Это чтобы отличить таких, как Шамлиев, от обыкновенных.

Продукция «Эры» ценится. Наружные телевизионные антенны — со Знаком качества — у торговли нарасхват.

Продукцию «Эры» ждут и за рубежом. Плавучие краны Севастопольского морского завода — «Черноморцы», «Богатыри», «Севастопольцы»; рыбацкие суда других предприятий; суда на подводных крыльях — «Кометы», «Колхиды» — тоже оснащены приборами «Эры».

Мотов у ж е директор.

На «Эре» все прочно.

Секретарем парткома Макеенко выбрали раз — потом и во второй. Председателя профкома Корнеева выбрали раз — потом и во второй раз его же, и в третий. В общем, пять раз выбирали.

Мотов — при директоре, еще не ушедшем на пенсию,— уже в Совете директоров города. Мотов ездит в главк, в министерство на правах директора. Принят там как преемник Приходько. Старый директор уже и место себе подыскал: технологом в монтажном цехе.

Мотову не нужны аплодисменты. Он знает, о чем думают «эровцы»: директор — это зарплата; директор — это поставки, это снабжение; директор — это ритм в работе.

От добра добра не ищут.

Потому Мотов и выступает не как претендент на пост директора, а как директор.

— ...Сосредоточить внимание... Направить усилия... Решить... Сделать... Напрячь силы...

В конференц-зале два высоких гостя из Москвы: заместители начальника главка. Сидят, тихо, спокойно переговариваются. Молодец Мотов. Так и нужно: направить, нацелить людей на конкретные задачи, ближайшие и дальние. Надо, поборол стихию! И как все спокойно, уверенно. Дельный руководитель. Пошумел зал, выпустил пар, хватит. И «крикуны» стихли, слушают как миленькие. Главк с Мотовым сработался. «Объективка» на него в министерство подана отличная. Три года назад.

...Цеха и службы проголосовали за Томина. Соотношение голосов — 75% к 25%.

Результат был сокрушительным для Мотова. И не менее «стрессовым» для Томина.

После шока

Мы разговаривали с одним «эровцем». Этим соотношением голосов 75:25 он был потрясен еще более, чем самим фактом краха Мотова, которого воспринимал как преемника Приходько. После долгих объяснений махнул рукой:

— А-а! Я еще в зале насторожился. Пооглядывался, вижу: женщины «выбирают» Томина, управленцы — Мотова... Ну подумайте — не за красивые же глаза выбирать директора!

За красивые, конечно, директора не выбирают. Но вот если в глазах свет доброты?.. На прием к директору по личным вопросам записывается ныне по 30—35 человек! Никогда такого не было. Прием утомителен, даже изматывает. В четыре часа начался, без десяти девять закончился. Просят квартиры. Среди очередников есть те, кто с шестьдесят девятого года в списках! Одна — с двумя больными детьми. Другую хозяйка согнала с частной квартиры. У третьего тесть не совсем нормальный, ему, психиатр подтверждает, жить надо отдельно... Томин одним обещает, другим отказывает, третьих просит запастись терпением. А что еще он может сделать? Прием ведет он не в одиночку. Уже через час-полтора другие, кому положено заниматься квартирными вопросами, устали. Сидят, скрытно зевают; они добрые, только... все же привыкли к горю людскому. Не в первый раз эти жалобы слышат. Заранее знают, кому что директор скажет. То, что и они сами говорили очередникам. Томин же каждого плачущего как через сердце пропустил. Тех, кому отказал, тоже. И «долгострой», жилой дом, который возводят «эровцы», при нем ожил. Работы там идут интенсивно. Трудятся и будущие жильцы. Каждый из них знает, в какую въедет квартиру.

Разумеется, понимание важности социальных проблем было у всех руководителей и до Томина. Тут весь вопрос в том, на чем ударение.

Вдумываюсь в сокрушительное соотношение 75 : 25.

...На стене у площадки второго этажа управления два переходящих Знамени. Они получены за квартал, когда во главе стояло прежнее руководство. Так почему же так оглушительно — «против»?

Выборы проводили не по инициативе министерства и главка, там загодя был «выбран» Мотов. Выборы проводили по инициативе городского комитета партии.

Что же получается?

В стабильной ситуации «Эры» горком угадал, что ли, критическую точку развития, после которой застой, спад? И проверил догадку выборами?

Но тогда должны были этой догадке предшествовать сбои, какие-то срывы, просчеты. А их не видно. Партком «Эры» работает напряженно. Секретарь парткома Игорь Иванович Макеенко — в прошлом технолог монтажного цеха — в те дни был занят подготовкой к праздникам, они следовали один за одним: День района, День рождения города. Игорь Иванович в бегах: и выставку товаров народного потребления надо организовать (антенны, торшеры, светильники, детские игрушки). И проследить, чтобы новую детскую площадку у одного из домов «приняли» сами дети. И побывать на состязании молодых рабочих.

Профком «Эры» также работает. На мысе Сарыч — прекрасная база отдыха. Профком дает туда не только двухнедельные путевки, но старается и в выходные дни людей вывозить к морю.

Совет бригадиров действует.

Новую технику считают внедренной не тогда, когда оборудование завезено, а тогда, когда оно начало работать. Можно пример привести из практики литейщиков. Там КТУ — коэффициент трудового участия — повысили всем, кто осваивает новую технику. И дело двинулось!

Так чего же люди хотели? Вроде во всем порядок...

Вспоминается интервью Василя Быкова журналу «Огонек». Вопрос: «Самое большое потрясение, которое вы пережили в жизни?» — Писатель, прошедший войну, отвечает: «Думаю, что самое большое потрясение и у меня, и у всех у нас впереди. Потрясение будет, если перестройка пройдет успешно. Потрясение будет, если она провалится».

На «Эре» итоги выборов были шоком для многих.

Анатолий Иванович Корнеев, председатель профкома, на «Эре» тридцать восемь лет. Был слесарем, был инженером-настройщиком, был технологом. В его сейфе в аккуратном пакете хранятся все бюллетени, кто хочет — проверяй, счет голосов как в аптеке! Ему мерещится во всем происшедшем с л у ч а й. Он опасался случая, когда еще шло голосование. Рассказывает:

— Думал, а ну как будет пятьдесят один процент к сорока девяти? Это же не выбор. Слепая фемида! Удача с заплетающимися ногами! И что тогда: управление в руках его превосходительства Случая?.. А тут вдруг такая четкость...

— Чего же хотели люди?

Задумывается, но ненадолго. Ответ на этот вопрос у него давно есть:

— Чего хотели? Нового человека хотели! Природа человеческая такая: подавай новенькое! — Хитрит, смеется, должность научила быть полемистом.— Сказали бы сейчас: вот выбирайте, кандидаты я и вы. За кого проголосуют? За вас! Не примелькались, не надоели.

Рассказываю о выборах тоже в Севастополе, на родственном предприятии. Цех товаров народного потребления. Дела — швах. Начальника давно нет. Тянет дело Геннадий Витальевич Матюшев. Объявили конкурс на свободную должность. Претендентов трое. Самый серьезный — конструктор Чикин Игорь Александрович. Ну, а Матюшев, «вечный зам», и не подумал себя выдвинуть. Его место при любом начальнике второе. И вдруг из зала голос: почему в списках нет Геннадия Витальевича? Всю беду — он у всех на виду. А как выборы — так что, лицом не вышел?

По требованию людей Матюшева вносят в списки для тайного голосования. Он и оказался единственным серьезным соперником Чикина, человека волевого, грамотного, ищущего дело по силам. Чаша весов заколебалась, заколебалась... За Матюшева проголосовало тридцать семь человек, за Чикина — тридцать девять. Победителя поздравили, побежденному посочувствовали...

— Видите! — торжествуя, перебивает меня Корнеев, с превеликим любопытством слушавший меня.— «Человека со стороны» волосок удержал, а своего — нет, не удержал! Два голоса все решили. Случай!

— Я ведь не кончила, Анатолий Иванович. Вот и в цехе после выборов так говорили: «Случай». Повспоминали, как шло голосование, что и чужие тогда сбежались из любопытства и тоже голосовали! А свои, цеховые, были не все. «Давай новые выборы!» И провели новые. Пятьдесят семь человек проголосовали за Матюшева, пятьдесят один — за Чикина.

Азартный спорщик, Корнеев сожалеет, что концовка этой истории не подтвердила его точку зрения. Но он стоит на своем:

— Все равно тут случай! В шести голосах разница...

Секретарь парткома Макеенко тоже говорит только о том, что голоса считали предельно честно! Все время он в круговерти забот. А ему бы приостановиться, оглядеться, задуматься, отвлекаясь от сумасшедшей текучки...

Ближе всех к истине новый директор «Эры», Владимир Николаевич Томин:

— Говорят: «Мотов не так выступил на конференции. Производственные совещания всем надоели. А Томин, мол, квартир наобещал. Этим взял». За что же голосовало более тысячи человек, имеющих жилье?

— Думается, не за вас, Владимир Николаевич. И не против Мотова. Голосовали против с и с т е м ы, которая за Мотовым, за старым руководством.

Томин согласился:

— Против с и с т е м ы.

Система

Она складывалась годами. Волевое управление. Нажимы «сверху». Авралы и лихорадки трехсменных «горений» в конце месяца без серьезного желания прислушаться к предложениям с низов, решение насущнейших вопросов, в том числе и квартирных, в «узком кругу», и так называемая «кадровая политика», и традиции иерархии, согласно которым в кресло директора пересаживался непременно главный инженер. Прежний директор ушел не с «миллионами», а со всем набором директорских болезней: и сердце барахлит, и нервы...

На «Эре» — как у всех. Верхи верховодят. В низах от отдельного человека ничто серьезное не зависит. Это надоело людям везде, надоело и на «Эре». Административная система в масштабе страны унаследована как историческая традиция. Система работала до войны, сочетаясь с тягой народа, предчувствовавшего войну, к суровой дисциплине и готовности выполнять планы любой ценой. Система еще более эффективно сработала в войну, ибо сплавилась с величайшей самодисциплиной и самоотверженностью народа, без которых нам бы не победить. Система работала еще и долгие годы после войны, когда преодолевали разруху. Но чрезвычайные обстоятельства не бесконечны, и не бесконечно можно игнорировать законы экономики. Система стала давать сбои. Люди не хотят быть винтиками. Каждый хочет что-то значить. И, в частности, выбирать руководителя, в которого верит, а не получать его из рук министерства; хочет сам судить обо всем, что делается на производстве и в стране, по-хозяйски влиять на все процессы. То, что в литературе называют Административной Системой, Административным Управлением (смотри, например, статью Г. Попова в № 4 «Науки и жизни» за 1987 год), люди обозначают по-своему:

— Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак.

Вот это-то и надоело.

Слушаешь, что люди рассказывают о Владимире Сергеевиче Мотове, и, право, создается впечатление, вроде говорят не об одном человеке, а о двух разных. Не всегда Мотов был главным инженером. Работал когда-то в цехах. О нем говорят: «Какой начальник был! Он в цех здоровье вернул. И сам здоровяк, простота. У нас соревнования — он с нами. Ядро метнет, на снарядах выжмется... А ушел в управление, и куда простота делась!» И еще так (это — старшие): «Мотов у нас в цеху начинал, со студентов. Наш он, кровный. Нюнят: «Грубый». Ну и что — грубый? Положим, обругал он меня за дерьмо-работу — мне урок. Прокладываешь проводку, прокладывай, соплей не вешай. Грубость помнят, а того, что Мотов, став у нас начальником цеха, цех выправил, не помнят».

Увы, молодежь — не как старые рабочие. Грубость помнят.

Главный инженер — герой и жертва Административной Системы. С нижних этажей простой, умный, энергичный, работящий человек переходит в Управление, и Система самовластно перекраивает, переделывает его на свой лад. Давят на него, давит и он — на тех, кто подчинен ему. Попал человек в Управлении в иные условия, не те, в каких был в цеху,— пожалуйста, уже другой человек. Нужны недюжинные способности, чтобы противиться прессу «волевого режима».

На «Эре» все было прочно, надежно, добротно. Но добротность со временем переходит в закостенелость.

Чего люди хотели?

Отношение к выборам — своего рода тест, по которому можно сегодня проверить себя, ощутить свое место в перестройке.

Не только председатель профкома смотрит на выборы, как на спектакль с непредсказуемым результатом. Многие были чуть-чуть испуганы силой стихийного голосования, которое смело предварительные расчеты и построения. Один из них — Валентин Елизарович Францевин, заместитель начальника пятого цеха.

— Бригадиров, «сержантский состав», у нас выбирают давно. Более того, бригада сама себе и рабочего подбирает. Есть у нас комплексная бригада Людмилы Семеновны Самойленко. Оплата сдельная, заработки хорошие. Освободилось у них место. На него пять претендентов. Бригада выбрала бывшую компрессорщицу. Считаю, выборы должны быть по уровню компетентности. На уровне бригад — выбирают рабочие. А директора должны выбирать те, у кого директор в их секторе обзора, кто может прогнозировать последствия.

Молодые электромонтажники Юра Фирсов и Саша Чижов идут чуть дальше:

— Нет, до начальника цеха — должны выбирать все. А уж директора — кто каждый день видит директора.

Логично? Вроде бы! Но так ли все это далеко от принципов Административной Системы с ее порядком «Всяк сверчок знай свой шесток»?

Других сокрушительное голосование не напугало.

Александр Иванович Жук, настройщик четвертого разряда, член райкома партии:

— Обязательно выбирать всем! Люди поверили в перестройку.

Валентин Константинович Шамлиев, электромонтажник-схемщик, Анатолий Васильевич Зиневич, слесарь, Юрий Григорьевич Петухов, старший мастер, Владимир Сергеевич Нежура, бригадир, слесарь-телемонтажник (суммирую их суждения):

— Выбирать всем! До уборщицы! А то спрашивают через губу: «Чего уборщица-то в работе директора понимает? Швабру, что ли, из директорских рук получать будет?» С души воротит от таких разговоров!

Какие предложения рождает эта самая «энергия выборов»!

— Понятно, рассусоливать с каждым директор не может,— работать надо. Но разве нельзя беседы и конференции в цехах проводить? Раз в квартал. Директор на трибуне. Ему — вопросы, он — ответы. Вместе думаем, как что решать.

— Какие секреты в квартирных делах, ведь решить все директор хочет по совести? Радиопроводку в Красный уголок. Пусть все слушают... Люди послушают, сравнят свое положение с положением других, и, глядишь, половина из тех, кто пришел на прием к директору, разойдется.

Эта мысль о трансляции по радио разговоров из кабинетов директора и главного инженера — дорогая мысль. Многие — за:

— Не все же у руководства государственные секреты. Обсуждают работу ОКСа или вопрос, переводить участок на хозрасчет или не переводить. Какой тут секрет? Проводку — в зал собраний. Пришел бригадир в управление, а его к директору не пускают. Зашел в зал, включил радиоточку, послушал, чем директор занят. И устыдился: чего ж это я иду с делом, которое и сам решить могу?

Послушаешь-послушаешь людей, и начинает обозначаться образ идеального директора. Это человек, которого не может перекроить на свой лад Управление, но который сам перекраивает Управление. Который понимает время — время демократизации экономики. Который у всех на виду.

Сможет ли Владимир Николаевич Томин оправдать надежды коллектива? Поживем, увидим. Многое еще зависит от того, сумеет ли партком не упустить энергию людей, разбуженную выборами.

Закончить эту главку хочу записью из блокнота.

Уборщица сказала:

— Знаю, знаю, знаю, зачем спрашиваете. Все знаю! Это вы слова подыскиваете, а они не ищут. Слышала: «И уборщице директора выбирать!» Все — ленинцы, только Ленин — один! Он один мог сказать: «И кухарка управлять государством должна!» Фамилию не пишите! Я всегда все вслух, всем в глаза. Но то, что скажу, никому никогда не говорила. О памятнике дворникам и уборщицам говорить буду. Есть такой в Севастополе?.. «Кажется, нет». Е-есть! В пятьдесят девятом году шумно в городе было. Начинали движение за коммунистический город. Весело было, хорошо. И что ни что, а вышло. Собрал всех дворников и уборщиц первый секретарь горкома партии в театре Луначарского. «Без вас,— говорит,— в грязи утопием. Без вас никакому коммунизму не быть!» Человек тучный, громкий был. У меня газета о том собрании есть. Желтая уже, ветхая, но есть. После того собрания дворники да уборщицы начали клумбы в городе разбивать, цветы сажать. Поначалу дико всем было. Люди не привыкли. Цветы ничьи. Не то что шпана, бабки старые в бессонные ночи рвали их: букет — рубль. У дворников да уборщиц слезы утром, жалко. Жалко-то, жалко, а опять сажают. До той поры досажали, пока Севастополь к клумбам привык. Идет теперь человек, цветы ничьи, а ему ничего, руки не чешутся сорвать. Клумбы — вот памятник дворникам да уборщицам!.. А теперь пойдите в один наш цех коммунистического труда. Я была-а! Мужской туалет и вонь на весь широкий коридор. Это что? Да будь я министром из Москвы, вошла бы в коридор, крутнула спиной, и — вон. Начальник бы цеха, да зам. начальника, да зам. зама — за мной! А я им на лесенке: «Дальше проверять не буду. Хватит». Коммунизм без уборщиц не получится — и перестройки без уборщиц не получится.

...После этого разговора пошла я в Морскую библиотеку. Взяла старые подшивки. Полистала-полистала. И нашла! Было оно, общегородское собрание дворников и уборщиц. И задумал его, и созвал, и провел первый секретарь горкома партии. И речь была — горячая речь!

Кто не верит, пусть проверит, мало в Севастополе цветов или много. Люди идут, и к памятнику дворникам и уборщицам такое же отношение, как и к памятникам Великой Отечественной,— бережливое, с уважением.

Можно сузить круг людей, выбирающих директора, до специалистов высшего звена? Можно, конечно. Не исключено ведь, что где-то демагоги поведут за собой толпу. Но можно и суметь поднять всех горячим словом — и управленца, и уборщицу — на высокое дело.

Что есть выборы

Итак, было два претендента на должность директора. Выбран один.

К чести Владимира Сергеевича Мотова надо сказать: он был хорошим главным инженером, он и остался им.

К чести Владимира Николаевича Томина надо сказать: он предельно деликатно вписался в коллектив, всем своим поведением подчеркивая, что ценит сделанное до него.

Убеждена, факт выдвижения на руководящую должность обязательно должен быть отражен в трудовой книжке. Ведь выдвигают-то лучших. Быть вторым среди сотен почетно. Иначе — рана, обида. А это не способствует ни сохранению здоровья специалиста, ни хорошему самочувствию на работе после выборов. На мой взгляд, не худо было бы выработать ритуал обнародования итогов голосования. Почему бы секретарю райкома партии, поздравившему победителя, заодно не вручить второму кандидату диплом о его участии в выборах? Аналогия со спортом груба, но ведь, скажем, второй — это «серебряный призер». Будущее не закрывает перед ним возможности стать со временем «золотым». На

этом ли предприятии, на другом ли. А если отбросить аналогии с их грубыми натяжками, что дает участие в выборах? Выборы — школа управления. Пройти такую школу — многому научиться.

Перестройка — это надежда и решимость. Новизна идей.

Выборы — инструмент перестройки. Один из множества других. Как показали события на «Эре», инструмент этот иногда может быть очень острым. Как скальпель.

ВЫБИРАЮТ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА

Есть в Севастополе уникальное предприятие — производственное объединение «Морской завод имени Серго Орджоникидзе». Основание его двести лет назад на западном берегу Южной бухты день в день совпало с основанием самого Севастополя. С тех пор и поныне судьба морского завода — судьба Севастополя; а профессия «корабел» — едва не синоним слова «севастополец».

Здесь стремились под выборы подвести научную основу. Корпусный, один из основных здешних цехов, сам по себе — количество работников, объем продукции — может называться заводом в заводе. Должность начальника этого цеха (если не завалишь работу) — стартовая площадка для перехода в высшие этажи управления. Иногда даже — после кабинета главного инженера — в кабинет генерального директора.

Научное обоснование выборов начальника цеха подготавливала старший психолог Валентина Васильевна Городкова. Отдел кадров назвал четырех претендентов. Двух заместителей начальника: Максименко и Волошина; и двух старших мастеров: Фалкова и Шишко. Требовалось «изучить отдельные стороны личности претендентов, провести опрос рабочих и ИТР цеха для оценки их деловых и личных качеств». И уже после этого — выборы.

Борьбу выиграл старший мастер Фалков.

Не стоит воспроизводить всю картину выборов. Они встряхнули корпусников. Но главное ведь не процесс, а ради чего выбирали. Не для того же, чтобы сказать: «Шумим, братцы, шумим». Слишком многое ложится на начальника цеха.

Припоминаю давнее происшествие. Дело было, когда еще строительные управления именовались УНР — управлениями начальников работ. Председателем месткома УНР-132 была Елена Антоновна Лапинская. В клубе Загородной балки проходил партийно-хозяйственный актив. И вот какой наряд зачитала Лапинская с трибуны:

Распилить лес (опоры 2 шт., брус 1 шт.)	— 2 р. 96 к.
Подготовить ямы (2 шт. Глубина 0,5 м)	— 3 р. 08 к.
Заглубить опоры	— 1 р. 82 к.
Соединить их с помощью бруса	— 1 р. 10 к.
Закрепить по середине бруса бечеву, длина с креплением 1,5 м	— 0 р. 16 к.
Повесить прораба Степанова	— 3 р. 84 к.
Итого	— 12 р. 96 к.

Лапинская показала наряд, чтобы все видели. В левом углу было начертано: «В бухгалтерию. Оплатить. Степанов».

Зал грохнул.

Написала я об этом тоже уже давно. Потом история пошла бродить в периодике, мол, «журналисты рассказывают»,

Так вот, на том заседании партийно-хозяйственного актива я смеялась, как все, пока моя соседка, старший прораб Евгения Петровна Бараненко, не показала мне глазами на прораба Степанова... Сидел усталый, ссутулившийся человек. Старался смеяться со всеми. А уголки губ жалко вздрагивали. Человек это был совестливый и работящий. Но как-то все не складывались у него отношения с рабочими. А это беда.

Выбранному руководителю такое не грозит. Выборы — это не только кредит доверия, но и как бы аттестация за годы совместной работы.

Фалков в новой должности начал с того, что обошел бригады и рассказал, как будет работать. Перестройка — так перестраиваться всем. Хватит помалкивать о том, что в цехе есть обираемые и обирающие. Кого обирают? Лучших! Бригады Докукина, Павленко, Мелоиенко, Краевского, других обирают тех, кто всегда работал на совесть.

Да, есть в цехе «качки» и есть — «сачки».

«Качки» — кто «качает план». «Сачки» — объяснять не надо.

Почему цех терпит «сачков»? В условиях, когда людей рвут на всякие дела вне завода, от них не откажешься. Что-то, ни шатко ни валко, «сачки» делают и на план. В иную неделю и поднапрягутся. Только им нечто все время мешает дотянуть до нормы, перед ними возникают непреодолимые трудиости. Сказать в лицо бригадиру «сачков», что все дело в лени и потере квалификации, совестливый бригадир не может, ему стыдно. А «сачок» и рад, что стыдно.

Пришла пора закрывать наряды, бригадир «сачков» выплачет «зарплату» своей бригаде: чем рабочий деток кормить будет?.. Прежде выводили зарплату. За чей счет? Частью за счет заказчиков, частью за счет уравниловки. Лентяев и неумех равняли с Докукиными и Краевскими.

Разница в зарплате — десятка. Выплакав, «сачок» потом посмеивается над «качком»: «Гнись, раз ума не хватает!»

Для Фалкова перестройка радостна тем, что теперь он может позволить себе сказать и говорил, обходя бригады:

— Кто сколько заработает — столько и получит. «Потолка» — никакого. Но и «выводиловки» никакой. Милостыню не подаем!

Сказать это, впрочем, легче, чем сделать. Плавкраностроительный комплекс за бухтой еще только-только входит в силу. На месяцы затягивается поставка оттуда секций плавкранов. Фалков послал туда тридцать цеховых специалистов: поезжайте, научите людей работать и возвращайтесь.

Четыре месяца мастера работали в Инкермане. Четыре месяца! И мало кого научили делу.

Потому что как только в Инкермане получили специалистов, так своих рабочих отослали на строительство жилого дома. Практика «затыкания дыр»...

Хочет Фалков работать на перспективу. Но и его и соседей обстоятельства понуждают «затыкать дыры».

Выигрыши — проигрыши

Подробности выборов.

За день до голосования один из двух заместителей начальника цеха запаниковал и, хотя у него был шанс оказаться в кресле начальника, вдруг снял свою кандидатуру. Решительно! К генеральному директору ходил. Объяснялся с психологом.

В чем дело? А просто. Взвесил человек свои силы, прикинул к моменту: перестройка — конфликтное время. И добровольно сошел с дорожки. До поры, когда будет «в лучшей спортивной форме».

Вторая подробность.

Был в свое время Фалков, молодой и успешно продвигающийся вперед инженер, уже начальником ПРБ — планово-распределительного бюро. Ответственнейшая работа! ПРБ держит цех в руках. Оно у истока, у начала любого дела. Случилось, однако, так, что участок судоремонта хронически лихорадило. И молодого инженера попросили пойти туда старшим мастером. Должность — пониже. Оклад — тоже ниже... Фалков пошел.

Тот, кто голосовал за Фалкова, помнил и об этом.

Как же он сам объясняет то свое перемещение?

— Уходил не чтобы проиграть — чтобы выиграть. Плавкраностроение я уже знал, работу в ПРБ знал. Судоремонта не знал!

Из наблюдений психолога: «Долгое время не может работать на одном месте. Интересно — пока постигает новую работу, пока чувствует в ней момент творчества. Как только выполнение становится полуавтоматическим — интерес пропадает. Сам чувствует необходимость перехода на другую работу, если не «вверх», то хотя бы «по параллели».

У каждого свои выигрыши, свои проигрыши. Он действительно выиграл. Незапланированно. Неожиданно для себя. К моменту, когда перестройка сделала возможными выборы начальника цеха, он, «шагнувший по параллели» при невозможности сделать шаг «вверх», знал уже все участки работы, на всех цеховых этажах.

У него, представителя «новой волны» руководства, ставка на экономические методы управления. Но самого Фалкова рублем не измеришь. Ни коротким, ни длинным.

Новизна наступает.

Маховик перестройки набирает обороты. И как бы ни сетовали мы, что перестройка идет медленнее и болезненнее, чем хотелось бы, сегодня уже никто не скажет, что перемен нет.

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

Идут выборы первого секретаря Балаклавского райкома партии. Место секретаря райкома жжется: прежнего освободили как не справившегося. После такого события двадцать раз взвесишь силы, прежде чем рискнешь вступить в борьбу. Кандидатуры три: председатель райисполкома Мякенький, второй секретарь райкома партии Шаповалов и секретарь парткома совхоза «Золотая балка» Копанов, самый молодой из троих. Копанов свою кандидатуру снимает. Остались два кандидата: Мякенький и Шаповалов. Сами они уже выступили. Прения прошли. А прокурор района Егоров никак не может определиться, все пытается выяснить, какая из двух кандидатур предпочтительней... по мнению первого секретаря горкома Смолянникова. Мучается, мается. Может, не надо ни за Мякенького, ни за Шаповалова голосовать?

А Смолянников лишь усмехается...

По былым временам — нормальное поведение. Прокуратура в Севастополе, как и всюду, была очень чувствительна к мнению «отцов города». Отчего же теперь обоим стало неловко? Прокурора подвела многолетняя привычка действовать по указке сверху. Сознавать это ему неприятно.

В чем усомнился секретарь?.. Заменена треть номенклатуры горкома. Двенадцать руководителей разных рангов исключены из партии. Объявлены десятки партийных взысканий. Все это сотрясает город. Но глубоко ли воздействие «вспашки», если и после нее даже прокурор, которому противопоказана зависимость от чьих бы то ни было мнений, продолжает оглядываться, ожидая «ЦэУ».

ВЫБИРАЮТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА

В городской газете объявление:

«Уважаемые севастопольцы!

Реализуя установки XXVII съезда КПСС... горком партии и исполком горсовета объявляют

КОНКУРС

на замещение должности заместителя председателя исполкома, ведающего вопросами просвещения, здравоохранения, торговли, общественного питания, быта, распределения жилья.

На эту должность могли бы претендовать специалисты с высшим образованием в возрасте до 45 лет, имеющие опыт партийной, советской и хозяйственной работы.

Письма с пометкой на конкурс просим направлять...»

Заместитель председателя горисполкома Алексей Иванович Мартынов ушел в Балаклаву — председателем райисполкома. В былые времена, когда существовал замкнутый номенклатурный круг, освободившееся место и занял бы кто-то из этого круга: начальники отделов горисполкома, работники райисполкомов. Ну, к примеру, начальник Управления общественного питания горисполкома Дмитрий Моисеевич Шимчук. Подходит по всем условиям конкурса.

Образование? Высшее. Возраст? 39. Опыт партийной, советской и хозяйственной работы? И тут все с припуском, с добротной добавкой. С 1983 года — начальник «Общепита». А вышел из глубинки, начинал биографию горнорабочим — такая пометка в личном деле дорога!

На сессии горисполкома кто-то из депутатов поднялся бы на трибуну и сказал:

— Предлагаю на должность заместителя председателя горисполкома избрать товарища Шимчука Дмитрия Моисеевича, начальника Управления общественного питания.

Все депутаты бы проголосовали.

Председатель, мельком взглянув в зал, проговорил бы:

— Все «за». Товарищ Шимчук избран.

Ныне все вроде бы иначе. Как? А вот так, что уже после подведения итогов конкурса депутат горсовета Евгений Андреевич Ребров — Герой Труда, почетный гражданин города — говорит с высокой трибуны на сессии горисполкома:

— Предлагаю на должность заместителя председателя горисполкома избрать товарища Шимчука Дмитрия Моисеевича, начальника Управления общественного питания.

Делегаты голосуют.

Председатель... обегает взглядом зал и произносит привычное:

— Все «за». Товарищ Шимчук избран.

Признаюсь, и выборы секретаря райкома в Балаклаве, и выборы зампредседателя горисполкома показались мне... как бы поделикатнее выразиться?.. административно декоративными, что ли. Есть указание сверху — выбирать. Выборы проводят. Хотя реальный кандидат один, как и бывало ранее. В Балаклаве за председателя райисполкома Мякенького (по традиции пересаживался в кресло секретаря райкома) подали 41 голос. За Шаповалова, второго секретаря райкома,— 7. Претенденты явно в разных весовых категориях. Шаповалов заранее стушевался, всем своим поведением подчеркивал готовность остаться вторым.

У Шимчука и вовсе соперников не было.

Что же это за выборы?..

Но все не столь примитивно. Я познакомилась с письмами претендентов: каждый претендовал на кресло, ни один — на должность. Вот из прямо-таки кокетливого письма: «Никто не имеет права зарывать свой талант в землю». Сватают и родичей, таланты родственников тоже нельзя зарывать... Ни у единого претендента, однако, нет и намека на свою — выношенную — программу действий в горисполкоме, нет даже понимания многосторонности предстоящей работы в сферах просвещения, медицины, общественного питания, быта...

Препарируя годы застоя, находим истоки многих сегодняшних бед. Севастополь во все времена был богат людьми самобытными, дерзкими, но в потере вкуса к борьбе — тленный душок недавних лет.

...Город потрясло новое событие: сессия горсовета не утверждает никого из «своих» в должности главного архитектора. Грянул на этот раз всесоюзный конкурс. Извещения о нем напечатали несколько центральных газет, и на сей раз — борьба! Всего сорок два претендента, среди них москвичи, ленинградцы, даже из Ташкента. У каждого свои представления, каким именно быть Севастополю.

Победил москвич Владимир Семенович Остапенко.

Выборы главного архитектора показали, что все же былой номенклатурный круг разорван. Из его клочьев уже никто ничего не выкроит. Ставка — на таланты, на самобытность. Но к лицу ль Севастополю искать таланты на стороне?.. И газета печатает призывную информацию:

«В городском бюро по трудоустройству населения — ...для специалистов... желающих стать руководителями, создана «картотека претендентов»... Сведения не разглашаются... не сообщается по месту работы...»

Короче: дерзайте, товарищи!

Перестройка идет. В горкоме партии впервые за многие годы появились люди сомневающиеся. Благотворны сомнения секретаря горкома, которому не все ясно в партийном документе, у которого нет веры в благополучные производственные отчеты. Сомневающийся заставляет думать всех, а что и говорить, поотвыкли многие. Отучились думать и сомневаться, находить и анализировать найденное, терять и докапываться до корней, собираться с силами и идти вперед.

Музыка перестройки должна быть музыкой высокого и чистого звучания, тревожащей и возвышающей душу. Не о хлебе едином забота.

И выборы — только пролог перестройки. Пока что — без эпилога.

ПАМЯТЬ И «ПАМЯТЬ»

О проблемах исторической памяти и современных национальных отношений беседуют доктор экономических наук Г. Х. ПОПОВ и Никита АДЖУБЕЙ

Никита Аджубей. Гавриил Харитонович, вы всегда с большим интересом относились к прошлому. Недавно журналы «ЭКО» и «Знание — сила» опубликовали ваши статьи, посвященные реформе 1861 года. Писали вы и по поводу Соловков; насколько я знаю, на их реставрацию вы перечислили свою Ломоносовскую премию. Предлагаю для обсуждения еще одну историческую тему. Сейчас она обрела особую остроту. Это проблема исторической памяти. В последнее время о ней много пишут. Для большой части людей характерно желание возвратить историческую память в полном объеме, без умолчаний. При этом, критикуя «вымарки» из истории, их связывают прежде всего с тридцатыми годами и периодом после 1964 года. Но ведь проблема исторической памяти вызывала неоднозначные подходы и раньше, еще до революции. С одной стороны, сложилась сильная буржуазная историческая школа: Соловьев, Ключевский; блестящие образцы историзма дала классическая русская литература. Но есть и другие примеры, другие подходы, согласно которым для блага будущего надо отказаться от прошлого. И они тоже имеют объяснение. Жизнь, окружающая действительность были настолько ужасны, социальные противоречия настолько кричащи, что хотелось не видеть их, забыть, отказаться, «не брать» с собой в будущее. Да и цивилизация в России носила, по определению А. И. Герцена, «характер прививной оспы», была во многом искусственной, и поэтому отказ от нее не воспринимался как нечто невозможное, лишающее жизнь основы...

Г. Х. Попов. Я бы обратил внимание на не менее важные обстоятельства. Строить новое легче на чистой площадке. И чем сложнее строительство, тем сильнее тяга к «чистой» площадке. А чем меньше новое здание стыкуется со старым, тем сильнее соблазн не возиться со старым: легче снести и начинать сначала. Для слома и начала новой стройки требуется меньшая квалификация, чем при попытке что-то использовать из старого. Недаром реставратор — более сложная профессия, чем строитель. Так что кричащая противоречивость прошлого как бы дополнилась сложностью нового строительства. Пройдут годы, будут тяжелейшие уроки, пока мы поймем, что из прошлого многое надо взять...

Я вижу множество случаев, когда выгодно «беспамятство». Когда выгодно вообще не вспоминать о прошлом. В этом, например, обычная практика бюрократизма. Бюрократу гораздо легче жить, если никакого прошлого нет, если, заняв должность, он считает, что до него ничего не было. Одно дело, когда надо узнать, кому и что обещал предшественник. Тут много сложностей. Другое, когда над ним не висят никакие обязательства прошлого. Тут можно сказать: «Я ничего не знаю и знать не хочу. Начинаем новую жизнь».

Такое удобно не только в административной деятельности, но и в теории. И в теории до меня «ничего не было». В этих условиях все, что бы ты ни сказал, становится открытием. Самые тривиальные высказывания начинают приобретать форму «великих идей» типа «экономика должна быть экономной». Иными словами, на плоской равнине и кочка может показаться холмом. Чем темнее ночь, тем заметнее даже слабый огонек. Поэтому бюрократу спокойно жить, когда нет ни истории России, ни истории советской. История началась с него.

Мне равно понятен интерес и к прошлому России в целом и к советскому прошлому. Я даже считаю, что проблема истории советских лет в определенной мере гораздо сложнее, чем проблема более отдаленного прошлого России. По тому периоду накоплена огромная литература, множество исследований, известна масса опубликованных фактов. Так что концепции, которые носят искусственный характер, приходят в столкновение с историческим материалом, и их нетрудно преодолеть. Что же касается советской истории, то нет (или почти нет) пока самого главного — источниковедческой базы, исходных материалов. Поэтому столь живучи исторические мифы, произвольные интерпретации.

Н. А. Вы заговорили о двух периодах нашей истории. Тут у меня возникает вот какой вопрос.

Не слишком ли мы упрощенно подходим к тезису о «двух историях»? Изучаем то, что отличает одну эпоху от другой, но не изучаем их генетической связи. Не так давно на это обратил внимание, например, А. Бовин. Он писал в «Известиях»: «У Фридриха Энгельса есть выражение «ирония истории». История как бы иронизирует, усмехается над попытками сознательно управлять ее ходом. Люди, совершив революцию, изменив, как им казалось, по своей воле и разумению течение истории, вдруг с удивлением замечают, что сделанное весьма отличается от задуманного. Долгое время мы самонадеянно полагали, что мысль Ф. Энгельса не относится к пролетарским революциям, к коммунистическим партиям. Теперь мы видим, что ошиблись. Можно, конечно, говорить об этой ошибке в более обтекаемых словосочетаниях. Но, надеюсь, мы стали настолько взрослыми, что не боимся называть вещи своими именами».

Г. П. Да, анализ прошлого чрезвычайно важен. Без него трудно разобраться в настоящем, предвидеть будущее. Дело здесь не только в исторических традициях, общественной психологии. Исторический аспект — важнейшее звено всякого исследования, анализа, размышления, нравственного роста.

Н. А. С учетом всего сказанного, как вы относитесь к шумихе вокруг общества «Память»?

Г. П. На первый взгляд, казалось бы, деятельность общества «Память» должна нас только удовлетворять. Ведь это общество хочет восстановить памятники, защитить историю и т. д. Но тем не менее уже первые шаги общества меня настораживают. Что настораживает? На мой взгляд, руководители «Памяти» делают то, чего с историей делать никогда нельзя,— они историю препарируют. Выбирают то, что нравится, и стараются умолчать о другом.

Ведь если мы говорим о памяти, то это, конечно, и дворец, и храм, и битва. Но одновременно память — это и тюрьмы, в которых держали инакомыслящих. Память — это не только Славяно-греко-латинская академия, но и келья, где душили дымом оппозицию священников. Убить священников не могли, поэтому их заперли в келье и снизу пускали дым. Красная площадь — это память торжеств, побед, Минин и Пожарский; но Красная площадь — это и место казни Степана Разина, и место, где во времена более простых нравов «был сечен за высокоумие» слушатель той же Славяно-греко-латинской академии...

В памяти народа одни и те же события остаются по-разному. Для одних строительство Петербурга — великая победа, радость; для других, тех, кто строил город,— великое страдание. Как у Некрасова в «Железной дороге»: построенный путь и толпы мертвецов по его обочинам. Кстати, в «Железной дороге» Некрасов дал образец интернационального подхода. Людей, которые погибли во время строительства, он уравнял: «Русских племен и пород представители...»

Мы знаем, что в каждой национальной культуре было и есть две культуры. Одна — прогрессивная, другая — консервативная. Из этого правильного положения часто делают неправильный вывод. Вывод о том, что надо изучать прогрессивную культуру и не замечать другую. На самом деле две культуры — это две стороны одного процесса. Оценка же того или другого писателя, мыслителя, художника и того сложнее. Белинского без Гоголя, с которым он спорил, представить невозможно. Это части единого целого. И когда их «разрезают», получается нелепость. Пушкин, который призывал к отмене крепостного права, и Пушкин,

который в письмах к жене жаловался, что крепостная деревня не дает нужной суммы,— это один и тот же человек, и от этого человека нельзя «отрезать» ни одно, ни другое. Ни оду «Вольность», ни эти письма. Поэтому вопрос о двух культурах тоже требует взвешенного, правильного подхода. Надо научиться пониманию того, что культура едина. Спасать, защищать, развивать культуру можно только в целом. Плохих культур не бывает.

В национальном аспекте это означает, что в культуре каждого народа есть элементы и прогрессивные, и консервативные. И те, и другие надо видеть, и те, и другие брать в конкретном историческом контексте. То, что было определенным недостатком в одном случае, в иной ситуации начинает играть положительную роль. Утаивать память, «разрезать» память, брать из нее только части — значит фактически лишаться всякой памяти.

Мы, я думаю, должны помнить не только о высоких нравственных достижениях, но не забывать и о той ужасной жизни, которой жили целые поколения. Не помня об этой ужасной жизни, очень трудно понять, почему люди стремились к преобразованиям и в чем должны были эти преобразования состоять. Мечту о лучшей жизни, лучшем общественном строе человечество вынашивало, испытывая на себе тяготы той жизни, которая его окружала.

Но суть единого, цельного взгляда на прошлое не только в этом. Страна наша многонациональная. А другие народы (не только русский) имеют право на память? Ответ может быть только такой: конечно, имеют. Пусть литовцы восстанавливают свой Тракайский замок (он для них очень важен, хотя я помню времена, когда их ругали за это). Эстонцы пусть помнят свою историю, татары — свою. Грузины — берегут Мцхету, а армяне — хранилище древних рукописей Матенадаран.

Но ведь тогда каждый народ должен создать свое общество «Память». Каждый должен заниматься своим прошлым, и это можно только приветствовать. Но тут невозможно обойти один весьма острый момент. Народы, населяющие нашу страну, на протяжении длительного исторического периода не только жили бок о бок, не только помогали друг другу, но не раз и воевали между собой. И здесь нашу историю сложно разъять на части. Возникает ситуация, которую я описал бы вопросом: что делать, когда память одного народа сталкивается с памятью другого народа? Когда одно и то же событие требует различных интерпретаций?

Битва при Калке была трагедией для Руси эпохи раннего феодализма: в результате было положено начало татаро-монгольскому игу. Но, с другой стороны, битва при Калке была, видимо, событием противоположного свойства для завоевателей: не исключено, что именно благодаря этой победе они сохранили себя в истории. Проиграй тогда они эту битву, их полчища, возможно, откатились бы в степи и память о них исчезла бы так же, как исчезла память о печенегах или половцах. Поэтому иная «Память» могла бы поставить на месте битвы знак в честь победы над русскими. Логично? Но тут возникает вопрос: а как отнесутся нынешние жители тех мест к попытке поставить такой памятник?

Такого рода столкновений исторических «памятей» разных народов очень много.

Н. А. Даже то, о чем говорится в наших учебниках истории (обычно они стараются стыдливо умалчивать о многих столкновениях наших народов в прошлом),— напоминает нам и о вражде армян и азербайджанцев, аваров и грузин, казахов и киргизов. А как непроста история Шамиля...

Г. П. История есть история. И в ней *неизбежны* конфликтные ситуации, когда память одного народа сталкивается с памятью другого. И вот тут начинается, по-моему, основное расхождение с обществом «Память». Оно занимает очень своеобразную позицию. Это позиция, при которой правом на память обладает только один народ. Тот, который представлен обществом. Конкретно в данном случае речь идет о памяти русского народа.

Что значит считать память своего народа «правильной», а память другого народа — «неправильной»? В истории попытки такого рода не новы. Древнейшая книга человечества — Библия — переполнена рассказами об избранном народе, которому бог уготовил необыкновенную судьбу. Выигрывает ли этот народ битвы, проигрывает ли — он в любом случае выполняет божье предназначение. И в России теоретиков избранности было много. Вспомним, что и Федор Михайлович Достоевский развивал теорию о русском народе как о «народе-богоносце».

Н. А. Вы вспомнили о Достоевском, и тут мне кажется уместным привести глубокое замечание Юрия Трифонова. Вот что он писал: «...Мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной литературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной; мол, там чтиво, а здесь пища мозгам; там — стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова. Пусть меня простят почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю это так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит».

Г. П. Продолжу свою мысль. Казалось бы, что тут такого, если какой-то народ отстаивает свое право на исключительность? Но на самом деле любые попытки отстаивать исключительность своей памяти ведут к очень опасным последствиям. Если память есть только у одного народа, а у других ее нет, то возникает идея «полноценных» и «неполноценных» народов. Эта идея, как я уже говорил, древняя, заложена еще в Библии; христианство потому и стало мировым, что провозгласило равенство всех народов перед богом и тем самым преодолело концепцию иудаизма. Исключительность нации — избранный народ с его особым правом — суть идеологии национал-социализма (который мы в просторечии называем фашизмом).

Если следовать этой логике, «упрощать проблему» и дальше, то можно прийти к заключению: память имеет только тот народ, который сегодня взял верх. Правом на память обладает тот, кто сегодня сильнее. Ясно, что такой подход антиисторичен: завтра другой народ окажется сильнее — значит, историю надо заново перекраивать? Критерием права на историческую память не может быть длина дубинки.

Но самое главное в том, что следование идее исключительности, а именно ее проповедует часть деятелей общества «Память»,— ведет к деградации того самого народа, память которого хотят сберечь. Сначала не видеть в истории ничьих заслуг, кроме собственных. Потом порочить тех, кто когда-то посмел бороться с моим народом. А дальше?..

Я читал в «Комсомольской правде» письмо студента техникума из Новосибирска, который, клеймя журналиста Лосото за ее статью против «Памяти», гордится тем, что он — «за русский народ». А задумывался ли этот студент, если уж на то пошло, на чьей земле стоит его город? Когда и как в Сибири появились предки этого радетеля русской нации? Думаю, непросто будет студенту, если начать думать. Ведь народ, который жил в районе нынешнего Новосибирска, тоже имеет право на память. И как быть, если память этого народа требует не увековечения строительства русских крепостей, а чего-то другого? Нетерпим здесь такой, я бы сказал, «колонизаторский» подход. «Им нечего вспоминать, у них были одни идолы, у них были одни заблуждения, и городов у них не было. А мы все принесли, построили и сделали». Но ведь так рассуждал и англичанин в Индии, и француз в Африке и т. д. Идти по этой схеме нельзя. В глазах иного народа ценность может иметь и незастроенное место. Когда мы сейчас говорим о сохранении Байкала, то — кроме всего прочего — отстаиваем память о нетронутом Байкале. Не исключено, что и народы, которые жили в Сибири и других местах, тоже имели в своей памяти и озеро, и чистое поле, и скалу, которые были им дороже построек.

А если рассматривать эту проблему и глубже, и в целом, то большая часть территории, на которой мы сейчас живем, начиная с нашей столицы Москвы, начиная с главной реки России Волги,— это места *расселения* русского народа.

Народы, которые жили на наших землях раньше, дали многие сохранившиеся поныне географические названия.

Н. А. Но тогда, Гавриил Харитонович, подход с позиций памяти становится невозможным в принципе? Может, на самом деле легче «закрыть» прошлое и строить новый мир?

Г. П. Нельзя ничего закрыть. Надо учиться правильно с м о т р е т ь. Я вспоминаю спор, который вели в прошлом веке западники и славянофилы. Славянофилы, конечно, вовсе не придерживались точки зрения, которую сейчас представляет общество «Память». Славянофилы отстаивали две идеи. Во-первых, само название «славянофилы» говорит о том, что их интересовала судьба всего славянского мира (а точнее говоря, всего православия); во-вторых, они вовсе не противопоставляли прошлое настоящему, они просто искали особый путь. Я думаю, в этом смысле мы наследуем не только ту часть русской культуры, которую принято называть западничеством, мы наследники и той ее части, которая отстаивала право на самобытность развития страны. Но я вспомнил спор между западниками и славянофилами по другому поводу. Один из сторонников западников очень правильно заметил, что, конечно, можно взять за идеал московские порядки. Но, сказал он, если согласиться с этим, то государству «возрожденного» московского духа надо оставить границы Московии. И Киев, и Смоленск, не говоря уже о Новгороде, включать в сферу «новой» Московии нельзя. Далее. И сегодня еще история России излагается с московских позиций; никто не написал историю России с позиций Твери, в отражении московских летописцев она — «богомерзкая» Тверь; никто не написал историю России с позиции «богопротивной» Рязани, которая изображалась теми же летописцами как скопище пороков. А как могла выглядеть Москва в глазах первой русской республики — Великого Новгорода? Конечно, чисто татарской сатрапией.

Обо всем этом я говорю с единственной целью — показать, что ревнители «чистой» памяти оказываются в очень трудном положении, как только начинают смотреть вокруг и размышлять.

В истории вопрос о сохранении чистоты народа и смешении его с иными решался так. Народы, которые развивались и становились могущественными,— это как раз те, которые брали очень многое у других. Брали не только идеи, знания, но и кровь. Славяне появились на стыке скифских, германских, балтийских, финских племен. А мощь русской культуры определялась и тем, что она ассимилировала византийскую культуру и через нее — наследие античной и латинской культур. Произошла и огромная переработка — в соответствии с национальными традициями — восточных культур. И отовсюду взято наиболее жизнеспособное, ценное — то, что затем послужило развитию народа.

Принципиально и другое. Народ, не желающий считаться ни с кем, обречен на жизнь в бесправии. Он может держаться только насилием. Как только сила кончится, кончится и «правота». Народ, который бьет другие народы, должен иметь палку. Должен иметь людей, которые хорошо владеют этой палкой. И люди, владеющие палкой, используют приобретенные навыки на своем же народе. Логика тут одна: тот, кто дорожит памятью только своего народа, рано или поздно начинает оправдывать все на свете. Возможность объективной оценки пропадает. Если встать на точку зрения лидеров общества «Память»: прав всякий, кто что-то делал в интересах русского народа. Иван Грозный завоевывал Сибирь, Казань, Ливонию — он прав, потому что он вел эти войны для блага русского народа. А раз он прав, то уже трудно осуждать его за резню, учиненную на самой Руси. Столько ведь сделал важного...

Надо преодолевать элементарный упрощенческий подход к истории. Логика и з б р а н н о й п а м я т и может привести только в тупик. К созидательным выводам она не способна.

Конечно, надо видеть в обществе «Память» и многих честных, искренних патриотов, именно русских патриотов. Обеспокоенность судьбой страны, судьбой социализма у них вылилась в обеспокоенность за судьбу русского народа.

В. И. Ленин учил нас соединять в единый революционный поток все честные, искренние, демократические движения. И надо помочь здоровым силам «Памяти» преодолеть тенденции «избранной памяти».

К тому же надо иметь в виду следующее. Русская культура и русская история, вообще русская память в б о л ь ш о й с т е п е н и пострадали в послереволюционный период.

Я много думал: почему в первую очередь с каким-то ожесточением, даже остервенением подвергалась утеснению именно русская историческая память?

Сначала находил элементарные объяснения. Вот церковь была против революции, а многие памятники связаны с религией, так как не было многие века иных форм идеологии и мышления. Или другая причина: царизм много затратил сил, чтобы превратить память прошлого в память не о народе, а о царе. Например, хотя погибли и Сусанин, и все поляки, легенда устойчиво твердила, что последние его слова были о первом из Романовых. Таких примеров натягивания на народную память царских одежд можно привести много. Вместе с царскими одеждами, стало быть, часто выбрасывали и народную память.

Потом я стал искать и другие «резоны». Память русского народа была не только церковной, не только монархической, но прежде всего и главным образом крестьянской. А в той модели строительства социализма, которую заставило принять стечение всех объективных и субъективных обстоятельств, именно на крестьянство легли главные тяготы. Оно отдало стране свои накопления, пожертвовало миллионы работников. Реальные формы этого процесса неизбежно требовали разрушения прежних основ крестьянской жизни, всего, что напоминало о прошлом, об успехах, о достижениях прошлого. Если В. И. Ленин постоянно отстаивал идею союза с основной массой крестьян и отошел от своей первоначальной концепции союза только с бедняками, то И. В. Сталин и его окружение пошли по другому пути. И принижение прошлой культуры, опиравшейся на крестьянскую массу русского народа, стало предрешенным делом.

Другой фактор, определивший ущерб для русской культуры, также связан с той моделью строительства социализма, которая была реализована на практике. В ней русский язык становился единым языком Союза, а русский народ должен был взять на себя главную роль в стране. Если бы речь шла о демократических формах, то это не принесло бы никакого ущерба русским, вызвало бы только уважение. Но в административной системе, осложненной то культом личности, то механизмом торможения, общественно необходимое неизбежно приобретало директивные, принудительные формы.

А русский народ, о чем свидетельствует вся его история, вся культура, по самой природе своего происхождения и развития, по психологии — интернационален, добр и мягок. Это, конечно, мои личные размышления, но, полагаю, они достаточно обоснованны: принижать русскую культуру, прошлое русского народа потребовалось для того, чтобы ожесточить русских, освободить их от своей памяти, чтобы они справились с ролью, отведенной им административной системой. Человек, освобожденный от своего прошлого, больше пригоден для директивных, командных форм руководства другими народами.

Поэтому отказ от многих ценностей русской культуры, по моему представлению, связан с утверждением административной системы, утверждением той роли, которую она предопределила русскому народу. На него легла главная тяжесть этой системы, и его прошлое больше всего пострадало.

Для возникновения общества «Память» есть, таким образом, глубокие, объективные причины. Это и демографическая ситуация в России, и состояние Нечерноземья, и масштаб пьянства, и многое, многое другое. За грехи административной системы дорогую цену заплатил русский народ. И судьба этого народа оказалась столь тяжелой, что многие эмоции участников «Памяти» можно если не оправдать, то понять.

Н. А. Давайте посмотрим на дело несколько иначе. Для меня, например, вопрос не в том, правы или не правы деятели «Памяти». Я считаю, что в большин-

стве случаев — ие правы. Вопрос в том, что может принести всем нам, нашему обществу появление таких объединений, как «Память»?

Г. П. Вопрос ваш очень интересен. Я не претендую на полноту ответа, но хотел бы отметить наиболее важные, на мой взгляд, аспекты.

Аспект первый. Чего хотят, что ищут, обращаясь к истории, к памяти? Одни хотят извлечь уроки, другие ищут оправданий. Но к истории обращаются ие только с научным, «академическим» интересом. Есть и целый ряд современных и притом довольно практических подходов к прошлому.

Возьмем, как говорится, быка за рога и в соответствии с классовым подходом поставим вопрос: кому выгодна «Память»?

С точки зрения экономиста идея национальной исключительности — порождение торговли, товарных отношений. С одной стороны, эти отношения связывают людей. С другой — разъединяют. Для торговца любой конкурент на рынке — враг. Если же этот враг еще и говорит на другом языке, то во взаимоотношения привносится новый оттенок. Можно не говорить: «Он враг потому, что он — конкурент». А сказать иначе: «Враг потому, что он — говорит на другом языке». У нас торговли в классическом смысле слова практически нет, а следовательно, нет основы для возникновения такого рода национальных проблем в чистом виде. Но существует еще очень много экономических, хозяйственных противоречий, в эти противоречия вклиниваются и национальные отношения. Я уже не говорю о колхозном рынке. В Волгограде, например, из года в год «кроют» корейцев за цены иа выращенные ими арбузы, ио точио так же из года в год других продавцов арбузов не появляется. Тут за «национальиой» претензией стоит знаменитая обломовщина.

Но возьмем «нерыночную» сферу. Я знал десятки ученых, которые всерьез считали, что, не будь ученых других национальностей, они бы процветали. Они всерьез считали, что им мешают. На самом деле все гораздо проще: наукой заниматься им не мешали, а вот занять какие-то должности — возможно, и мешали. Кто может помешать писать научные труды? Стать завом помешать легче. Сфера «нерыночная», но положение в чем-то сходно с тем рынком, на котором столкнулись купцы разных национальностей. Для того, чтобы занять какую-то должность, я должен устранить конкурента. А для того, чтобы устранить конкурента, могу говорить не только о недостатке у него деловых качеств, но ввести в качестве дополнительного аргумента принадлежность его к той или иной национальности.

Н. А. Но не следует ли из этого, что национальные отношения будут все сложнее? В ходе нашей перестройки усилится, например, роль оплаты по труду, роль хозрасчета, будет преодолеваться уравниловка. А где больше различий вообще, там больше и поводов для национальных противопоставлений...

Г. П. А если взглянуть на вопрос иначе. В новых условиях из отношений будет уходить все привнесенное, останется только то, что обосновано экономически. А экономическое можно измерять, находить оптимумы. Хотя в целом национальные проблемы, конечно, не исчезнут и в ходе перестройки — вопреки старым прогнозам.

Аспект второй. Сложны не только итоги нашей хозяйственной деятельности, не менее сложны и противоречивы итоги деятельности и в других областях. А это оставляет возможность свалить субъективные неудачи на национальные особенности. История с крымскими татарами в этом отношении очень характерна. На них при Сталине возложили вину и за трудности, с которыми столкнулось партизанское движение в Крыму. Я специально этой проблемой не занимался, но знаю, что партизанское движение не везде оказалось одинаково эффективным, в том числе в некоторых районах России и Украины. Отдельные предатели ие представляли весь татарский народ. Не стояла ли за неудачами гораздо более простая вещь. Может быть, те, кто отвечал за партизанское движение в Крыму, искали сторонние причины для объяснения плохой собственной работы? Во всяком случае, история с высадками десантов на Керченский полуостров, роль Мехлиса

в Крыму более чем подтверждают стремление найти «козлов отпущения». Об этом убедительно писал К. Симонов, а позже — В. Карпов.

Конечно, сейчас ситуация изменилась. Народы наши стали грамотными. И когда руководство Узбекистана сваливает на Москву вину за то, что хлопок до сих пор принимают по весу, а не с учетом длины волокна, то думающие представители узбекского народа уже сами могут разобраться: дело не в Москве, а в нежелании руководителей Узбекистана поднимать проблему, а точнее, в их неготовности отстаивать правильную точку зрения. Ведь если отстаивать, то ругаться придется. А это может стоить должности. Зачем же рисковать? Гораздо проще сказать: «Госплан не хочет изменить метод учета». В данном случае потеря престижа руководителями, не способными вести перестройку, вряд ли смыкается с вопросом о национальности этих руководителей. Хотя кое-кто из них очень хотел бы изобразить свой уход как некий национальный кризис. Это хорошо просматривается и в событиях в Алма-Ате.

Чем глубже будет перестройка, тем неизбежнее избавление от некомпетентных кадров. И надо найти такие решения, при которых устранение непригодных не станет укором ни для одного из народов.

Таким образом, я вижу ряд очень разных процессов. Но все эти процессы показывают, насколько тонким должен быть подход к проблемам национальной памяти.

Н. А. Недавно я прочитал в «Новом мире» статью О. Лациса «Зачем же толкать под руку?». В этой статье подмечена характерная особенность нашего времени: категоричность некоторых призывов, крайность суждений фактически «толкают» перестройку «под руку». По форме такие суждения как будто бы порождены перестройкой. На самом же деле объективно направлены на то, чтобы опорочить ее смысл и значение. Если же взглянуть шире, таким «толканием под руку» выглядят иногда и внешние события Реформе 1861 года в значительной степени «мешало» восстание в Польше; некоторые проекты либерализации общества были «сняты» убийством Александра II. Иногда это наводит на размышления о том, что кто-то сознательно «подталкивал» историю «под руку».

Г. П. И в наше время было много похожего. Вскоре после XX съезда КПСС возникла необходимость подавить венгерскую контрреволюцию, и это оказалось в интересах сторонников «твердости». На судьбу реформы 1965 года во многом повлияли чешские события. Любимой темой всех противников реформы после 1968 года стало: вот-де до чего доводят преобразования! Конечно, затронутая проблема — предмет для серьезного, особого разговора. Думаю, когда активисты «Памяти» сознательно обостряют иациональный вопрос, когда татары или евреи устраивают демонстрации в Москве, а кто-то «подогревает» молодежь в Прибалтике,— это все тоже «толкание под руку». Кому-то — и за рубежом, и у нас — выгодно оживлять «толкачей». А потом подиимать на удивление синхронизированные крики. На Западе кричат: «Смотрите! Нет в СССР перестройки! Есть прежние ограничения свобод!» У нас кричат: «Смотрите! До чего доводит попустительство!» А вывод—общий: оставьте все по-прежнему, оставьте нас на своих местах.

Пример «Памяти» в этом смысле типичен. Фактически это общество дискредитирует перестройку, так как своими крайностями дает повод для обосиованного возмущения. А от возмущеиия недалеко и до вывода о том, что надо навести порядок административно — «разогнать», «запретить», «не разрешить». Но тот, кто не разрешит сегодня собрания «Памяти», завтра по той же схеме разгонит хиппи, а дальше на очереди может оказаться кто угодно. Иногда мне даже кажется, что кто-то искусственно «раздувает» иекоторые «тлеющие угли» в надежде, что возникнет потребность в «пожарном» и «воде», в тоске по праву «заливать».

Н. А. Размышляя о «Памяти», я пришел к выводу, что главное не столько в разборе конкретных призывов и акций этого общества (хотя такой разбор, конечно, нужен), а в выяснении того, почему иа нашей почве в условиях гласности явление такого рода столь быстро «пошло в рост». Почему экстремистские ло-

зунги и шаманские выкрики находят достаточно широкую аудиторию. Вот вопрос...

Г. П. Конечно, главное тут не в «Памяти» и не в ее лидерах. Гораздо важнее другое. Когда я смотрю на тех, кто в это общество пришел, меня не оставляет мысль, что это люди, активные по своему личному складу, но не нашедшие поля приложения своей активности. «Память» оказалась наиболее подходящим местом, где они нашли возможность, условно говоря, самоактуализироваться. Что-то творить по собственному желанию, а не по указаниям. Добиться чего-то такого, что они считают правильным. Элемент неудовлетворенности в данном случае очень существен. И пока мы не поймем, что проблема не только в лидерах «Памяти», но и в тех, кому нужно найти сферы жизненной активности, в полную силу участвовать в строительстве общества, а не оставаться «винтиками» и слепо верить своим начальникам,— пока мы этого не поймем, нам очень трудно будет понять, что происходит в «Памяти», да и не только в «Памяти».

Ленин когда-то говорил об анархизме как о наказании за оппортунистические грехи руководителей рабочего движения. Рабочие идут к анархизму, видя бесплодность тех лидеров социал-демократии, которые никаких реальных преобразований жизни не хотят, а устроились и благополучно живут в капиталистическом обществе. В «Памяти» я тоже вижу наказание за бюрократические грехи, отличающие многие наши действия, начинания, программы. Есть же у нас общество охраны исторических памятников. Кем переполнен его аппарат? Не знаю, как сейчас, а некоторое время назад в основном людьми, которые были переведены туда из профсоюзов, из партийного аппарата за неспособность заниматься каким-либо живым делом или для завершения жизненного пути. Даже десятиминутного разговора с этими людьми было достаточно для вывода о том, что рассчитывать на их сознательное отношение к проблемам истории не приходится, что участок работы, который они возглавили, им глубоко безразличен (так же, видимо, как были безразличны и прежние участки).

Наши общественные организации сплошь и рядом проникнуты какой-то ненавистью ко всякой инициативе, поискам, самостоятельности. Даже деньги, личные сбережения в доброе, близкое тебе дело долго вложить было нельзя. Теперь к вкладам призывают, но — в общую кучу, на один счет. А ведь человек хочет указать, что его деньги — не вообще на охрану памятников, а Соловецкому монастырю, не вообще зоопаркам, а конкретному слоненку Лёве.

Откуда это все? Ведь благотворительность — из чувств, а чувства — конкретны. Но бюрократу претит сама мысль, что кто-то указывает ему, куда тратить деньги. Так, чего доброго, потребуют отчета об использовании средств. Бюрократу куда удобнее взнос в общий котел. Мы, мол, сами знаем, куда и сколько тратить. И лучше — без личных пожертвований. Не лезьте со своими претензиями и деньгами. Так по крайней мере было недавно. Думаю, «Память» явилась наказанием за бюрократизацию общества охраны памятников. В «Памяти» очень много людей, которые, глядя на «официальные» структуры, официальную деятельность, приходят к выводу о необходимости каких-то радикальных мер. Некоторых лидеров «Памяти» можно счесть параноиками. Но если параноика кто-то слушает, то дело тут уже не в нем, а в слушателях. И надо думать, что с ними происходит. Ведь в обществе «Память», несомненно, много честных, искренних людей. Да разве дело только в честности и искренности!

Н. А. Мне тоже представляется, что рост числа неформальных объединений с чрезвычайно пестрой картиной установок, безусловно, свидетельствует о сложности общественного процесса. Но как, по вашему мнению, можно на него влиять?

Г. П. В широком смысле я считаю «Память» (какая она сейчас есть) одним из порождений застоя. Это, конечно, «плесень», но «плесень» не случайная. И не единственная в своем роде. Есть и другие очаги гнили. Скрытые прежде, они теперь выходят наружу. Когда я читаю о «люберах», о «металлистах», об экстрасенсах, о сектантах, я все время ощущаю, что это части чего-то более общего. Проявления процесса, связанного не столько с неудовлетворенностью людей жизнью, сколько с тем, что они не видели реального пути изменить свою жизнь. Им были недоступны рычаги, с помощью которых они могли воздействовать на окружающую действительность. Многие наши недуги были вызваны тоской по активной социальной жизни, по возможности на что-то влиять. И в общем-то желание быть человеком, хозяином своей судьбы, очень понятно. Вот в чем, по-моему, общая основа явлений, о которых шла речь. И на ней паразитируют разного рода Бесы нашего времени, жаждущие удовлетворить свое честолюбие, свою корысть, а иногда щегольнуть своей необразованностью и дикостью.

И тут нельзя не сказать и о другом.

Когда в газете с 11-миллионным тиражом подробно излагается точка зрения руководителей общества «Память», то уже не знаешь: в плюс это идет или в минус. Не пропаганда ли это их точки зрения? Если из 11 миллионов читателей хотя бы одна тысяча потом захочет следовать изложенной программе, какова, пусть невольная, роль газеты?

Речь идет, по существу, о секте. Когда на Западе небольшая секта хочет привлечь к себе внимание, то она использует два вида рекламы. Первый вид — это положительная реклама. Второй, — когда «товар» ругают,— отрицательная. Но это тоже реклама, и за нее тоже платят. Платят, чтобы хоть упомянули. Всегда найдется кучка людей, которые захотят попробовать то, что ругают. Это те, кто хронически не верит рекламе.

Во времена моей молодости мы о всех западных модах узнавали из «Крокодила». Никаких других источников, которые бы показали, что сейчас носят девушки и юноши на Западе, не было. А «Крокодил», регулярно помещая карикатуры на «стиляг», сообщал нам, какие сейчас модны брюки, какие зонтики, какие каблуки и т. д. и т. п. В нынешней критике «Памяти» я вижу порой такое же ознакомительство. Запрещать, конечно, ничего не нужно. Но превращать критику в информацию или даже в пропаганду тоже не следует. Здесь необходимо находить правильные пропорции.

Н. А. Есть ли какая-то альтернатива «Памяти», будь она русская или татарская?

Г. П. Вернемся к главному — отношению к истории наций в нашей стране. И к тому, как проблема национального конкретизируется в условиях перестройки.

Мне кажется, что ее роль в перестройке недооценивают — ни как тормозящий фактор, ни как возможный фактор ускорения. Но независимо от наших намерений этот фактор будет становиться все более значимым. Мы уже говорили о том, что усиление экономических методов и распределение по труду обнажат многие различия, в том числе и национальные. Говорили мы много о возрастании роли социального фактора. Но не все стороны этого процесса осознаем. В социальном факторе, думаю, также возрастет национальный компонент. На ситуацию окажут влияние развитие гласности, демократизация. Тех, кто этого не видит, убедит жизнь. Собственно, уже убеждает — событиями в самых различных регионах.

Наша страна просто не может нормально экономически развиваться, не решая возникающие в процессе развития национальные проблемы. В этом смысле перестройка общества — одновременно и сложнейшая перестройка, совершенствование национальных отношений. Не раз и не два мы сталкивались с тем, например, что экономический механизм, удовлетворяющий народ с одними историческими традициями, в других условиях оказывался недейственным. Возможность заработать дополнительно пять — семь рублей, вполне приемлемая, скажем, для литовца или эстонца, оставит равнодушным жителя Узбекистана. То, что срабатывает в центральной России, неэффективно в Сибири, где условия жизни другие, и т. д. Без учета всего комплекса местных особенностей мы нового экономического механизма не создадим.

Приведу элементарный пример. В Средней Азии приусадебный участок дает половину, а то и 70 процентов дохода, и основную работу многие там рассматри-

вают как плату за этот участок, возможность пользоваться его благами. А в Нечерноземье работа в общественном хозяйстве — основное и зарплата — основное и решающее. Можно при такой разнице условий использовать два одинаковых механизма? Все тонкости с вычислением зарплат и премий для большинства жителей Средней Азии значения не имеют, пока до семи десятых дохода идут по другому каналу. А вот лишние полсотки земли уже имеют решающее значение. Мы пока об этом всерьез не думаем. А ведь один из важнейших уроков прошлого (хотя и это особая тема) состоит в том, что попытки построить единый аграрный, как и единый промышленный механизм, для разных районов страны — это абсурд. Нужно искать много вариантов, и выбор таких вариантов чрезвычайно важен.

Уверен: нужно сообща выработать национальную политику, соответствующую курсу перестройки. И формы перестройки, учитывающие национальные особенности. Главная цель такой политики — использовать национальный фактор как еще один мощный рычаг активизации фактора человеческого.

Не секрет, что наряду с материальными интересами в активизации людей огромную роль играют политико-социальные мотивы. И среди них на первое место по значимости я бы поставил мотивы идейно-политические, национальные и нравственные. Так что не думать о «национальных» рычагах активизации по меньшей мере неразумно. Вспомним хотя бы, какую роль сыграло в годы войны обращение И. В. Сталина к национально-патриотическим традициям русского народа.

Общий итог моих рассуждений таков: или мы научимся использовать национальный фактор как рычаг активизации, рычаг перестройки — или он будет работать против нас. Середины тут нет, ибо исчезнуть национальное может только в диссертациях иных теоретиков.

Н. А. Как же, по вашему мнению, подойти к проблемам в этой сложной области?

Г. П. Рецептов у меня, конечно, нет. Есть раздумья. И есть на что опереться. Прежде всего — на историческую русскую традицию. Россия как многонациональное государство не могла не выработать достаточно разнообразных методов решения национальных проблем, и методы эти заслуживают тщательного анализа. Дореволюционная Россия была, конечно, тюрьмой народов, но она была тюрьмой именно н а р о д о в. А что касается г о с п о д с т в у ю щ и х к л а с с о в этих народов, то было множество систем их «кормления», стабилизации, сохранения и т. д. Горцы под предводительством Шамиля были разгромлены, но ссылка самого Шамиля была вполне почетной. Он жил в центре России, получил дом, пенсию, равную генеральской, а под конец жизни ему разрешили отправиться на паломничество в Мекку. Его сыновья получили высокие посты. Россия умела находить контакт и с ханами Средней Азии, и с сибирскими князьками.

Известно, что Россия ассимилировала татарскую знать (Юсуповых и прочих). А кто составлял петербургскую бюрократию? Зачастую прибалтийские аристократы. Я читал курьезный протокол заседания кабинета министров Александра II, на котором обсуждался вопрос о раскольниках. Несколько министров начинали свое выступление примерно так: «Не будучи православного вероисповедания, не хотел бы вторгаться в вопрос, касающийся веры, и ограничусь только некоторыми общими соображениями...» Можно представить, из кого состоял этот кабинет...

Другая сторона — традиции демократической России в национальном вопросе. Я не говорю уж о единении народностей в крестьянских армиях Разина и Пугачева. Вспоминаю замечательные слова Лермонтова, его стихотворение «Родина»: «ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья». К концу жизни Лермонтов дал гораздо более глубокое понимание Родины, чем «слуга царю, отец солдатам». Добролюбов считал «Родину» одной из вершин демократической мысли России. Отношение к Родине, свободное от исторических мифов, когда человек любит народ таким, какой он есть — с деревенским праздником, «под говор пьяных мужичков», когда человек любит поля, леса, то есть именно Родину, а не ее государственный мундир.

Н. А. Через много-много лет, в 1941 году, Симонов написал стихотворение и тоже назвал его «Родина». И в нем сказал, что в бою умирают за три березы, которых «никому отдать нельзя».

Г. П. У Лермонтова есть замечательная мысль в «Герое нашего времени». Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав»,— хотя сам по себе, с точки зрения русского, поступок этот был зверским и диким. Белинский уловил с присущей ему чуткостью, что замечательная черта русского народа — умение стать и на позицию другого народа, судить о действиях другого народа, исходя не только из своих нравственных критериев, но и с позиций другого народа — «п о-и х н е м у». Русский народ очень давно поднялся до понимания того, что другой народ может думать иначе, чувствовать иначе.

Останавливаясь на демократических традициях, можно вспомнить и Герцена, который защищал Польшу, прекрасно понимая, какое трагическое воздействие на преобразования в России имеют польские события. И многое, многое другое...

Необычайно важны для нас марксистские традиции, марксистские подходы к национальному вопросу — традиции великого Интернационала Маркса и Энгельса. К сожалению, национальную сторону их деятельности мало кто сейчас изучает, тем более что фундаментальной работы по национальному вопросу у них нет. Но если читать их многочисленные статьи, например, по Крымской войне, то можно найти много очень важных мыслей.

Маркс и Энгельс выступали в поддержку национально-освободительных движений, но все же, мне кажется, главным для них был критерий исторического прогресса. По этому критерию всякое движение, в том числе и национальное, надо оценивать с точки зрения того, насколько оно способствует движению вперед человечества в целом. Возможно, я не прав, но думаю, у Маркса и Энгельса критерий прогресса определялся развитием экономики, производительных сил. И с этой экономической стороны захват Африки при всех издержках выглядел прогрессом, поскольку Африка в результате этого захвата включалась в общемировой процесс развития человечества. Но ведь и борьба, например, индусов за независимость, восстание сипаев тоже были прогрессивны, так как поднимали к сознательной исторической деятельности миллионы прежних рабов и, что не менее важно, вытравляли из англичан, в том числе рабочих, паразитизм, вызванный эксплуатацией других наций. Ситуация двойственная и в чем-то противоречивая: классовое и национальное. Экономически интеграция Индии с мировым рынком — прогресс и отделение — социально — тоже прогресс.

Русские социал-демократы вначале тоже тяготели к «экономизму» и положительно характеризовали только то, что способствовало развитию общего рынка, капитализма. Но этот подход выявил свою ограниченность еще до революции. Когда обострились национальные отношения перед первой мировой войной, и особенно во время нее, Ленин выдвинул новую концепцию решения национального вопроса.

Позиция Ленина и большевиков по отношению к империалистической войне, курс на поражение своего правительства и до сих пор изумляет смелостью. Такая концепция с точки зрения ура-патриотизма («Памяти», например) выглядит совершенно недопустимой. Тем не менее Ленин только ее считал и правильной, и возможной.

Тогда же сложилась теория справедливых и несправедливых войн. Она в данном случае представляет особый интерес, поскольку в основу характеристики войн берется уже не только классовый признак. Ленин развил идеи Маркса и Энгельса, заложив ряд начал, которые последовательно провел потом при национальном строительстве нового государства. Смысл ленинского учения в том, что насильно никому прогресс не навяжешь. И народ, который отстаивает свою национальную независимость, даже если он живет при отсталом строе, более

прав, чем народ, который во имя прогресса захочет над ним господствовать. На вопрос, имеет ли право революция во имя своих целей осуществлять насилие над другой нацией, Ленин отвечал однозначно: насильно в социализм никого нельзя тянуть.

В основу решения национального вопроса был положен принцип национальной независимости. К сожалению, на истолковании этого принципа отрицательно сказалась сталинская концепция автономизации, которую, как известно, Ленин критиковал.

Не менее важно и то, что национальные проблемы были связаны с территориальными. Тут также интересно заглянуть в историю. Еще при создании партии было отвергнуто предложение Бунда о национальной основе партоорганизаций и принят территориальный, интернациональный принцип. Правда, в чистом виде реализовать его не удалось — в Польше сложилась особая организация. Но в целом в Российской империи действовала одна партия, которую назвали не русской, а именно Российской социал-демократической рабочей партией. В дальнейшем Ленин выдвинул идею территориального самоопределения наций, вплоть до полного отделения. Практический итог такого подхода — появление ряда партий: Украины, Белоруссии, Грузии и т. д.

Территориальная концепция выросла на почве анализа реальных отношений — в основном исторического опыта народов восточной и южной Европы. За исключением евреев они были достаточно территориально обособлены уже в силу своих сельскохозяйственных занятий, главных для большинства населения.

Эти идеи и были реализованы в ходе строительства СССР. Для громадного большинства наших народов следование административно-территориальному принципу стало гигантским шагом вперед. Правда, остались и неясности. Почему один народ имеет право на создание союзной, а другой — только автономной республики? Почему народности, не выделенные в какое-то территориальное образование, не имеют представительства в Совете Национальностей? И т. д. Все это — объективные и весьма сложные вопросы.

Но главным источником усиления противоречий стало, на мой взгляд, само экономическое развитие страны, которое привело к огромному перемещению трудовых ресурсов. А НТР потребовала концентрации лучших умов всех народов в крупных научных центрах. Думаю, в этих условиях один лишь территориальный принцип решения национального вопроса исчерпывает себя, становится в иных случаях тормозом.

Возникают парадоксальные ситуации. Большие группы людей лишены, например, возможности учить своих детей родному языку только потому, что живут и работают на территории другой республики. Вспоминаю письмо азербайджанских нефтяников из Тюмени. Они готовы и дальше работать в Сибири, но их волнует, что дети забывают родной язык,— школ нет. А почему, собственно? Почему вообще нельзя учить любой язык на территории любой из республик, если в этом возникает потребность?

Н. А. Гавриил Харитонович, а как все это сказывается на отношении к той конкретной проблеме, с которой мы начали беседу,— проблеме исторической памяти?

Г. П. После революции мы оказались в очень сложном положении. Из возможных вариантов решения проблем исторической памяти был выбран, казалось бы, самый простой. О прошлом вообще ничего не надо помнить. Сейчас много говорят о разрушении церквей, в частности в Москве. Да, сносили храмы. Но не только православные. Ломали мечети, кирхи, костелы, синагоги — и так по всей стране. Это был по-своему логичный выбор. Новое общество строит свою новую культуру, никакой связи с предыдущей не имеющую. Практика показала, что такой вариант не только не позволил в короткие сроки создать новую культуру, но и породил массу трудностей. На многое открыла глаза Великая Отечественная война, когда сперва громко заговорили о русской истории, отыскивая в ней положительные примеры из прошлого (и это сыграло большую роль в сплочении народа). Потом то же самое произошло и с историей других народов. «Появился» Давид Гурамишвили в грузинской истории, Богдан Хмельницкий в истории украинской, и так повсеместно. Но это «возвращение» оказалось весьма своеобразным. Если раньше героями у нас считали только революционеров, то теперь признали героями самых разных деятелей. При этом их сознательно идеализировали, считая, что если они будут иметь какие-то недостатки, то тень их ляжет и на нас. В итоге Иван Грозный предстал средоточием государственной мудрости, Петр I — образцом гуманности, Богдан Хмельницкий — добродетели и т. п. Естественно, что те, с кем эти деятели боролись, должны были обрести облик злодеев, заговорщиков, шпионов. В ходу были только два цвета — белый и черный. Произошла уникальная канонизация одних деятелей и идеологическое репрессирование других. Конечно, это могло привести только к новым противоречиям.

Еще сложнее дело с историей народов, которые по каким-то причинам не имеют ни своей автономной области, ни даже своего округа.

Сейчас, когда мы всерьез начинаем думать о проблемах исторической памяти, я, разумеется, не давая никаких рецептов, хотел бы поделиться размышлениями об уроках, которые следовало бы извлечь из прошлого.

О первом, главном уроке ясно сказано на XXVII съезде партии. Это — урок правды. Правды во всем. История нам нужна, нам нужна память. Память не только одного народа, память всех народов. И для того, чтобы иметь возможность эти памяти между собой соединять, они должны быть полными, правдивыми. Я бы сказал, нам нужна нормальная правда о прошлом. Если правда будет нормальной, то она будет и исторической. И тогда в истории поуменьшится число «чистых» извергов, каким, например, до последнего времени любили изображать Павла I. Выяснится, что он делал не только плохое, но издал, например, указ о регламентации барщины, подтянул армию и т. п. С другой стороны, изменится, скажем, и сусальный облик Петра I. То же самое и с историческими личностями, представляющими другие народы. Правда позволит сказать, что Ермак не только героическая фигура, а его дружина обладала всеми, в том числе и вовсе не привлекательными чертами казачьей вольницы. Неграбительских форм колонизации в те времена и быть не могло. Поэтому Ермак был одновременно и первопроходцем, и даже цивилизатором.

Нужна взаимная правда о народах. Тогда Батый окажется не только злодеем, который сжег Россию, но и строителем монголо-татарского государства. Чингисхан, не перестав быть тираном, окажется и создателем довольно эффективной управленческой системы, которая в четком порядке функционировала на пространстве в тысячи километров.

Нужна, однако, не просто правда. Нужна и ее оценка с точки зрения исторического прогресса. Причем сам прогресс должен рассматриваться с разных позиций — экономической и социальной, для всего мира и для данного народа, для народа-завоевателя и для народа завоеванного. Это позволит правильнее оценить роль разных социальных слоев и личностей: революционеров, консерваторов, умеренных. Искать надо прежде всего то, что двигало вперед, а не то, что тянуло назад, в прошлое.

Далее. Анализируя прошлое, мы должны смотреть на него с позиций интернационализма. Искать в первую очередь то, что в ходе контактов обогащало народы, сближало их, поднимало, а не то, что разъединяло и ссорило. Этот урок я бы назвал и уроком национальной терпимости. В многонациональной стране недопустимо говорить об исключительности того или другого народа, надо учиться понимать всех.

И вот, наконец, главная, на мой взгляд, задача. Выработка концепции перестройки применительно к системе национальных отношений. Повторю: административно-территориальная система, которая была создана после революции и продиктована наследием империалистической войны и необходимостью освобождения от колониального ига, подъема отсталых национальных окраин, сыграла огромную положительную роль. Но, как мне представляется, она теперь все заметнее исчерпывает свои возможности.

Нужна новая концепция. Пока конструктивных соображений на этот счет мало. Пока ясно одно: нам нужна такая система национальных отношений, которая в наибольшей степени способствовала бы экономическому и культурному ускорению. Я считаю, что надо более внимательно присматриваться и к мировому опыту. Я много раз бывал в США. Там бизнес на первом месте. Все остальное считают второстепенным. Вместе с тем в США, например, немало национальных школ: русских, итальянских, еврейских, немецких. И повсеместно дети могут изучать и язык, и историю того народа, к которому принадлежат.

Конечно, в условиях частной собственности коренное решение национального и тем более расового вопроса невозможно. Но достижения буржуазной демократии в условиях НТР и при многонациональном составе населения страны хорошо бы изучить — и не только для критики.

Н. А. Видимо, этот опыт тем более интересен, что у наших народов есть много общего. Уже давно, больше ста лет тому назад, Уолт Уитмен, обращаясь к русскому издателю, писал: «...И у вас, и у нас — разнообразие племен и наречий, которому во что бы то ни стало предстоит спаяться и сплавиться в единый союз».

Г. П. Опыт, конечно, полезен, но... Но образцов нам никто не даст, надо и здесь искать свои решения. Суть их — как во всей перестройке — в отходе от административных методов. Конкретно речь может идти о постоянном преодолении исключительно административно-территориального и развитии экстерриториального по сути и демократического, а также экономического в основе подхода.

Я предложил бы, например, повнимательнее рассмотреть возможную роль национальных землячеств. Почему бы не поощрить их создание в городах, районах, областях, в любой республике. Да, где-то больше, где-то меньше представителей других национальностей, но у каждой — свои интересы, свои запросы, даже если это всего лишь один процент населения. В каждой административно-территориальной единице при Совете народных депутатов можно создать своего рода Совет национальностей с совещательными правами. Каждое землячество выберет в него депутатов; если землячество большое — больше, малое — меньше. Совет мог бы обсуждать и решать вопросы культурно-национального развития различных групп данного региона. Легко заметить, что предложенная схема воспроизводит давно оправдавшую себя в рамках Союза ССР практику Совета Национальностей.

Весьма полезна, на мой взгляд, была бы и культурно-национальная автономия. Положим, суббота выделена в школах, техникумах, вузах, театрах как «национальный день». Этот день посвящен занятиям родным языком, изучению истории своей нации, ее культуры. Роль организатора такого «дня» могли бы взять на себя землячества, а распределением помещений школ, клубов, заказами типографиям, телевидению и т. д.— Совет национальностей региона.

Такая деятельность, как я полагаю, должна строиться целиком на хозрасчетных началах — на членские взносы вступивших в землячества граждан и на другие пожертвования. Если землячества малочисленны и ощущают нехватку средств, Совет национальностей может помочь им за счет фонда, образуемого из отчислений других землячеств.

Разумеется, и тут должен быть исключен какой бы то ни было административный нажим, чтобы, например, гражданин мог вступить в землячество независимо от записи в паспорте и ни перед кем не был бы обязан отчитываться, в каком (или каких) землячестве состоит. А школьник, начиная, скажем, с 10-летнего возраста, имел право решать, в какое землячество ему вступить.

Конечно, эта схема порождает много вопросов. Как быть в селах? Где готовить преподавателей? А если где-то всего пять-шесть представителей одной нации и всего три школьника?.. Я не берусь отвечать на подобные вопросы, хотя, не сомневаюсь, ответ можно найти. Главное в другом. При таком (могут возникнуть и иные предложения) подходе мы сможем преодолеть бюрократизм в решении национальных вопросов, перейти и здесь к самоуправлению и демократическим формам, сделать их экономически независимыми от государственных органов. Не надо будет контролировать сверху, сколько депутатов в Совете республики от коренной национальности, насколько полно представлены среди директоров предприятий национальные группы, кто по национальности первый секретарь и т. п. Национальное обособление будет сохраняться только в меру желания самих граждан. При социализме не кровное происхождение, а труд и только труд, его итоги должны стать главным в оценке человека.

Думаю, предложенная модель заслуживает внимания — проблемы развития многонациональной страны в период глубинных структурных сдвигов требуют и новых решений. Рецептов, повторю, я не предлагаю. Делюсь, так сказать, сюжетами для нестандартного осмысления. Уж слишком упрощенно мы подходили в прошлом к исторической памяти и к национальному вопросу. Хотя, по сути, все действительно просто. Нет плохих культур и плохих народов. И, если искусственно питать культуру какого-то народа, подкармливать, огораживать ее,— можно вырастить только монстра.

О перестройке в сфере национальной политики и национальных отношений надо говорить открыто и во весь голос — так, как того требует партия. В докладе М. С. Горбачева, посвященном 70-летию Великого Октября, сказано: «Национальные отношения в нашей стране — это живой вопрос живой жизни. Мы должны быть предельно внимательными и тактичными во всем, что касается национальных интересов и национальных чувств людей, обеспечивать самое активное участие трудящихся всех наций и народностей в решении многообразных задач жизни нашего многонационального общества».

Ст. Рассадин

КОТОРЫЙ ЧАС?

«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «Вечность».

Мандельштам

I

«Никто стихов уже читать не хочет»... Ямб выдает: сказано стихотворцем, а коли так, то, надо полагать, с горьким — и столь распространившимся ныне — попреком читателю, злокозненно обходящему в магазинах слоистые рифмованные завалы? Да нет, ничуть не бывало. Стихотворец, точнее же и почтительнее выражаясь, поэт Александр Кушнер, наоборот, готов стать в первый ряд тех, кто поотстал от чтения стихов: «Я сам их, кажется, всех раньше разлюбил».

Похоже, он серьезен. И не заметить, чтобы слишком печалился...

В знаменательнейшем 56-м Эренбург, рассказав в «Литгазете» о никому не известном Слуцком, прибавил с уверенной обнадеженностью: «Хорошо, что пришло время стихов», и три последних слова, как девиз, были подхвачены первым «Днем поэзии» — этой ошеломившей новинкой, которая больше, чем многое другое, сказала и до сих пор говорит о той поре небывалых надежд и ослепительных иллюзий. (Тогда и вообразить было нельзя, что с годами «День» — подразумевалось: праздник — превратится в «Будень», в анахронизм, автоматически имитирующий счастливое оживление и спасающийся в глазах читателя больше всего публикациями забытого и до поры запретного.)

А сейчас... нет, сейчас уж никак не время стихов. И вовсе не потому, что кончился наконец пресловутый «поэтический бум», он сам по себе еще ровно ничего не значил, будучи, как и почти всякий бум, чем-то вроде затянувшегося нервного припадка или вялой инерции. То, что стихи перестали покупать без разбору, за одно то, что — стихи, прекрасно: по крайней мере, миновав период неразборчивости, мы хоть по состоянию магазинных полок поймем — ну, если, конечно, не кто чего действительно стоит, то, во всяком случае, в чем и в ком читатель истинно нуждается.

Публикуя обзоры поэзии 1987 года Ст. Рассадина и Валентина Курбатова, редакция предполагает напечатать обзор прозы 1987 года в № 2.

Да, речь не о буме, стихийно потворствующем сбыту гнили и фальши; дело куда глубже и, может показаться, печальнее. Впрочем, отчего бы не опечалиться и безо всяких оговорок, если даже ахматовский «Реквием», по моим наблюдениям, сравнительно мало задержал на себе читательское внимание? Пусть всего лишь сравнительно с ожиданиями, пусть заслоненный прозой, перенасыщенной неслыханной и невиданной (вернее сказать, вчера еще непечатной) информативностью, пусть сама эта проза не раз оттеснялась для нас голыми цифрами и беспощадными выводами экономистов и социологов; даже о журнальной книжке «Нового мира», где появился платоновский «Котлован», говорили: «Шестой номер? А, тот, где Шмелев?!» Да и поэма Твардовского «По праву памяти» была воспринята как крупное общественное событие, прежде всего так и не иначе. Ни для кого из жарко говоривших о ней и цитировавших ее еще не пришла пора (не до того!) пристально вглядеться в ее собственно поэтические достоинства.

Снова Кушнер: «Как мальчик, волнуясь, читает письмо от девочки, так мы сегодня газеты читаем...» Добавлю: и все, что для нас, заждавшихся правды фактов и трезвости их анализа, способно выдержать в этом смысле сравнение с сегодняшними газетами,— с заметками ли Заславской и Аганбегяна, с публицистикой Стреляного и Лисичкина, с постановлениями ЦК. Стало быть, не стихи первым делом. Не поэзию.

Но завидовать миновавшему «времени стихов» вряд ли имеет смысл. И не только отрезвевшим читателям — самим поэтам. Хотя бы потому, что оно, вспоминаемое — кем с ностальгией по романтическому энтузиазму, кем с ревнивейшей неприязнью,— по меньшей мере одну действительную беду, одно заблуждение нам оставило и укоренило.

Вот уж чего бы я не хотел: чтоб и меня причислили к поносителям «эстрады», демократически-элитарного Политехнического или даже гладиаторских Лужников. Но...

Я когда-то писал, что померещившееся в Лужниках, аплодирующих Вознесенскому, Окуджаве или Рождественскому, расширение круга читателей поэзии оказалось и не могло не оказаться мнимым; что расширялся разве лишь круг слушателей; что вовсе не обязательно слушатель (а еще вероятнее — зритель), с бою бравший билет на поэтическое ристалище, был способен остаться наедине с книгой того же Вознесенского, не говоря о книге Ахматовой; что, наконец, дико думать, будто бы и она, Ахматова, воплощение истинной поэзии, собрала на свой вечер полный стадион... Повторяю все это затем, чтобы отчасти отречься и повиниться. Теперь я думаю, что нет, слушатели стали-таки и читателями стихов, вернее, поверили, что это так же просто, как слушать. В том числе и Ахматову — просто. Так что, дождись мы чуда воскрешения по Николаю Федорову, и ее пришло бы послушать никак не менее ста лужниковских тысяч. Ибо и ахматовская поэзия во «время стихов», особенно в тот отрезок этого времени, когда первоначально духовная жажда сменилась модой, оказалась к моде причислена. Стала деталью престижа.

«Время стихов» свершило неоценимое: оно пробудило к жизни яркие, а подчас и реальные поэтические имена, оно возвратило нам ряд имен, вытравленных из истории нашей словесности, оно дало всплеск живейшего, искреннейшего, благодарнейшего интереса к поэзии,— но дало и несколько искаженное о ней представление. Поэты — говорю, понятно, не обо всех, для ясности и по необходимости схематизируя явление,— вдруг утратили свое племенное преимущество, свое первородство, выгодно отличавшее их от племени артистов: независимость от непосредственной реакции публики, надежду (вовсе не столь смешную, как ее привыкли изображать), что, оставшись непонятыми в сиюминутности, они могут быть поняты через сотню лет. А читатели — по счастью, также не все — привыкли думать, будто смелая и благородная мысль либо обличение общественных язв, будучи зарифмованы, тем самым уже становятся поэзией.

Взаимное заблуждение обернулось тем, что первого общепризнанного кумира (если принять во внимание, что и яростная хула есть непременная часть и участь признания), то есть, разумеется, Евгения Евтушенко, имевшего для того действительные основания, после сменяли те, кто не имел оснований уж ровно никаких — кроме вышеуказанной легковерности публики да еще того, что в пушкинские времена подметил знакомец Александра Сергеевича, язвительнейший Вигель: «Для знаменитости (понимай: для того, чтобы стать знаменитым.— Ст. Р.), даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства». Слава богу, что сейчас несомненный, как говорят нынче, лидер — это Высоцкий; радуюсь не потому, что являюсь его поклонником именно как поэта. Его исступленный, всенародный успех показал от противного, чего, каких безоговорочных обнажений, какой беспредельной открытости недостает современной поэзии в целом. Этот успех — упрек, вызов, так что, когда я читаю ненавистные обличения Высоцкого в статьях поэтов, они мне кажутся не только подчас безнравственными и всегда бессильными, но, прошу прощения, попросту нерасчетливыми, потому что кому-кому, а поэтам-то он дает небесполезный урок, дает возможность самокритического самопознания, вещь необходимую...

Итак, кумиры менялись, шла, кипела — и далеко не перекипела — «словесная война», но с поразительной последовательностью и бережностью сохранялось то приобретение, вернее, та утрата, которую в период своего победного и обаятельного самоутверждения понесла незаметно самая заметная часть поэзии. «Эстрада» опровергалась с разных позиций, в том числе с позиции так называемой (и неудачно названной) «тихой лирики», но неуклонно не прекращалась борьба за первенство, столь, казалось бы, нелепая в духовной деятельности — да и почему «казалось бы»? Да, нелепая, даром что заразительная. Оставался, не исчезал, так сказать, синдром актерства, жажда сиюминутного успеха и всечасная зависимость от него. Так что когда, допустим, один из воинственно-«тихих», Валентин Сидоров, триумфаторски констатировал: «Какие страсти в нас бродили! Восторг, овации, свистки... А победили, победили простые русские стихи», то бросалось в глаза и лезло в уши это попрыгивающее, молодежно-спортивное: «победили, победили...», а обыкновеннейшая, рядовая здравомысленность останавливалась перед безответным вопросом: как победили? То есть каким образом эта (поверим) победа фиксируется? На каком поле приходит? И что вообще значит? То ли, что восторженные толпы разом отхлынули от Евтушенко и Вознесенского к сочинителям «простых русских стихов»? Да и как понять это «простые русские»? Вероятно, все же не настолько простые, чтоб разрешать себе рифму: стихи — свистки?

Объявленная победа была фантомна, а «эстрадная поэзия», претерпевшая столько поношений, осталась неуязвима — отчасти и потому, что сами ее гонители, оказавшись последователями, охотно усваивали ее коренной и опасный порок, не усваивая, разумеется, того, что усвоить и невозможно,— таланта ярчайших адептов «эстрады». Больше — и хуже — того. Поддаваясь все тому же соревновательному азарту, арифметическому или строевому (первый? второй?), даже новый и несомненный талант уподоблял себя отчаянно самоутверждающейся бесталанности, которой без самоутверждения и именно отчаянного не обойтись. И, скажем, Юрий Кузнецов, может быть,

самый шумный из нынешних поэтов (хоть шумнт и достаточно нашумел далеко не в тех пределах, что былой Евтушенко, став и оставшись возмутителем скорее лишь узколитературного спокойствия), не есть ли он последний — на нынешний день — поэт эстрады? Или, учитывая перемену моды, рока? (Не роковой, хочу я сказать, поэт, а рòковый.) Не похож ли его напор, почти физический, его децибелы, его стремление и, отдадим должное, умение привлечь внимание любою ценой, не похоже ли все это на молодежно-музыкальное поветрие, к которому сам он, предполагаю, отнесется презрительно?

И как раз не доказывает ли того, что «время стихов», время «эстрадной поэзии» безвозвратно проходит, уже прошло, его, Кузнецова, эволюция? От косвенного рекламного самоутверждения, еще все-таки пребывающего в границах поэтической образности, когда он всего лишь (теперь — да, это «всего лишь») изъявлял театральное намерение пить из отцовского черепа и целовать руки детоубийце леди Макбет, к самоутверждению упрощенному, вульгарному, берущему неметафорическим нахрапом? «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка» (строки, которые сам автор недавно почему-то объявил эпиграмматическими,— явная путаница терминов, так как это скорее, напротив, ода. Себе самому, разумеется). Тут сама эпатажная бедная крайность — как последнее волевое усилие удержать уходящее или, перекричав, напугать настающее...

То, что уходит (ушло), можно, кому придет охота, жалеть, находя в ностальгии видимость духовной опоры, но идеализировать его, полагаю, не стоит. Как и возбуждать себя аналогиями давней полуромантической «оттепели» с нашим серьезным сегодня.

Идеализируют и жалеют больше всего те, чья — как и моя — молодость осталась **там**. Бывшие «шестидесятники», до сих пор выдающие это звание за псевдоним неуходящей духовной общности, так стремительно и так печально обнаживших у многих свою несостоятельность. Подчас просто-напросто с уходом физической молодости. Хотя нам-то, тогдашним, тамошним, лучше бы не только что самим не раскрашивать то далекое время, а теперешних, тутошних остерегать от этого.

Пишет «восьмидесятник», талантливый Александр Минкин; с почтительным любопытством разглядывает из своего далека послесталинские пятидесятые — шестидесятые: «Но идеалы остались — вот что важно. Но вера в себя у молодых и незапятнанных — осталась. Они все равно были гражданами великой страны. Спасителями мира от фашизма. Ведь их от Победы отделяло всего лишь десять лет... Как эти люди позволили стране опять сползти в сплошную ложь — загадка».

Как, спрашиваете? А так... Нет, загадкой тут и не пахнет, ибо драма была не в том еще, что «позволили», а в том, что не могли не позволить. Не имели для того достаточной опоры даже в себе самих, весьма склонных к иллюзиям и мало расположенных к духовной самостоятельности, и тем более быстро утратили опору в обществе, которое культ одной личности поспешило сменить попыткой другого,— вероятно, пока еще не могло, не имело ни сил, ни опыта жить иначе.

Если же что в самом деле загадочно (впрочем, подыщем другое слово: не изучено), так это следующее. То, что в годы, как мы говорим, застоя, после 1965-го, утвердились в нашем созвании Искандер, Абрамов, Распутин, Белов, Трифонов, Быков, Айтматов — родилась, выросла, сформировалась (а немалой своей частью и напечаталась — вот еще одна странность) проза того уровня художественной правды, которая — вновь свидетельствую как «шестидесятник» — и не снилась «времени стихов», времени «исповедальной прозы» и тому подобного... Это проза. А поэзия? Нет, она не дала такого буйного роста, не явила такой морозоустойчивости, однако же не в пятидесятые — шестидесятые стал известен и даже славен Арсений Тарковский. Не в них вырос в большого, если оставить обиняки, поэта Олег Чухонцев, масштаб которого еще далеко не явлен двумя его тощими и искромсанными сборниками.

«Вот загадка моя»... Возможно, прямолинейнейший из холуев поспешит разъяснить, будто годы безвременья плодородны для литературы (холуй лукавый, тот придумает что-нибудь поинтереснее). Допускаю и то, что кто-то вольнолюбиво откажется признать хоть какую-то связь временнóй глуши и расцвета нашей по крайней мере прозы, указав причину его, расцвета, в живительном первотолчке середины 50-х. И последнее несомненно: без него, то бишь без первотолчка, вообще ничего подобного не приключилось бы. Но трагический, если угодно, парадокс существования вышепоименованных писателей в том, что, с одной стороны, болезненно огромен был разрыв меж открытой и обнародованной ими правдой и тем что вокруг них, как говорится, проводилось в жизнь. А с другой — не в этом ли самом, подчас издевательском, разрыве таилось (вдумаемся!) их художническое спасение? У них не было — вовсе или почти — надежд непосредственно повлиять своим словом на ситуацию, надолго сложившуюся в государстве, что было бесспорным несчастьем, но трезвейшая безыллюзорность прочищала глаза и давала возможность увидеть творящееся вокруг в связи, в ретроспективе и в перспективе с жизнью людей, человечества, мира, бога. (Заметим вскользь, что — вновь парадокс, который уже не назвать трагическим! — сегодня явилась и подтвердилась надежда реальнейшим образом обращать слово в дело, и вот Распутин говорит, что некогда писать прозу, надо писать статьи, да и в недвусмысленном, как сигнал тревоги, «Пожаре» ему явно не до художества.)

Все это я и к тому, чтоб сказать: не предвижу ни возвращения, ни поворота к «времени стихов» с повышенно эмоциональным, повышенно доверчивым отношением к ним, как к чуду или как к бунту,— многое, слишком многое не располагает к тому, включая различие между эффектом свержения с пьедестала Сталина, слывшего богом, и концом того двадцатилетия, в которое, по словам Юрия Черниченко, «четверть миллиарда азартно глядела в телевизоры, пережевывая не смысл речи, а собьется или осилит до конца...» Согласимся: одно дело — реабилитация тысяч, тысяч и тысяч людей (так сказать, «рабство, падшее по манию царя») и — стыдные нынешние воспоминания о ежедневной собственной лжи или хоть о ежедневном молчании в присутствии лгущих...

Еще и еще: да, сегодня не время стихов. Сегодня — **время поэтов**. Время не бурного потока, рожденного вдруг и, как всякий поток, неразделимого на струи, а — индивидуальностей. Одиночек, которых всегда мало и которые плохо, неудобно складываются в школы, течения, поколения. Тех, кто всегда и творил поэзию, но не всегда был так отчетливо виден и обособлен.

Время не пылкости, не воспаленного и безоглядного энтузиазма,— нет, самоосознания, неотделимого от самокритицизма, этого свойства лучших. Их-то и объединяющего, кем бы они ни были. «Оппозиция и тормоза, сам механизм торможения сидят в нас самих. Не исключаю и себя»,—эти слова сказаны политиком, Генеральным секретарем ЦК, и совсем еще недавнее наше горе в том, что даже сегодня они, произнесенные, кажутся неправдоподобными. А представитель иной сферы и профессии, поэт, скажет по-своему, с экспрессией, этой сфере и этой профессии свойственной: «Не готов я к свободе — по своей ли вине?.. Я ведь ждал ее тоже столько долгих годов, ждал до боли, до дрожи, а пришла — не готов». Скажет с тем задыханием откровенности, которая боится оказаться неполной и оттого спешит, с той, я бы сказал, оголтелой правдивостью, которая давно отличает этого поэта, Владимира Корнилова, и которой, оказывается, нам так не хватало все долгие годы его отсутствия в наших журналах,— когда вернулся, это заново и больно осозналось российским задним умом. Скажет, обнаружив бесстрашным своим: «не готов» именно готовность, а заодно понимание, что свобода, впрочем, как и правдивость, не самоцельны; что в традиционном для русских поэтов смысле они отнюдь не облегчат твоей жизни,— если, конечно, иметь в виду то, что и следует иметь, «не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу» (Блок); что с ними обеими, со свободой и правдой, будет еще и труднее, страшнее...

«Поэзия молодая, тебя еще нет почти, но славу тебе воздали, не медля, твои вожди»,— начнет Корнилов. Начнет, не ругаясь, даже не снисходя, но понимающе, сострадательно взвешивая тяжесть, что ляжет на плечи тех, кто возрос в «года глухие». Как раз со свободой, с раскрепощением сил, с невиданно возросшей ответственностью и ляжет:

Но нынче поменьше к лире
Приставлено сторожей,
И ей одиноко в мире,
Свободнее и страшней.
И душу ободрить сиру
Пред волею и бедой
Навряд ли сейчас под силу
Поэзии молодой.

Трудно жить. Трудно писать. Трудно встречаться с непривычной свободой, и даже сладчайшие из ее плодов имеют свою горечь. Гумилев, Ходасевич, Георгий Иванов, ахматовский «Реквием», «По праву памяти» Твардовского, «Сказка о правде» Исаковского, клюевская «Погорельщина», неизвестный и поразительный Смеляков, неопубликованные Мандельштам, Шаламов, Слуцкий, явившиеся наконец в журналах и решительно повлиявшие на поэтическую ситуацию,— это богатство, которое я по необходимости и все-таки чуть ли не с сознанием собственной вины умещаю сейчас в бедный, неэмоциональный перечень (что поделать, задержись я на них, и статья о сегодняшней поэзии попросту не состоялась бы),— словом, облегчили, что ли, они своим вызывающим соседством долю пишущих нынче? Разумеется, наоборот, и если Самойлов скорбел об уходе гениев — отчасти и потому скорбел, что уход развязал руки: «Нету их, И все разрешено»,— то возвращение их же или других из небытия и запрета одергивает, острожает, стыдит.

Как говорится, завидую внукам и правнукам нашим, которые станут вырастать на «Реквиеме» или Ходасевиче, попавших в хрестоматии или уж во всяком случае ставших «нормальной» классикой; станут усваивать их естественно, скажем, как молоко, а не экзотический пряный напиток, не хмелея, подобно нам, от сознания недавней подпольности или только-только дозволенной новизны. Что делать, у нас, у нынешних, иная судьба, и я лично очень хорошо понимаю тех, кто кулаком стучит, чтоб Набоковых — Булгаковых не печатали в текущей прессе,— ну, хоть в ней, коль не выходит иначе,— и даже Петра Проскурина с его уже знаменитым обвинением редакторов в жутком грехе «некрофильства» [1].

---

[1] Из словаря: «Некрофилия (гр. nekros мертвый + phileo люблю) — половое извращение, заключающееся в совершении сексуальных действий с трупом». Благожелатель-

«Свободнее и страшней» — да, именно так, чем свободнее, тем страшней. Для одних — в смысле элементарной угрозы их литературному положению и самому существованию, для других — осознания новой, высшей ответственности. И для всех, угодно им или неугодно,— в смысле перепроверки критериев, неотвратимо разоблачающих вошедшие в обычай приписки, возведенную в норму инфляцию, самообольщение и самодовольство, распространившиеся так бедственно, как только и может быть, когда критериев как бы и вовсе нет. Пока — нет.

2

В самом деле...

«Мне повезло: я вовремя родился, встал в общий строй, чтоб заменить отца. И — с пылу, с жару! — веку пригодился. Теперь-то знаю: это до конца. Хоть выстрадать судьбу свою непросто, не стану хныкать: дескать, тяжела... Я счастлив, что душе хватило роста и жизнь — добром и злом — не обошла».

Это один из счастливцев, щедрых на самооценку. Вот другой — пусть нас не обманет полное его попадание в ту же ликующую интонацию и в тот же размер пятистопного ямба: «Смущал немало девушек, которым бессмертие с любовью обещал. Любой из них дарил я щедро город и от даров своих не обнищал... По пятницам я боль чужую слушал, и, осязая боль своей души, я все же врачевал чужие души неспешным словом в суетной тиши».

И уж для круглого счета третий: «Я придерживался правил, тех, что выбрал в жизни сам. Я с друзьями не лукавил, не подыгрывал врагам. Не спешил посторониться, видя пошлость, видя гнусь. Я за это расплатиться никогда не убоюсь»... Словом (поддержим размер с интонацией и мы): «До того я стал хороший — сам себя не узнавал».

Вячеслав Кузнецов, Владимир Фирсов, Игорь Ляпин...[1]

Не слабо, как вольно выражаются нынешние молодые. Да и то — с чего, скажите, давать слабину, если критики всегда поддержат в самооценке, еще и с лихвою, как молодая-ранняя Ирина Шевелева:

«Пушкин... писал: «Взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Велика цена этого взгляда, взгляда Шолохова на революцию. Взгляда Твардовского на бессмертного русского солдата. Взгляда народной поэзии на эпоху Ивана Грозного. Взгляда Есенина на Пугачева... До такого взгляда в лучших своих строках поднялся и современный поэт Владимир Фирсов...»

Конечно, всегда есть возможность утешиться, читая даже этакое, да и утешаемся,— во-первых, тем, что начинаем уверять, а может быть, и уверяться, что система литературных приписок если не канула в небытие, то уж точно обречена. Во-вторых же, даже уродство той ситуации, когда на истинное значение распремированного стихотворца невозможно и намекнуть, оборачиваем как бы подвохом этому неприкосновенному. К примеру: «Единственное, что могла сделать истинная критика,— это замолчать плохую литературу. Гении этой литературы не получили от нее ни одной похвалы. Они не услышали от нее и хулы, но это уже не вина критики, а заслуга тех же гениев, которые, имея в руках печатный станок, физически поставили критике заслон... В иных условиях молчание значительней прямого осуждения. Народ безмолвствует, сказано в «Борисе Годунове» у Пушкина, значит, народ не одобряет. Безмолвие критики намекает на то же самое».

Писано (Игорем Золотусским) веско, хлестко, но, повторю, больно уж для критики утешительно — утешительно потому, что, опасаюсь, крепко преувеличена тонкость душевной организации «гениев» и их неврастеническая способность страдать от наших молчаливых намеков. «Молчание значительней... осуждения»? Ах, если бы! Молчание тех, от кого «гении» никак не ждут похвалы, не боль их, а цель, победа, тем паче, что есть неотобранное и неотъемлемое право объявить истинной критикой — да хоть Ирину Шевелеву, какая разница? — а неугодливых и, стало быть, неугодных зачислить в ряды «фальшивых якобинцев» и «лжедемократов от литературы», нагло укравших «фонарь гласности». Кто помешает? Вдобавок и «Гутенбергов пресс», отнюдь еще не перестроившийся — что взять с безгласной машины? — продолжает не только исправно доставлять «гениям» материальные блага, но и заниматься подменой ценностей, делая это самым элементарным, зато и надежным способом: множа издания одних и перекрывая дорогу другим.

Цитирую запечатленный «Литературной газетой» разговор корреспондента с издателем. Недавний, не из «периода застоя».

Издатель: «Нас критикует пресса, что вот-де зря мы выпустили, например, стихи Е. Антошкина. (Увесистый однотомник.— **Ст. Р.**) Кроме того, называют еще два-три имени... Но не более. В целом, я убежден, мы издаем все-таки крупных прозаиков, крупных поэтов...»

ность требует заподозрить скорее осечку эрудиции П. Л. Проскурина, чем действительное желание обвинить в *этом*, скажем, редакцию журнала «Москва» только за то, что она наряду с его собственными романами печатает и «мертвого» Набокова.

[1] Надо предупредить: далеко не всегда указываю журналы, где явилась та или иная публикация,— кроме некоторых, не выстраивающихся в систему случаев. Статья о делах стихотворческих, а не журнальных, потому не сталкиваю редакционных амбиций, лишь единожды оговорившись, что в этом году только один из журналов, «Новый мир», показал, как мне кажется, в отборе стихов последовательность при достаточной строгости вкуса.

Корреспондент: «Многие крупные поэты в последние годы не издавались у вас. Почему?»

Издатель: «Очень многие крупные поэты уже имеют и однотомники, и двухтомники, и собрания сочинений. Существует же инструкция, по которой переиздавать собрания сочинений и избранное можно только через десять лет».

Корреспондент (и что ему неймется?): «Кроме избранного, в ваших темпланах есть еще так называемые отдельные издания. В 1983 году вы выпустили, скажем, двухтомник В. Фирсова, а в 1987 году он стоит у вас в отдельных изданиях. Так можно?»

Издатель (если б то была пьеса, хотел бы я угадать, какая тут потребна ремарка): «Можно».

Беседа, конечно, вообще прелюбопытна, но я прошу читателя задержать внимание всего на четырех словах: **«очень многие крупные поэты»**.

Давно бы пора привыкнуть, но все поражаешься, до какой же степени литературная ситуация (и книгоиздательская, что неразрывно) воспроизводит ситуацию общественную, экономическую, политическую. Там, где недоступна и нежеланна интенсификация, торжествует не что иное, как сокрушительный вал, а необеспечение качеством и нереальность цен оборачиваются инфляцией. Крупные... Многие... Даже — очень (очень многие и, возможно, очень крупные)... Где, в какой благословенной словесности, в каком из счастливейших ее периодов было возможно такое столпотворение? И ведь никак не спихнешь на обмолвку — кой черт обмолвка, если она внушительно материализована (телеснее, чем подпоручик Киже) издательской практикой?

Говорим: «дутая репутация»... Подумаешь, приговор! Это бы еще ничего: все-таки — **репутация,** выходит, знают, читают, по крайней мере поминают в критике. Но даже последнее, не говоря о первом, необязательно.

Уже превратили в притчу Евгения Антошкина; чуть не сказал: злосчастного, хотя что ж это за злосчастье — из самых первых получить однотомник избранного в авторитетнейшем (казалось) издательстве? Как только заговорят о нарушениях издательской справедливости и просто здравого смысла, сейчас поминают его, Антошкина, и, в общем, правильно делают, потому что, допустим, и я, как-никак долгие годы занимавшийся вопросами поэзии, его имя услышал впервые как раз в связи с этой не совсем забавной историей.

Однако любой, даже такой, промах — всего только промах, «молоко», незлонамеренная ошибка, если за ее счет не пострадал никто иной. Если пуля (разовьем нехитрую метафору) летит не в кого-то еще. Издали Антошкина — хорошо... То есть, наоборот, скверно, но ладно, издали, и дело с концом. Забудем. Простим этот обморок издательского вкуса. Но прощать сразу расхочется, как только узнаем, кому было одновременно отказано в издании избранных сочинений — несмотря даже на благоприятствовавшие тому юбилейные обстоятельства. Кому? Знаю, что Олегу Чухонцеву. Знаю, что Дмитрию Сухареву. Потам. Мало? Но поэтов, не говоря о «крупных», вообще бывает немного, да и кратчайший мой перечень, кто захочет, может легко продолжить...

Это уже отбор. Отсев. Селекция. И, сопоставляя имена, убеждаемся: последовательная.

Вспоминаю, как моя эрудиция несколько лет назад получила еще один укол: в одной из газет я прочел статью об Игоре Ляпине; тон и размах похвал свидетельствовали, что явился стихотворец по меньшей мере значительный. «Кто это?» — профанически поинтересовался я и получил удивленно-эпический ответ: «Как кто? Новый главный редактор издательства «Детская литература».

Не сужу, точно ли эти резоны были у восторженного рецензента, возможно, и нет; важнее, что существование этих резонов не вызвало сомнения у моего собеседника, давно знающего, что почем.

Но это хотя бы понятно, ибо заведено. Буду, однако, благодарен — искренне говорю — тому, кто объяснит мне, откуда взялось представление, ну, скажем, о Феликсе Чуеве как о поэте солидного ранга, утвержденного и подтвержденного какими-то премиями, делегатством на писательском съезде (куда не прошли отбора, к примеру, Самойлов и Окуджава), насколько помнится, и орденом?

Не притворяюсь Кандидом-наивником и в подтверждение напоминаю, что имею представление о законах селекции. Да и у самого Чуева могу с уважением прочитать, что его любят космонавты и хоккеисты. Но что способен, копошась в своих воспоминаниях, сказать о нем я? Тоже — читатель.

Твердо помню, как Чуев приобрел когда-то некоторую известность в роли упрямого воспевателя генералиссимуса — в те еще времена, когда это не вполне поощрялось. (Отдаю должное, хотя и не преувеличиваю рисковости.) Помню, уже туманней, какую-то историю с акростихом, замаскированным под нежную лирику: «Сталин — солнце» или «Сталину — слава». А что еще? Какое стихотворение, какая единая строка запали в мою память? (Только не перечисляйте, ради бога, «про что» он писал, на какие почтенные темы,— я не о том, я о поэзии.) Или я проморгал, прошляпил, профукал поэта? Что ж, самокритически не исключая такой возможности, беру на пробу один из последних журналов, читаю: «Как другие — не знаю — хочу одного! — те, кого полюбил за восход, те, кого уважаю за честь, мастерство, незнакомцы и други — вперед!»

Плохо? Увы, без сомнения. Но это еще полбеды: редкий поэт не убережен от провала. Однако, кажется, это еще и беспомощно? Даже — по-моему — не

совсем внятно? И — не очень грамотно? Так куда, объясните, вдруг могли улетучиться непреходящие, первоначальные для стихотворца качества, такие, как владение ремеслом, знание языка?..[1]

Пословичное безрыбье, на котором, как общеизвестно, и существо иной породы способно будто бы обрести рыбьи кондиции, притом благородные, может создаваться — и создается — искусственно. Сперва замалчивают, а то даже и не печатают тех, кто одним своим присутствием мешает посредственностям сохранять самоуважение; потом, что естественно для противоестественной ситуации, удовлетворяются уровнем остальных, а там, когда с устранением раздражителей критерии теряют силу, почему бы и не обнаружить среди тысяч стихотворцев «очень много крупных»?

Закон организованного безрыбья воздействует на общее наше сознание, притупляет общий слух... Подчеркиваю: **общее, общий**, для чего цитирую как из журнала хорошего, так и из такого, который хорошим признать по совести не могу,— демонстрирую, то есть, плоды всеобщего бедствия. «Я помню, вспомнил я не сразу о высохших слезах моих. У солнца есть два круглых глаза, холодно-голубых. Я, как дитя, смотрел, а ведь его нельзя пересмотреть и взрослым детям, извините. Вы не поверили? Рискните» (Егор Самченко). «В век трагичных катаклизм жук? С ума сойти... Вот тебе капитализм, господи прости!» (Александр Говоров). «Кровушкой пахнет и гарью, давит плечо перевязь. Змей где-то рядом, Тугарин, и иже сходная мразь. Ну и, как водится, с ними тот крючконосый злодей, хитростью русское имя взявший себе — Соловей» (Геннадий Серебряков).

За голову впору схватиться! «Я помню, вспомнил... И взрослым детям, извините... В век трагичных катаклизм...» — хотя «катаклизм» в противоположность «клизме» как будто мужского рода? Что ж до Тугарина с Соловьем-разбойником... Нет, с крючконосостью последнего все ясно, вопросов нет, но как, любопытствую, переведет нам автор странное свое словосочетание: «и иже сходная»?

Если бы я копил курьезы! Если б вылюхивал что посмешнее, но у меня скорей роль нечаянного лакировщика, потому что это журналы, какой-никакой, а фильтр сравнительно с тем, что прячется под переплетами книг и остается, спрятавшись, наглухо не примеченным критикой!..

Да и не до курьезов.

Игра на понижение, ведомая самыми разными и лишь только отчасти административными средствами (премии, вручаемые за чин, издательские предпочтения, обоймы, настойчивые, как реклама кока-колы), соответственно разнообразна, и свести дело к некоему стратегическому умыслу значит упростить его. Приукрасить действительность. То-то и горе — настоящее, оттого нелегко устранимое горе,— что дух времени (в данном случае дух безвременья), дух инфляции и волевой приписочности материализуется в литературе даже и без прямого вмешательства указующей десницы, косвенно, опосредованно, нарушая и разрушая самую структуру поэзии,— мистики тут, к сожалению, нет, всего лишь обычные отношения бытия и сознания.

Происходит процесс удешевления, подмены первого сорта вторым; процесс **эпигонизации** — решусь на такой корявый термин.

Признаюсь, мне долго казался загадочным феномен Петра Вегина, в последние годы занявшего положение едва ли не мэтра; загадочным именно как феномен, как странность, которая ведь должна же иметь какое-то объяснение,— какое же?

Вегин начинал много лет назад как наиоткровеннейший эпигон Вознесенского и сумел донести это свойство до нынешнего дня в полной неприкосновенности. «Возможно, мы исчезнем, как гуанчи... Он мчал на запах туши и гуаши... Художник ждал. Жизнь возвращалась скупо. Понадобилась кровь. Совпала группа... У алкоголика — судьбы стеченье — такой же группы, что у Боттичелли». И так далее. Учитывая возможность путаницы, сообщаю: выписываю из Вегина, который, по-моему, так и не породил интонацию или образную систему, по которым можно было бы безошибочно отличить его. У него недостатки, и те не вполне свои,— когда натыкиваешься на пошлость: «Вначале было Слово» — библейский трюк. Вначале была Музыка, поскольку Слово — звук!», то и это амикошонство со святынями тоже невольное и, значит, тем более закономерное подражание Вознесенскому, фамильярничающему с тем, что к фамильярности, казалось бы, не располагает: «Христос, а ты доволен ли судьбою? Христос: «С гвоздями перебои». И если трогательно боящаяся постареть, молодящаяся муза Вознесенского, например, восславляя «сборную духа», заполнившую зал Чайковского, непременно и зорко приметит, что синие с белой каймой концертные кресла — это цвета кроссовок и маечек, цвета «Адидаса», то продолжатель омолодится до вовсе ребяческой инфантильности. Даже в стихах, шутка сказать, о Сталине, закружившихся в хореическом, частушечно-плясовом ритме малышовой забавы: «Спору нет. Но чем щедрее понижал он бумазею, тем страшней, страшней, страшней обесценивал людей»... «Злой разбойник Бармалей»...

[1] Занятно: когда статья была уже написана, Чуева наградили еще одной премией, и мой беспомощный вопрос касательно загадочности его поэтической репутации как бы получил поддержку. Ибо выдвигали-то поэта за вполне конкретную книгу, а присудили награду в одной компании с двумя композиторами (!) — и за что бы, вы думали? «За создание произведений для детей и юношества и большую работу по эстетическому воспитанию молодежи». Туманно-с, как говаривали прежде.

Насчет Бармалея, не удержавшись, прибавил, конечно, я — и как было удержаться?

Словом, Вегин — это второй Вознесенский; второй, дублированный, усредненный, иногда чуть-чуть окарикатуренный, и в этом смысле, я думаю, он оказывает «первому» немаловажную услугу, предостерегая его своим примером от клиширования собственных штампов. Доказывая, ка́к это, в общем, нетрудно. И уж во всяком случае мне, читателю, Вегин многое прояснил в моем критическом отношении к поэтике Вознесенского. Когда удивляются, как это он, обладатель столь элитарной манеры, пишет тексты для Раймонда Паулса не хуже и не лучше Ильи Резника: «Миллион, миллион, миллион алых роз», я могу предложить недоумевающим эксперимент. Мысленно поместите меж Вознесенским «сложным» и Вознесенским от «масскультуры» поэзию Вегина, и вакуум заполнится. Разрыва не будет. Все сгладится и примирится. «Сложность» явит свою до поры скрываемую простоватость, «непонятность» обернется непритязательной понятностью, «элитарность» — общедоступностью, и вот именно в этом, сглаживающем, повторю, усредняющем смысле я и считаю Петра Вегина одной из характернейших и потому важнейших фигур поэтического процесса долгих последних лет.

Это пример эпигонизации мирной, вкрадчивой, не сопровождающей своих захватнических акций воинственными возгласами, а есть и такая, есть агрессивная, вызывающая и оттого особо наглядная. Тем более что Татьяна Глушкова, о которой пойдет речь, на нашу удачу, еще и темпераментный критик, неотступно обличающий именно тех, вернее сказать, ту, чей стилистический облик — как стихотворец — она цепко переняла.

Честь открытия или, скорей, экспертизы принадлежит не мне; «старательной копиисткой — ученицей Ахмадулиной и Мориц» назвал Глушкову Сергей Чупринин, и уж первое-то из влияний всеочевидно до броскости. Добавлю, что не только оно. Не скажу насчет Мориц, потому что, признаться, не вижу, не ощущаю, но когда Глушкова в семидесятых годах издала книгу, та, помню, вызвала в памяти слова Шкловского об одном мемуаристе: у него хорошая библиотека, которую он давно не чистил.

«Библиотека» Глушковой выглядела богато-разнообразной: А. К. Толстой, Блок, Ахматова, Пастернак, Пушкин — да, и Пушкин, притом использованный, я бы сказал, с очаровательной наивностью: «Октябрь уж пробил!» Или: «Там чудеса... Там речка Волхов...» От озадаченности хотелось шутить: мол, отчего бы в таком случае не написать: «Пишу я чудное творенье»,— но незатейливая шутка тут же оказывалась посрамлена, ибо действительность ожидания превосходила: «Ну, здравствуй, липа!.. И все же ты мой век переживешь, и даже мой немыслимый потомок придет сюда...» Надо ли поднимать с поверхности (не из глубин) памяти: «Здравствуй, племя... Когда перерастешь моих знакомцев... Но пусть мой внук...»?

Еще громче, до назойливости громко подавали голос в стихах Глушковой современники-сверстники, и если Евтушенко когда-то случилось написать (в свою очередь, притом открыто подражая Мартынову): «Профессор долго смотрит на деревья. Он очень долго смотрит на деревья», то здесь мы читали: «А на Пскове́ все женщины стирают. В косынках белых женщины стирают». Если молодой Вознесенский играл в «Мастерах» наивными аллитерациями, которые, повзрослев, вычистил и изъял: «Перрона, пилоны, как сахар пиленый. Сверкнут оперенно дома из перлона», то Глушкова все это подняла, не дав пропасть: «Оранта, Оранта! — Чтоб вышел оратай... Оранта, Оранта! — Руины и раны отмолит, омоет Мария Оранта!..» И — доходим до главной персоны, избранной для подражания,— если Ахмадулина в одном из лучших своих стихотворений воспевала друзей: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны! Да будем думать, что они прекрасны!»,— то заразительная интонация, удерживаемая талантом на самой грани взвинченности и экзальтации, у «старательной копиистки» переступала грань, теряла бескорыстный смысл: «Какую власть таит мой слабый голос! Да будет им воспет любимый мой!» И дальше, дальше: «Целуй мои священные ладони,.. Вот так открою сумрачные вежды... А я закрою тихие глаза...» Самоупоенность на смену самоотдаче и саморастворению.

Все это само по себе горько и веско свидетельствует, до какой же степени «поэтическое хозяйство» (повторяя за Ходасевичем) было лишено элементарнейшего критического присмотра, способного заметить и, может быть, пресечь **такие** хищения. Но я-то вспомнил разгон Глушковой главным образом потому, что ее дальнейший, нынешний путь с замечательной закономерностью доказал, что «вторые» не только компрометируют «первых» (это случай из идиллических), они их, вольно или невольно, стремятся вытеснить. У Глушковой — вольно, отчего в особенности логично. Пестрота влияний уходила из ее стихов, пожалуй, что и ушла — но ради чего? Самостоятельности? Нет. Затем, чтобы сосредоточиться, не разбрасываясь, на одной-единственной фигуре. Как на модели для копирования и как на объекте для поношения — разом.

«Бумажные цветочки элоквенции... Культивируемое при энергичной помощи критики тонкое самодовольство, не осознающая себя духовная сытость...» Так, в пору, когда Ахмадулина не была еще выбрана на роль главной модели, яростно разогреваясь для будущих битв, честила ее Глушкова-критик; с годами об-

личения становились грубее, круче, равномерно и аккуратно совпадая с возрастанием стилистической зависимости — вплоть уже до «вегинской», почти неотличимой степени подражательности:

Ужели чаша выпита до дна?
Ужели даже смерть его не встречу
гортанною заплаканною речью
о том, что в огороде — бузина?
Ужели я от памяти вольна?
Ужели я от юности свободна,
когда иду тропой твоей болотной,
моя волоколамская страна...

Неотличимость, впрочем, весьма относительна: копия заметно аляповата, стих безнадежно лишен кружевной ахмадулинской полупрозрачности, и ежели тут возникает ощущение пародийности, то осуществленной (скажем так) не тонкой кисточкой Левитанского, а грубоватой кистью Александра Иванова, тем более что уж кто-то, ловящий повод для каламбура, не прошел бы мимо бузины в огороде и трудно вообразимой «заплаканной речи».

Однако не в этом главное. Оно — в уроке, который нежданно и показательно-назидательно дало нам последовательное эпигонство. Сражаясь с оригиналом и, может быть, тем старательнее воспроизводя его, Глушкова успела воспроизвести лишь то, что сама Ахмадулина вдруг, а скорее всего, не вдруг оставила позади, не отряхнув праха от ног своих, но уже сделав ими решительный шаг к суровости житейской прозы, к безусловности мира, к обновлению лексики, подчас почти «высоцкой»:

Впадает бабка то в болезнь,
то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает
Липецк
из недр ее, коль песню запоет.
Играть здесь не с кем. Разве лишь
со мною.
Кромешность пряток. Лампа ждет
меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря
мглою...»
Теперь садись. Пиши: эМ — А —
эМ — А.
Зачем все это? Правильно ли?
Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря,
мгла.
Но как доверчив Пашка, как
понятлив.
Как грустно пишет он: эМ — А —
эМ — А.

Ахмадулина ли? Или... Но нет: подражатели, как мы вновь убедились, не умеют писать лучше тех, кому подражают...

Вторичность, эклектика, эпигонство — они-то и есть эстетический аналог безвременья, его застойный стиль, обернутый глазами назад. Что, в общем, понятно. В годы, когда торжествует консерватизм, «первые», по природе своей не склонные вторить, вызывают вполне законное раздражение. Всюду, даже в литературе — хотя почему «даже»? И, невесело думаю, вкрадчивость или упорство «вторых» не скоро еще ослабят свои тиски, жесткие или шелковые,— остается, помимо прочего, благосклонная к ним читательская привычка, остается утрата острого вкуса к «первой свежести», к ней одной. И не только у публики — у поэтов. **Даже талантливых,** что тревожно в особенности.

«Хозяйку выманит из дома, кого попало соберет многосемейного альбома столь непотребный разворот»,— понимаю, что Владимиру Леоновичу так естественно было отдаться во власть блистательной жестокости Ходасевича: «Ведут сомнительные девы свой непотребный хоровод». Но когда печатал, отчего не захотел расслышать чужой отголосок и понять, что для поэта вторичность стыдна, как привычка брать в долг без отдачи? А Михаил Шелехов, явивший большой «новомирской» подборкой обаяние раскрепощенности, однако и расхристанность? «Я светил неотраженным светом и давал светить и жить другим... Очень трудно умереть поэтом, но еще труднее молодым». Есенин, если не ошибаюсь, а, может, заодно и ответ Маяковского ему: «В этой жизни помереть не трудно...»? Дальше: «Долой монастырскую сапу и стук похоронных часов! Веселую рыжую лапу поставим на чашку весов!» Переводной Киплинг, возможно, воспринятый при посредничестве стихов Искандера времен его прелестных «Детей черноморья»? А уж это — не очевиднейший ли Северянин, приперченный тем же ироническим Ходасевичем? «С собачками кровей английской королевы выходят на пленэр арбатских тупиков фарцующей Москвы сиятельные девы, алмазами гремя общипанных голов». Наконец: «Засветили уличный моргалик, презирая клинику луны... Из-под ванной вылез тайный карлик, подтянул клетчатые штаны». Кто, если не Блок? «Тихо вылез карлик маленький и часы остановил».

Я придираюсь? Или, хуже того, крохоборствую? Может, все это пустяки? «Мне бы ваши заботы»? Эка, скажете, беда: кто-то кому-то там подражает... Но консервативность эклектики, хотя бы «всего-навсего» стилистической, есть первый сигнал, подземный гул, предупреждающий: дух обленился, дух разучился или не научился трудиться, тратя силы на преодоление косности — общественной ли, эстетической — все одно, все родственно.

«На днях я подумал о том,— незадолго до революции записал Блок,— что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

Ждать перемен «вокруг» ему оставалось недолго. Дождались и мы.

3

Заканчивая публикацию повести Юрия Щербака о Чернобыле, героиней которой была, в частности, журналистка из Припяти Любовь Ковалевская, та самая, что забила тревогу за месяц до аварии, журнал «Юность» напечатал ее, Ковалевской, стихотворение — кстати сказать, совсем, совсем не плохое: «Откуда мы? — Разорвана слеза на «до» и «после» взорванным апрелем». И еще — о себе, о таких, как она, глаза в глаза увидавших чернобыльскую репетицию глобального апокалипсиса: «назначенные случаем в провидцы».

Сказано емко, тем емче, что не определяют ли три эти слова, быть может, вовсе и то и не претендовавшие, самую сущность поэтического избранничества? В российском по крайней мере понимании. Не случай ли, не каприз — уж там провидения или природы — наделяет поэта особым даром и велит ему, коли он поэт, не просто видеть, но провидеть?

«Поэзия — дело седых, не мальчиков, а мужчин»,— написал когда-то Варлам Шаламов, настойчиво повторившись в недавней посмертной подборке: «И разве это не нелепость, что приглашаются юнцы вести тетрадь с названьем «Эпос», где пишут только мудрецы». Вряд ли нужно хоть кому-нибудь растолковывать, что по-шаламовски крутое деление на то, что́ есть поэзия, и на то, что́, вероятно, надобно называть как-то иначе, произведено не по возрастному и еще менее половому признаку. И точно с той же, совсем не великой долей метафоричности можно сказать: «случай», каким стал Чернобыль в судьбе не только Любови Ковалевской, но всякого из нас, этот «случай» — непременное и ежедневное условие бытия поэта. Норма, если угодно. Поэт не то чтобы мученически мечтает об экстремальности; он без нее не обходится. Он без нее не поэт. Как бы ему ни хотелось порою иной доли.

А «до» и «после»... Разве то, что поэт не воспринимает своей современности вне их, вне истории человека и духа во всей ее протяженности, разве и это не постоянное, не нормальное его свойство? Просто бывают эпохи, дни и часы, когда этот естественнейший историзм эгоцентрически воспринимается как свежее чудо, как отклик твоей, только твоей, ничьей более, неотложной нужде.

Это — право любой эпохи. Любая, задавши поэту вопрос: «Который час?», может не удовлетвориться (см. эпиграф) ссылкой на вечность увлекших его проблем, и Достоевский в знаменитой притче о лиссабонском землетрясении и о поэте, который в миг катастрофы выступил с безразличными к ней стихами о пурпуре розы и отблесках янтаря, защищая свободу поэта, по меньшей мере понимал и разгневанных лиссабонцев. Что ж, использую свое право быть лиссабонцем и я, с сожалением признаваясь, что всего лишь с холодноватым вниманием встретил стихи любимого мною Давида Самойлова в «Юности», изящные исторические мистификации в духе его же замечательного «Струфиана». И пространный цикл Юнны Мориц («Октябрь»), показавшийся чересчур отчужденным от «первой реальности»...

Напротив, надо, не упустив, похвалить подборку Марии Аввакумовой («Новый мир»), горькую, жесткую — почему-то в таких случаях добавляют: «по-мужски». Стихотворения разных лет Евтушенко — свидетельство постоянства, с каким поэт колотился в глухие двери; свидетельство не вовсе еще ставшее достоянием одной лишь истории,— к чести таланта и в укор трудно меняющейся действительности. Поэму Михаила Позднякова в «Огоньке», прозаическая, болевая основа которой — говорю: «прозаическая», в хвалу — не спасует и рядом со злой документальностью очерка, изобличающего безумные разрушения храмов или природы.

Или — криком от боли кричащие, опять-таки «новомирские» стихи Николая Тряпкина, где пафос Библии слит с обыденной крестьянской бранью, где тоска по запаздывающей правде и ненависть к затянувшейся лжи таковы, что даже сама «вторая реальность» художества может быть сгоряча отринута как разновидность туманящей голову выдумки и ни в чем не повинная народная утопия подвергнется пересмотру с точки зрения неуступчивой, «некрасивой» истины: «Не искал ты, Никита, муравскую землю, никогда ты не думал о ней. А хотел ты, Никита, спасти свою семью, пожалеть своих бедных детей... Ты пристроился где-нибудь в бедном совхозе и детей приютил и жену. И почил ты, Никита, как праведник, в бозе, проводив за границу войну...»

«Поэзия есть проза,— сказал Пастернак —...голос прозы, проза в действии...» Сегодня, я думаю, эти слова воспринимаются буквальнее, чем когда-либо, выражая жадное наше желание получать правду из первых рук, ее самое, как она есть, нетрансформированную, непреображенную, как бы совершенно ни было гармонизирующее преображение... Мы не правы? Быть может; разберемся, когда вместе с эпохой войдем в берега. А сегодня хочется знать, который — в точности — час. Кто — кто. Что почем. Сегодня в необъятном и неопределимом понятии «поэзия» не стыдно высмотреть и предпочесть определения местного, так сказать, значения: поэзия — проза. Поэзия — правда. Поэзия — история...

В стихотворении Александра Кушнера «Воспоминания» им предается очень старый человек. Припоминает рубежный для мира 1917-й, весну, но вообще-то в памяти пробуждается нечто категорически «аполитичное», пустячно-милое, чем-то значительное для него, нам же сугубо неинтересное, непонятное, к тому ж недосказанное, однако словно бы незаметно для самого рассказчика мелькают беглые оговорки, замечания в скобках: «Н. Б. была смешливою моей подругой гимнази-

ческой (в двадцатом она, эсер, погибла), вместе с ней мы, помню, шли весенним Петроградом...» — и далее, по мере возникновения в памяти новых фигур: «повешен в Таганроге... погибла как троцкистка... потом за мной пришел мой старший брат (расстрелянный в тридцать седьмом), светало...»

Краткий, смертный, человеческий срок неимоверно раздвинут тем, сколько кровавых общенародных трагедий вместилось в него; раздвинут волей истории и, уж разумеется, не поэта, в чьем праве лишь ощутить жизнь своего собеседника трагическим микрокосмом,— а, скажем, другой поэт, Семен Липкин, избрав в герои уже не рядового своего современника, но самого Иоганна Вольфганга Гете, напротив, берет и самовольно, сказочно, беспощадно продлевает век немецкого гения, отнимая законное право не знать, не предвидеть того, чего он, мирно почивший бесчетные годы назад, не знал и не предвидел:

Дамы внимают советнику Гете,
Оптики он объясняет основы,
Не замечая в тускнеющем свете,
Что уже камеры смерти готовы;

Ямы в Большом Эттерсберге копают,
Всюду столбы с электричеством
ставят;
В роще бензином живых обливают
И кислотою синильною травят.

Хотя — не странно ли? Более, чем понятно, ради чего будоражит общую нашу память Кушнер, но здесь... Не собирается же автор, в самом-то деле, корить Гете зверствами его — пусть соплеменников, однако никак не наследников!..

А в стихотворении «Ломовая латынь» Липкин перешагнет еще одно «до», уйдет в другую историю: дрожание медных латинских глаголов, расслышанное в Приднестровье, в разговорах молдаван, напомнит, что творцами этого языка были римские каторжники, «блатари» вечного города, и воображение резко бросит поэта в тогдашнее его сегодня (тогдашнее, присталинское еще — стихи из 1952 года): «Точно так же блатная музы́ка, со словесной порвав чистотой, сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой. За последнюю ложку баланды, за окурок от чьих-то щедрот представителям каторжной банды политический что-то поет». Как у Варлама Шаламова старый частушечник-зек предстанет Гомером, так здесь воскреснет тень римского спецпоселенца Овидия и прозвучит вопрос, равно содержащий муку незнания и надежду, подсказанную историей, сохранившей нам Овидия и Гомера:

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?

Правда, немедля последует: «Будут изданы речи и песни на когда-то блатном языке», но тоскливый вопрос сильней утверждающего ответа; нравственно, я разумею, сильней, так как в его самомучительной незакрытости есть спасительное для души поэта чувство безвинной вины — перед людьми, перед миром.

«Что мы знаем, поющие?..» Даже такие, как Гете? Бухенвальд, это чудовищное и уж никак непредвиденное «после»,— личная драма автора «Германа и Доротеи». Драма, парадоксально (да нет, совершенно естественно) принявшая в стихах Липкина обличье — как бы — близорукой вины: «Не замечая в тускнеющем свете...» Рассуждать на известную тему: что, если бы да кабы,— занятие из рискованных, но можем ли мы хоть на миг усомниться, что ни в чем неповинный, ни сном, ни духом, великий немец, случись ему провидеть в будущем Гитлера, обвинил бы и самого себя? Может, себя — первым делом?

«Мы» подчеркнуто ради необходимой коррекции — стихи-то писаны соотечественником Достоевского, Некрасова и того, кто, выжив, на страшной войне ощутил подобие вины перед павшими: «Речь не о том, но все же, все же, все же...»

Главное сейчас — покаяние, сказал недавно академик Лихачев («сейчас» — вот он, прекрасный и правый наш экспансионизм, объявляющий вечные категории морали и искусства злобой своего дня). И сожалеть ли, считать ли странностью, что каются-то как раз лучшие, невиновнейшие?

«Несуразная судьба — эмиграция в себя, словно начисто тебя съела фронда. Вроде ты живой и весь и душой и телом здесь, а сдается, что исчез с горизонта». Кто это — и о ком? Владимир Корнилов — о себе. Ему бы, по житейской-то логике, спрашивать с кого-то (даже известно, с кого), за что́ пустили было под откос литературную его судьбу, а он молчаливо винится перед встреченным в прачечной неизвестным беднягой; дескать, и надо бы попытаться облегчить его душу мужским сочувствием, но... «Но теперь скребет внутри скорбь изгойства».

Скорбь — опять же, по всем резонам, беспричинная — скребет и Олега Чухонцева, и если в стихах, написанных им лет пятнадцать назад, а напечатанных «Юностью» только что, встретим жалобу: «Как непосильно...», она тоже не будет сетованием на давленье извне, на цензуру или на скаредность издателей.

«Как непосильно быть самим собой. И он, и я — мы, в сущности, в подполье, но ведь нельзя же лепестками внутрь цвести — или плоды носить в бутоне!»... Поразительно: древняя мука всех стихотворцев, вроде тютчевского: «Как сердцу высказать себя?», личное, лирическое признание поделены поровну между «мною» и «им»,— потому поразительно, что «он» готовый персонаж анекдота, чистильщик сапог из южного города, получивший, как перст или насмешку судьбы, редкое сходство со Сталиным и

маниакально его поддерживающий. Настолько, что, полагает поэт, свершилось уже и психическое перевоплощение, превращение, сращение: «разбить оппортунистов из костей и головы бараньей сделать хаши сактировать любимчика купить цицматы и лаваш устроить чистку напротив бани выселить татар из Крыма надоели Дон и Волгу соединить каналом настоять к женитьбе сына чачу на тархуне...» — собственные мысли того, кто выгрался в роль «кремлевского горца», не то что перемежаются Его государственными думами, но почти неотличимы от них, обнаруживая в обывателе амбиции «отца народов», в «отце» — практицизм обывателя.

Странная тяга к перевоплощению (здесь — сдвоенному: чистильщик клиширует Сталина, поэт залезает в шкуру и черепную коробку чистильщика) у Чухонцева, кажется, неотвязна; тем и странна. Был у него тетраптих на манер некрасовского «Что думает старуха, когда ей не спится»: четыре ночных внутренних монолога, четыре «потока сознания» четырех по-разному несчастных людей, бессмысленно соединенных в семью и с головой поглощенных бессмысленным бытом. Была поэма «Однофамилец», где автор, как в подпол или, его словами, «в подполье», погружался в ущербное интеллигентское самосознание героя со всеми его банальными, но оттого не менее мучительными комплексами. И возникало ощущение, нет, ясное понимание непосильности существования, обделенного высшим смыслом, «обезбоженного», даже если семья безвестного алкаша или охваченный жаром мания грандиоза чистильщик отнюдь не дорастали, не умели дорасти до этого трагического озарения.

Юрий Олеша как-то заметил, что Константин Левин в «Анне Карениной» весьма странный герой с весьма необъяснимыми поступками; это оттого, предположил он, что Толстой, вручив Левину собственные терзания, свою уникальную чувствительность гения, не подарил выхода, каким обладал сам. Не сделал его писателем.

Персонажи Чухонцева — «не писатели». И завладевая их сознанием — а может, отчасти подчиняясь ему,— поэт своей лирической властью делает перевод с косноязычности на язык поэзии, на язык высокого, божественного смысла. Эти люди — «в подполье», в подполье несамоосознанности, душевной тьмы или хоть неразберихи; поэт как бы выводит их души на свет, на волю, деконспирирует, внезапно и закономерно ощущая зависимость от них и ответственность за них, будь то хотя бы бедный дурак, ошалевший от сходства с гением всех времен...

Как непосильно жить. Мы
двойники
убийц и жертв. Но мы живем.
Кого же
в тени платана тень маньяка ждет
и шевелит знакомыми усами?
Не все ль равно, молчи. И ты был
с ним?..

Серьезность намерений того духовного периода, в который все мы, не исключая сопротивлявшихся, вступили, не то чтобы повышает счет, предъявляемый поэтам (а ими — жизни и, что важнее, себе). Счет никогда и не был иным, он наконец предъявлен, только всего, и имитациям драматизма духа сегодня трудней сохранять видимость значительности.

Не говорю или говорю мельком о случаях преимущественно веселых — вроде стихов Сергея Смирнова, драматизирующих тот, право, не совсем трагедийный факт, что автор некогда по рассеянности позабыл попозировать художнику Лактионову: «И — раскаянье в день его смерти. И раздумья, все годы подряд... Вижу, как у холста при мольберте укоризненно краски горят...» Но и в стихах иного сорта, не чета этому, ка́к часто бушуют бури в стакане воды (если даже при этом демонстрируется отличнейшее умение имитировать все приметы девятибалльного шторма), разумеется, не возбраняемые, но принципиально отличные от уровня истинного трагизма, невыдуманности истинных трагедий, будь то, страшно выговорить, Чернобыль или чья-то действительно перекореженная судьба (страшно выговорить, а сопоставить — не кощунственно).

Оказаться и удержаться на этом уровне — какая мучительная задача, тем мучительней, что уровень этот порою оплачен своей ненафантазированной судьбой — как у Жигулина, Корнилова, или, к примеру, Бориса Чичибабина, получившего тяжкое право сказать: «Я груз небытия вкусил своим горбом...» А из какого небытия возникли стихи Шаламова! И трудность встречи со свободой, даже страх перед ней (Леонид Завальнюк: «Надоело бояться. Грустно — навыков смелости нет») — это, в наилучшем, конечно, случае, страх не освободиться от привычного страха, от душевной и, в общем, удобной, как все обжитое, косности. То есть в конечном итоге страх не подняться на высоту долга, который обязан быть исполнен поэтом.

Обязан — в любую эпоху. В ту, которая располагает к тому, подталкивает и требует исполнения, это, возможно, как раз труднее — хотя бы и оттого, что тут не найдешь отговорок, убедительно внушающих тебе самому, будто плохое время стало поперек твоему таланту, взыскующему правды. Будто лишь оно и повинно.

Честность признания в страхе можно только приветствовать, как всякую честность,— лишь бы страшащийся индивидуум не удоволился этим, решив, что, признавшись, покаявшись, он и обрел внутреннюю свободу. Что ни говори, страх — состояние не творческое, антитворческое («А в комнате опального поэта дежурят страх и Муза в свой че-

ред» — Ахматова, как всегда, прозорлива), и как еще он, старый и новый, скажется иа состоянии поэтического процесса, увидим. Именно — увидим (футурум), потому что почти все из лучших стихов года — прежние, извлеченные из ящиков стола, иногда даже потайных.

Впрочем, то, что такие стихи были, писались,— и есть самое обкадеживающее.

«Ну а как я понимаю перестройку? Как фальшивый инструмент — перенастройку»,— честно признается Римма Казакова и честность признания старается подкрепить и усилить всеобщностью обличения: «Так звучал оркестр, что просто — дрожь по жилам! Но был весь он победительно фальшивым». Бог упаси посягиуть на драгоценное право поэта — превзойти в самоосуждении лютейшего своего критика, но последнему преувеличению можио облегченно возразить: «Не весь!» Будь иначе, нашей поэзии просто не на что было бы надеяться,— разве что до поры, когда явились бы в мир те, кто «с чистою кровью рожден».

Точно так же, как обостренное чувство истории, всех «до» и «после» или непреходящая духовная экстремальность есть, как было сказано, всего только норма поэтического существования, так понятие, которое сегодня уже приходится оберегать от судьбы всех слов и понятий, поминаемых всуе, а именно «перестройка» или, если угодно, даже «перенастройка» — это то, без чего поэт, оставаясь поэтом, и не обходится никогда. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой» — да эти пастериаковские слова, которым приходилось быть обвиненными в герметизме и аполитичности, нынче преотлично сгодятся на роль эпиграфа к статье политика или экономиста о том, как необходимо и как трудно устранить наш собственный, внутренний «механизм торможения». Поэт созидает себя, свою личность — вечно и безостановочно — как раз затем, чтобы не превратиться в фальшивую дудку, которую уже не перенастроить: исфальшивилась. Не лгать и не поддаваться страху — это его техника безопасности, его общественная забота, его элементарная обязанность.

Забота и обязанность, какими не пристало хвалиться, как не хвалятся добросовестно-аккуратным, не больше того, исполнением ежедневной работы, которая в области духа в том отчасти и состоит, чтобы, согласно зацитированным словам, выдавливать из себя по капле раба. Применить к себе это выражение можно, пожалуй, не боясь чересчур возвысить себя аналогией с Чеховым,— но кто посмеет сказать вслед за ним: «проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая»? Ведь и сам Чехов в письме к Суворину не решился сказать это о себе прямо, сославшись на некоего «молодого человека»: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек...» — и т. д.

Тут, как поется, «иаш путь и далек и долог»,— да и должен быть долог, что поделаешь, не имея возможности взять и начаться вдруг, сию минуту, в понедельник с утра. Обретению того, что Пушкин, а за ним и Блок назвали «тайной свободой», коиечно, весьма способствует набирающая силу гласность, но прямой зависимости тут еще нет, и тот, кто в безвременье и застое не только не участвовал в фальшивой игре, но раздражал оркестрантов собою, уличал их фальшь — всего лишь тем, что упрямо брал свою верную ноту, не умея иначе, тот выслужил не медаль за храбрость, а стаж свободы. Опыт ее. То, что всегда, в любую эпоху, иеблагоприятную и благоприятную для творчества, добывается только собственными усилиями.

Больше того.

«Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но да минует нас опустошающее человека богатство. «Не отрывайтесь от масс»,— говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. «Не жертвуйте лицом ради положения»,— скажу я совершенно в том же, как она, смысле. При огромиом тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим ее людям».

Это из выступления Пастернака на первом съезде писателей... Господи! Как угадчива и как беспомощна чистота!

Сегодня, кажется, кое-что можно посвоему повторить за поэтом, не очень даже боясь прослыть утопистом. А именио: в годы, когда обещает обернуться возможным то, о чем вчера едва мечталось, слишком велика опасность поверить, будто стать свободным легко, и тем самым оказаться иждивенцем перестройки. Поменьше одного только упования на разрешенность, идущую сверху, побольше понимания, что тяжесть душевной работы не переналить ни на чьи плечи,— все это ради того, чтобы быть действительным участником освобождения духа, одним из голосов гласности. «Во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине...»



Валентин Курбатов

РИФМА, СОВПАВШАЯ С СУДЬБОЙ

Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о талаите является неглавным; но мысль, одушевляющая поэта, получает интерес самобытный, философический...

И. В. Киреевский

Не хотелось бы начинать с мемуарной ноты, но теперь для человека, встретившего 60-е годы юношей, это становится иеизбежным, почти обязательиым. Время, рифмуясь, провоцирует на сопоставления. Эта совпавшая с судьбой рифма поучительнее теоретических параллелей и убедительнее хотя бы для собственного сердца.

Вглядываясь с этой подставляемой временем точки в современное состояние поэзии не на гордом уровне всеобъемлющих выводов (кому сейчас хватит на это отваги при стихотворном потопе — «канализацию прорвало: стихи, стихи — ну мочи нет!», как иронизирует редактор в одном стихотворении О. Чухонцева), а на уровне неизбежно субъективном, почти частно-читательском, поневоле оглянешься на начало 60-х годов, когда поэзия значила так много, и, оглянувшись, остановишься. Похоже-то время, похоже, но как все переменилось!

Тогда поэзия была первой свидетельницей обновления и первым объединительным языком, наиболее эквивалентным времени очищения и надежды. Политехнический опять был полои и, вглядываясь сейчас в его аудиторию, иекогда снятую для фильма «Мие двадцать лет» и воспроизведенную потом в телевизионной картине «Современники», легко увидеть, что состояла эта аудитория не из одних молодых людей. Причин такого общего согласия было много, и со временем они все проясиятся, но самое существенное мне видится в том, что это была поэзия не счета к мииувшему, ие подчеркивания белизны своих одежд перед заблуждениями отцов, а прежде всего — поэзия веры и устремления, молодой увереииости в поступательности свободного развития. И то ли я плохо смотрел, то ли зрение не было сформировано, но мне помнится, что никто не смеялся даже над утверждением, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» — общее возбуждение плохо согласовывалось с экономической прозорливостью, за что мы скоро расплатились разочарованием, а политики — репутацией волюнтаристов.

Поэзия радовалась и училась свободе, в ней тянули просторные сквозняки, и, кажется, оиа усваивалась не по книгам, а была в самом составе нашей крови. Вероятно, она входила в наш духовный состав с такой естественностью потому, что вся была направлена вовне, вся навстречу, вся была — прямой оклик единомышленников. Не случайно ее звали (скоро назвали) эстрадной, хотя она была только первично-устной и нетерпеливой в искании немедленного ответа. Я осмеливаюсь не доказывать ии один из этих тезисов, потому что это не история, а жизнь сердца и, кажется, она проходила у всех на виду и была общим достояиием.

И если происходящее сейчас кажется рифмой к тому времени, то такой далекой, что сами молодые поэты, кого хотелось бы видеть продолжателями тех идей и принципов, не только уклоняются от уподобления, но настойчиво и раздраженно сопротивляются ему. В. Коркия, например, говоря о поколении «шестидесятников», подчеркивает: «Мы не похожи принципиально, по самой сути, по проблематике (это неизбежно и естественно.— **В. К.**), по ценностям (а это тревожио, потому что ценности в действительном смысле этого слова не меняются со скоростью сменяющихся поколений), по мироощущению, видеоряду, языку (видите — ни в чем не родня!). Слова, которые «шестидесятники» ставят в прямом словарном значении, мы почти всегда употребляем в переносном».

А ведь эти слова, как легко установить по сборникам поэтов моего поколения, всегда в общем державшихся за руки, «чтоб не пропасть поодиночке», были те самые слова, которые сначала пьянили нас, потом побуждали к делу и, наконец, дали выстоять, уберечь и в без-

молвные годы те ценности, которые стали питательной средой для нового «принципиально не согласного» поколения, то есть слова: правда, любовь, милость к падшим, свобода и совесть. Слова могут менять значения, вырождаться и соскальзывать в кунсткамеры переносных смыслов, но корни их должны стоять невредимо. Можно следом за М. Поздняевым повторить горькую правду: «Вот этот прах именовался «Дом», Вот этот хлам когда-то звался садом, Вот этот черный ход служил фасадом, И Римом был теперешний Содом», но оставаться в реальности «праха и хлама», «черного хода» и «Содома», мстительно пестовать эту картину распада вряд ли возможно — душа неизбежно запросит возврата «дома и сада», все тех же «прямых смыслов».

А. Лаврин, признавая принципиальную разницу сегодняшних поэтов и их предшественников, оказался милосерднее к ним: «Мы не отрицаем их. Мы вбираем их, как часть», но, похоже, это было сделано только для смягчения впечатления, тогда как в глубине взгляд его оказался еще решительнее: «Наконец, пора честно и открыто поставить вопрос о том, что и традиционная этика в каких-то аспектах изменилась, и моральные ценности конца XX века значительно отличаются от моральных ценностей конца XIX в.». Ну, про XIX век это он для красного слова — не с Некрасовым же он собрался полемизировать и не с Надсоном и даже не с Блоком и Белым, а все с теми же живыми и работающими оппонентами, исповедующими эту «традиционную этику». Читать это тревожно, потому что вытеснение «устаревающих» моральных принципов совершается без замены их новыми устойчивыми ценностями. Пугать же нас и льстить себе, что «XX век обнажил проблемы, которые им (Толстому и Достоевскому.— В. К.) и не снились» и которые, значит, приходится решать молодым первопроходцам новой этики,— это только обнаруживать, что Толстой и Достоевский еще не читаны и чтение их неудобно, потому что тотчас придется подвергнуть сомнению свои завоевания и поступиться гордостью для простого сознания, что мы не только качественно подвинули дело, но в эгоизме и ослеплении растратили уже обдуманное великими предшественниками.

Мне показалось, что гораздо прямее и яснее, не декларируя своей поэтики поиском новых моральных ценностей, выговорила общий молодой взгляд на поэтическую работу Н. Искренко: «Содержанием поэтического текста является не содержание участвующих в нем реальных ситуаций, и тем более не их однозначная оценка, а только способность воспринимать какую-либо **вещь** (выделено Искренко.— В. К.) сразу во всех... возможных ее состояниях или ракурсах, как можно более несовместимых, противоречащих друг другу». Вот это действительно подтверждает принципиальную разницу в мироощущении и ценностях — никому из «шестидесятников» в голову бы не пришло тогда расходовать силы на такую замкнутую гедонистическую задачу. Тут и разница взглядов при внешнем подобии времени — как те были **вовне**, так эти **внутри**, как те навстречу, так эти — отгородясь и заслонившись...

* * *

Только когда бы все так просто и разрешалось, то можно было бы пробурчать старинную сентенцию, которая никогда не подводила,— «время научит», с тем и разойтись. Но в том-то и дело, что как «те», так и «эти» не укладываются в удобные схемы и в глубине поэзия живет более умной природной взаимопроникающей жизнью, растет себе и по-прежнему свидетельствует обо всех оттенках нашего времени и сопрягает «мысли ночные и мысли дневные» (Г. Ступин), между которыми и мы мыкаемся, склоняясь по очереди то к одним, то к другим и соответственно впадая то в разочарование, то в самих потом изумляющий оптимизм.

В самом деле поглядим-ка: как обобщение, как статья пошире, так сетование, так невольный вздох, что мощной соединительной поэзии нет, что опять первенствует посредственность (хотя тут хорошо бы помнить справедливое наблюдение О. Мандельштама: «Большинство стихов плохи, как были плохи всегда большинство стихов. Плохие стихи имеют свою преемственность — ...они совершенствуются, поспешая за хорошими... Теперь пишут плохо по-новому — вот и вся разница!»), а как рецензия на отдельный сборник или монографическая статья о поэте, даже еще не монографического возраста, так, оказывается,— и судьба, и сила, и дальновидность, и традиция. Как это рассудить? Приписать ли двуличию критика или недисциплинированности мышления? А наверное, ни то, ни это и причина вот в этих самых «мыслях дневных и мыслях ночных», которые так существенно разнятся и у одного человека да и у общества при взгляде на целые периоды истории. Обобщение невольно влечет мысль к вечности, к мерам, чьи пределы далее дня и одной жизни, хотя эти меры сколь суровы, столь часто и неверны, потому что в реальности вечность оказывается домашнее и сердечнее нашего о ней разумения. Но мы, и догадываясь об этом, все-таки определяем под это понятие смыслы столь требовательные, что поэзия в испуге отшатывается — живое страшится холода отвлеченности. Ну, а когда речь идет об одной судьбе, то тут и меры по себе, по дню и быту, и на этом уровне открываются глубина и единственность каждого человека и его правомочная значимость в общем порядке жизни.

Очевидно, надо постараться держать в поле зрения обе стороны и, не забывая общего, помнить о повседневном, живым сердцем единичного опыта прозревать те токи и темы поэзии, которые при индивидуальности художественной мысли каждого поэта побуждены одной общественной заботой — увидеть, в чем мы при разности **одновременны**, тем более что время властнее наших, даже и «принципиальных» различий и оно и мимо нашей воли умеет воссоединять в нашей душе «и старины любимой страшный опыт, и роковое чувство новизны», как писала Н. Кондакова. И первое «роковое чувство новизны» будет, как кажется, состоять в том, что «страшный опыт» любимой старины осознается как никогда утраченным, рассеянным, непоправимо поврежденным.

Это тревожное сознание корневого обрыва, так резко выговорившееся М. Поздняевым («Вот этот прах именовался «Дом»), не сегодня открылось. Оно росло, надвигалось в рубцовских стихах, проступало из предчувствия в реальность, но мы притворились, что не расслышали голоса беды за музыкой светлой печали. Вообще мы предпочитали элегические ноты («Ах, город село таранит, ах, что-то пойдет на слом...») и, кажется, готовы были отнести эту проблему к сугубо деревенским. А оно вон как развернулось («Вот этот прах...»), и так понятна неприятная, ие дающая уклониться высота вопроса в стихотворении С. Золотцева:

Прервалась не сказок, а высшей
                    реальности нить,
Которой скрепляют и парус, и знамя.
Так что же, ровесники, делать,
Куда же нам плыть
И кем же нам слыть в поколеньях,
                    идущих за нами?...

И так тяжела сбивчивая интонация Г. Русакова, когда он оборачивается туда же, в ту же сторону: «Родства, родства! Мы роемся в золе, мы кровь зовем...» и делает вывод, справедливость которого мы день ото дня полнее понимаем на своем опыте — «любовь к отечеству — нелегкая работа».

* * *

Она тем более нелегка сейчас, когда даже как будто устоявшаяся поэзия вдруг обнаруживает себя перед старыми вопросами, которые открываются словно впервые, и зеркало оказывается тяжело, как неприятный свидетель:

Что, поэт, отвернулся угрюмо? —
Видно, время пришло самому
все, что думано,
вновь передумать
и постичь наконец
что к чему.

(А. Гребнев)

Это новое преображенное понимание минувшего может вырваться признанием А. Тарковского: «Я тот, кто жил во времена мои, но не был мной» или, как у А. Жигулина, тягостным для сердца диалогом с анонимным редактором или профессиональным критиком, побуждающим вспоминать и исповедовать то, что поэт устал вспоминать и чего не хочет исповедовать:

Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!
И тень
И свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым
                    «осмысли»
Упрямо понимают «оправдай».

Ведь это был и пафос оппонентов А. Твардовского, судивших в пору написания поэмы «По праву памяти» — «оправдай!», но художник — невольник совести, и его больше тревожит не сопротивление лукавому призыву «осмыслить» и не суд над минувшим; его томит то высокое русское чувство, которое иногда самых невиноватых побуждает казниться чужими винами и взваливать их на себя:

Я не могу оправдывать утраты,
И есть одна,
Особенная боль:
Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли
Бой.

А в чем, в чем они виноваты, когда и муза-то их онемела, и словарь сократился до той последней крайности, которая в сущности есть не доблесть, а следствие сознательно суженных и «опростившихся» чувств — чтобы легче было перемочь то, что с тонкой душой не вытянешь. Как об этом страшно написала недавно М. Аввакумова:

Вы прошли такие испытанья...
Немоты удел был так велик...
Что теперь,
когда просвет возник,
речи говорить уж нет желанья,
да к тому ж окостенел язык.
Нет слов — какими говорить.
Нет воздуха — в каком парить.

Может быть, это самая болезненная ветвь нашей сегодняшней поэзии, и воспринимается она читателем с той личной уязвленностью, с какой воспринимают уже не поэзию, а собственную судьбу, что легко можно было заключить по откликам на поэму А. Твардовского «По праву памяти», да, вероятно, и по домашним и публичным обсуждениям «Реквиема» А. Ахматовой, колымских стихов А. Жигулина и В. Шаламова или вот этих стихов М. Аввакумовой. И хорошо, если поэт нового поколения воспринимает эту переоценку минувшего, как воспринимает, положим, Г. Русаков:

Я не судья чужому поколенью,
Все времена равны между собой.
Но наша тяга к позднему взросленью
Зачтется нам, наверное, судьбой.

«Все времена равны, но наше...» — это естественное противоположение — сердце всегда невольно поворачивает на себя, тем более, как кажется, молодые поэты склонны верить не всем поздним прозрениям (массовость тут равна умолчанию), и С. Гандлевский досадливо заметит: «Самосуд неожиданной зрелости, это зрелище средней руки», а тот же Г. Русаков, вслушиваясь в голоса тех, кто пытается теперь досказать «про то, про что молчалось, хотелось, не моглось, не получалось, а получалось — лишь от сих до сих», неожиданно разозлится: «...Они — поют? Какое, к черту, пенье! Одно упрямство, мука и хрипенье, бесстыдная свобода, голый стих...»

Тут померещится неблагодарность, жестокое нежелание принять исповедь, неумение понять истоки «бесстыдной свободы», эту «муку и хрипенье», но как внимательно подумаешь, то сдержишь обвинения,— может, при всех испытаниях старшему поколению поэтов было полегче: они помнили и помнят что-то из незыблемых заветов, у них есть духовное укрытие, родовая память, побуждающая к этому признанию («мы сами были в чем-то виноваты...»), а в молодом, как мы уже видели, эта память необратимо повреждена, и человек в поэте устает, ищет единства мира, желанной опорной цельности («родства, родства!»), а вместо единства — «мука и хрипенье», общая замкнутость, эгоистическая уединенность, так горько схваченная Г. Умывакиной:

Усталых сограждан угрюмые лица:
натянуты нервы в толкучке трамвая...
Ну, как мне с попутчиком разговориться,
когда я и матери не понимаю?..

И далее как припев:

Ну, как же друг друга услышать народам,
когда мы и с дочкой друг друга не слышим?..
Но как мне до боли любить мою землю,
когда мы с тобой о любви позабыли?!

Действительно, как любить, как услышать? Распространенность разрыва приводит к тому, что прямо следом за стихотворением Г. Умывакиной недостающей строфой встает печалование М. Поздняева:

Всего странней — что сыну моему
другой язык навязан, вложен, даден —
«Хитачи», «дискотека», «каратэ» —
и я его тем паче не пойму.

Слова мои!.. Иных уж нет, а те —
их тоже нет. Отточия, отрепья...

И это отточие с такой естественностью, словно все обдумано одним сердцем через вдох, подхватит Олеся Николаева:

Будто бы лопнули струны: обрывки, концы
рваных времен, о которых — и Фауст, и Гамлет...
Где наши братья? Где сестры? Где наши отцы?
Дождь их кропит или с веток тревожащих каплет?

Смялись страницы о том, как сияла душа,
вместо закладок — засохшие листья да осы,
да на полях — недовольного карандаша
минусы, галочки, жирные точки, вопросы...

Как мало похожа эта молодость на молодость (эти пометки на жизни «недовольного карандаша») и как мало они за нее держатся («Блаженство — знать, что мне не двадцать лет и не семнадцать — (меньше лишь страшнее)» Г. Русаков). И опять разве это отблеск 60-х годов? Тогда «мне двадцать лет» было платформой, знаменем единства, залогом начала, обещающего даль и величие зрелости. Невозможно было услышать, как сейчас от Г. Русакова,

И мне обрыдла молодость моя.
Я столько лет ходил в приготовишках,
искал себя, который был не я,
и находил в полузатертых книжках.

Видно, не те были книжки, или уже так далеко отошел от своих книг мир, что человек не узнавал себя в них и всякое обладание истиной было минутно и неутоляюще и вытеснялось реальностью настолько необратимо, что в благодарность обычно счастливому времени приготовления и «полузатертых книжек» оставалось только сказать — «обрыдло». И как близко скажется у М. Шелехова:

И понял я — не в молодости соль!
Не черный хмель — отмычка всех запоров...

(как тут странно близки молодость и черный хмель, как роднит их это общее «не»).

Такое впечатление, что молодые поэты сопротивляются какому-то ложному образу, словно они были героями бравурной поэмы и никак не могли дождаться возможности перейти в авторы и скинуть наконец чужие одежды и предпочесть хотя бы наготу неприятия, хотя бы именно сознание наготы, которое есть уже предвестие преодоления. Мне тут кажется очень существенным стихотворение И. Жданова, которое придется привести

пообстоятельнее (замечу в скобках, что наше раздражение поэзией молодых может происходить еще и оттого, что они не хотят мыслить строкой или хоть строфой и их неудобно цитировать; они кроят мир из больших единиц и принуждают для понимания к полному воспроизведению):

...это значит, что время устало воочью,
отказалось от возраста, и без оглядки
изменилось его неподкупное право.
И когда ты в угоду бессчетным затеям
навязаться захочешь какой-нибудь цели,

(тут сквозит такая тоска и опустошение, что даже не до иронии — **В. К.**)

расплетая дорогу, на тропы провидца
(словно подвиг Гераклу навязан Антеем
для того, чтобы только в безумном веселье
от земли оторваться и ввысь устремиться) —

вот тогда ты увидишь, впритык, изумленно
прозревая, что нет ни вблизи, ни в округе
ни тебя, ни того, что тебя возносило.
Ты поймешь, как ужасно зиянье канона,
ты — аспект описанья, изъятый в испуге,
наводящая страх **беспризорная сила**...

и ведь правда — «наводящая страх», а если нет, то что же тогда наше раздраженье и желание упорядочить, перевести в привычно читаемый ряд? Но каково «аспекту-то описанья», которого нет «ни вблизи, ни в округе», меж тем как зрение его настолько остро, что он видит свое бездомовье и свое насильственное сыновство при чужих целях, которыми он загораживает пустоту!.. Каково сердцу, созревшему и для более глубоких и воскрешающих прозрений, как в другом стихотворении И. Жданова:

Но больно видеть, что душа поката,
окружена экранами сплошными,
где что-то происходит подставное
и ничего не видно из-за них.

Что это за экраны и что за подставные начала, легко увидеть в поэме Олега Чухонцева, в его «Однофамильце», в котором за десять лет ничего не постарело, а пожалуй, сделалось даже и актуальнее:

И от соленых огурцов
и дуализма Оригена
вплоть до сионских мудрецов
и до Тейяра де Шардена —
так, слово за слово, опять
пошли талдычить суд да дело,
но сагу эту повторять
нет смысла, да и надоело.

...Бердяев! Розанов! Булгаков!
при этом пусть не короли,
но кумы королю и сами:
тот из князей, тот из ИМЛИ,
а та — с зелеными глазами,
и, в общем, не ахти гостей,
но шуму, дыму, фанаберий —
как в клубе, даром без костей
язык, размоченный в фужере.

Узнаете? Это наше, наше ежевечернее, клубное и домашнее, и уже не одно московское и ленинградское, но «до самых до окраин» простирающееся тоскливое глубокомыслие, иллюзорное всепонимание, сытое (сытое, сытое, нечего кривиться — в бедности такие гастрономические тонкости не заводятся) мудрствование. Внутри-то тут тоже, если вглядеться, все тот же припев («родства, родства!»), но это у лучших, и в давний час начала этих бесед, а теперь, похоже, эта «сага» уже сделалась жанром. И Жданов верно определил что-то «подставное», или, как он сказал в развитие мысли о «сплошных экранах»:

Смерть подражает очертаньям жизни,
и речь в прорезь вбита запятыми,
И непривычно видеть эти тени
от внутреннего солнца в нас самих.

В первый раз — смотрите! — солнце! И оно тут не случайно и замечательно. Оно дает мне повод поворотить наконец в сторону не то что противоположную, но живо соседствующую, вернее даже, неизбежно вырастающую из тьмы безродности и сомнения, из «черного хмеля» и «лопнувших струн», если поэт — поэт и слушает не свое ожесточенное сердце, а движущийся, ищущий правды мир, который весь — от природы до общества — надо еще пережить открытым, не в одного себя упирающимся разумом.

* * *

И. Жданов еще по инерции договаривает юношеский вопрос о своем месте в общем порядке мира:

А что, когда и я всего лишь проблеск
глазного дна, куда своим коленом
так давит свет, что впору грызть
запястья и в пасти волка сердце находить?

Но ответ он уже знает и спрашивает только, чтобы слаще пережить полноту и осознанность, бодрую старинность побуждающего в путь выбора:

Но вот зерно светлеет на ладони,
оно — ковчег с многооконным креном:
для каждой твари есть звезда и место.
Свежеет ветер, надо жизнь будить.

Как это часто бывает, тут причина и следствие двоятся и меняются места-

ми — сознание необходимости «будить жизнь» является поэту, когда он сам делается духовно полон для понимания ее зова и сам впервые при свете «внутреннего солнца» видит устройство жизни и торопится привести душу в согласие с этим устройством. С этим сознанием он, собственно, входит в порядок природы, где «для каждой твари есть звезда и место», и с этого часа уже ничего не сделает без ее ободряющего присутствия.

А. Ахматова, говоря о лирике Б. Пастернака, отмечала, что «природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой». В сущности, может быть, не с больших букв, но природа такова для каждого русского поэта если не во всю жизнь, то в период сомнений и перехода, в период становления или выбора. И я думаю, если самая новая поэзия так упорно говорит об исключительности своего времени и этики, о тяжести проблематики («не снившейся Толстому и Достоевскому»), то происходит это как раз от тесной умозрительности бытования, от недостатка могучих уроков природы, которая скоро умеряет наши гиперболические претензии.

Мы дивимся наблюдательности молодых поэтов, их цепкой зоркости, умеющей сопоставить несопоставимое:

Сгорая, спирт похож на пионерку,
которая волнуется, когда
перед костром, сгорая со стыда,
завязывает галстук на примерку.

Сгорая, спирт напоминает речь
глухонемых, когда перед постелью
их разговор становится пастелью
и кончится, когда придется лечь.

(А. Еременко)

Клубни картошки торчат из земли,
словно локти из драки.

...Помнишь на бровке
ты голосовала —
ночи была середина —
в позе застыв человека,
кормящего с пирса дельфина.

(А. Парщиков)

Но если вы потом заглянете в сердце — что там осталось от этих даров, от этой сверкающей наблюдательности, то обнаружите недоуменное молчание: ничего не прибавилось в мире, душа не стала ни тоньше, ни глубже в восприятии так как будто жадно исповедуемой молодыми людьми жизни. Все осталось как было, словно поэт прошел стороной: по касательной, увидеть — увидел, а пережить — не пережил, как в туристической праздности.

И. В. Киреевский, оценивая лирику Е. Баратынского, в первую очередь славил его мысль — «глубоко и заботливо обдуманную». «Заботливо» — слово богатое: оно содержит и художественную тщательность, и нравственную серьезность — в заботе о предмете, в уважении не своей изобретательности, а самого явления или чувства. Я понимаю, когда молодых раздражает тезисность, непоэтическое бытование речи, прозаическая прямота посылки, насильственно переплетенной в рифмы, но это значит только, что они сознательно сужают картину поэзии, избирая себе безопасных соперников, которые могут заполнять издательства, но никогда не сумеют заслонить высокой русской традиции, которая, как справедливо писала Т. Глушкова, «есть сама **жизнь** поэзии (выделено **Т. Г.**), вечно длящаяся, действительная для каждого поэта предпосылка и общая «формула» творчества». И в этом смысле «талант традиционен. Он «обречен» на традицию, немыслим вне ее».

Вот почему меня так обрадовало это «свежеет ветер. Надо жизнь будить». Тут пахнуло холодом старинного чистого поэтического света. Тут природа уже на пороге всем волнением и тайной. Но, пожалуй, лучшую запись такого порога, мучительно счастливой полноты, когда мир вошел в поэта прежде, чем он обрел глагол для его выражения, когда все озвучено, но источник не дается и поэт еще не знает, что его, может быть, и не надо знать, сделал Михаил Шелехов:

Музыку ищешь! Как проклятый,
встретить не можешь.
Ищешь, в надежде — к чужой
достучаться звезде.
Звук мой, зачем ты вокруг своей
музыки ходишь?
Вот она — музыка! Вот она, вот она...
Где?
Встретил ее, окаянную, господи,
встретил!

Музыка, музыка! Чем я не нравлюсь
тебе?
Жизнь и звезду — забери, все что
хочешь на свете.
Вот она — музыка! Вот она, вот она...
Где?

Запись еще звуково неотчетливая, может, излишне поспешная, сделанная слишком верхними словами от ошеломляющей встречи (которая уже показалась утратой), но по энергии и страстному нетерпению мы сразу узнаем это каждого из нас хоть раз настигавшее чувство всеобщей музыки. Отсюда уже будет недалеко до высшей, редко достижимой цели — «неслыханной простоты», как звал ее Б. Пастернак, и которая уже дается М. Шелехову если не в целых стихах, то в много стоящих строчках вроде вот этой:

Жизнь проста, когда ее не гонишь,
А идешь, идешь себе, как дождь...

«Принципиально» разные по смыслу, этике и словарю, молодые коллеги

М. Шелехова, может быть, еще ни разу не почувствовали прикосновения этой «неслыханной простоты» и предпочитали идти более удобной дорогой сложности, но если поэзия в них не каприз и случайность, они рано или поздно узнают те простые вещи, которые оплачиваются годами труда и формулируются поздно, но непреложно, как, например, это замечательно сделано поэтом Николаем Панченко: «Сложен путь к пониманию. Но мы часто его принимаем за результат. Тем и отличается творчество истинного поэта, что в нем — и путь, и результат... Сложное делается простым, едва оно становится в размер человека». Не в размер отвлеченно устрашающей идеи, а — человека. При этом сложное внутри остается столь же сложным и тайным, и простота словаря странным образом еще подчеркивает эту глубину, и можно долго вслушиваться и узнавать и всегда неизменно чувствовать эхо или привкус несхваченного, угаданно-неназванного, как в стихотворении В. Башунова:

Синим ли дымом прихватит поля,
лунным ли светом...
Все бы глядел,
все бы шел наугад
в таинстве этом.

Дальнее эхо, словно журавль,
перелетает,
Столько в пространстве имен
проросло —
все не хватает!

Чья это сила
влечет меня и
не назовется?
Чья это сила —
то ли родства?
то ли сиротства?
...Не оттого ли во лбу у детей —
взрослая складка?
Поле как поле.
Дитя как дитя.
Где же разгадка?

«Вот она — музыка! Вот она, вот она... Где?» А разгадки, может, и не надо. Разгадка скрывается в самом вопросе. Постижение настоящей глубины — угадка сути странным образом уходит в молчание, в паузу между словами и строфами, и пауза смыслом оказывается равна слову или глубже его. Это всегда знали старые художники и мыслители, много раз повторявшие, что за познание человек отдает внешнее и многое, получая как будто малое, но внутренне неисчерпаемое и в повторяемости неутоляюще новое.

В лучших стихах, как вот в этом стихотворении Г. Ступина, главная, вековечно тревожащая мысль об ускользании времени, о полноте или тщете твоего дела и твоих лет перед повторением природы сгущается до сильной и значительной поэтической правды:

Медленный серый рассвет,
Как затянувшийся вечер...
Сколько стремительных лет
Буду мучительно вечен?

Солнышко зимнего дня
Тихо глядит и печально...
Больше и дольше меня
Все, чем владею случайно.

Снова надвинулась ночь...
В гулкой тиши мирозданья

Спать и не спать мне невмочь
От непосильного знанья.

Сердце все громче стучит
В непримиримой обиде —
Вечность все глуше молчит,
Видя меня и не видя...

Снова забрезжил рассвет,
И проясняются выси...
Нет утешения, нет,
Кроме взыскующей мысли.

Такая «взыскующая мысль», свойственная нашей теперешней лирике не менее, чем в иные времена, в последние годы становится все обостренней и сулит какой-то новый качественный шаг в поэтическом постижении окрепшей, но — признаемся — еще не очень отчетливой духовной конкретности, в слиянии внутреннего, личного с общественно-историческим. Поэты — плохие коллективисты. Это естественно — каждый встречает свой «медленный серый рассвет» один на один с белым листом. Хуже, что плохие коллективисты — читатели. Иногда делается досадно оттого, как настойчиво мы отпеваем свою поэзию, вздыхая, что, к сожалению, нет в ней явления, обнимающего начала и концы, нет поэта эпохи, который, как Пушкин, Некрасов, Блок, соединил бы в себе истоки и устья, величие и обыденность. А может — боязно и поделиться этой мыслью — это происходит потому, что нет самой эпохи — той личностно-определенной, концентрированной мысли, которая отличает устойчивые или изломно-переходные (что по полноте есть почти та же устойчивость) времена и которая складывается не поэтами, а единством народных устремлений?

Нам страстно хочется, чтобы явился Пушкин и объединил все человеческие возрасты, и освободил нас от необходимости перебирать современную духовную жизнь по крупицам, вычитывать движение возрастов и сегодняшней истории в автобиографиях поэтов, в их частных свидетельствах и наблюдениях, не умеющих высмотреть последнюю суть явлений. Но у нас уже не будет другой жизни и значит — другой поэзии, и надо научиться благодарить лучших за то, что они сберегли, может, порой и бессознательно, по инстинкту самосохранения жизни, спасли простую, спокойную мысль о человеке и природе.

Сейчас, когда является возможность с горечью припомнить умолкших или поневоле онемевших поэтов, исчислить застаревшие недуги самодовольства и помянуть жертвы, освободить мысль от сгущающегося в насильственном молчании ожесточения и темноты, понятно желание молодых выговориться полнее и мужественнее, но это возможно будет сделать не «принципиальным» противопоставлением, не взращиванием новой этики, а умением услышать ядро сделанного вчерашней и сегодняшней поэзией. Свою правду все равно каждому придется оплатить самому, и прежними она худо-бедно уже оплачена, и опыта их не миновать.

Есть у Д. Самойлова стихотворение, начинающееся вот такой строфой:

Если бы я мог из ста поэтов
Взять по одному стихотворенью
(Большего от нас не остается) —
Вышел бы пронзительный поэт.

Строфу можно было бы счесть иронической, тем более что стихотворение называется «Exegi...» и отсылает нас к «Памятнику». Но я не вижу тут повода ни к иронии, ни к печали. Этот «пронзительный» коллективный поэт действительно есть, и если сейчас мы говорим не о нем, а о душевном и духовном прорастании современной становящейся поэзии, то только затем, чтобы еще раз напомнить о необходимости более внимательного и терпеливого развития. Сейчас, без сомнения, много появится (и уже появилось) стихотворной беглой публицистики, поспешающей за временем:

О шорох газетный, ты шелест листвы
Собой затмеваешь, шуми, бога ради!
(А. Кушнер)

В таких потоках легко смываются поэтические критерии — душа читателя поступается поэзией для удовлетворения социальных чувств, и чем решительнее претензии поэта к обществу, тем менее читатель слышит собственно художественную сторону,— поэтому мне кажется резонным вспомнить правило, безупречно сформулированное некогда А. Григорьевым в разговоре о Н. Некрасове: «Правда поэзии никогда не должна быть личная или минутная правда. Поэзия не простое отражение жизни... а осмысление, оразумление, обобщение явлений».

«Оразумление явлений — дело неторопливое. Оно сродни «заботливой» мысли Е. Баратынского и по-настоящему возможно только на основе ровной, этически воспитанной (без высокомерия и агрессивных противопоставлений), хранящей достоинство «взыскующей мысли», без которой нет не только «утешения», но и нормального духовного развития ни литературы, ни общества. «Оразумление» жизни совершается только **разумной** душой, питающейся не «минутной правдой», щегольством самовыражения или убогой уверенностью, что правда изобретена вчера и ведома только молодости, а этически-родовой и, значит, природной (корень тут один), памятливой к традиции совестливой мыслью.

г. Псков



В мире журналов и книг

«Дойти до самой сути...»

Евгений Винокуров ушел на Великую Отечественную войну мальчишкой, а вернулся поэтом. Среди поколения, которое принято называть фронтовым, он один из первых обрел свою собственную интонацию, в которой сплавились патетика и ирония, тонкий лиризм и суровый жизненный опыт.

Я знаю жизнь. Ее я изучал,
Сжав крепко зубы. Горькая отрада —
Познать ее! Начало всех начал —
Жестокий опыт. Нет дороже клада...

Винокуров начинал как поэт армейского быта, который проступал сквозь его, казалось бы, простодушные строки во всем своем неприкрытом будничном трагизме:

Он в санбате кричал сестричке:
— Больно! Хватит бинты крутить!..—
Я ему, умирающему, по привычке
Оставил докурить.

Винокуровские стихи о войне, начисто лишенные ложного романтизма, были щемяще выстраданы или, можно сказать, в ы ш а г а н ы: «мне эти темы подсказали ноги, уставшие в походах от дорог»,— признавался сам поэт.

«Однако,— писал о Винокурове Евг. Евтушенко,— поэт недолго носил на ушанке со споротой звездочкой ярлычок «поэт военной темы»... Дым войны не сразу, но постепенно развеивался, и в нем с иной, чем раньше, отчетливостью проступали лица людей, лицо времени, собственное лицо...»

Да, поэт твердой и смолоду устоявшейся манеры, Винокуров при этом неустанно меняется и развивается. Так под привычной корою дерева множатся невидимые до поры годовые кольца. Каждая очередная книга поэта была как спил, который обнаруживал накопленную поэтом новизну. «Самая суть» включает в себя наиболее значительные стихи Винокурова, созданные им за сорок лет поэтической работы,— это избранное из многих книг.

И не случайно заглавие сборника держится на реминисценции из Пастернака:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

Похоже, что, творчески составляя эту итоговую книгу, Винокуров вдумчиво искал и фиксировал именно движущуюся с у т ь собственной поэтической работы (опять же по Пастернаку, «все время схватывая нить судеб, событий»).

Читая книгу Винокурова насквозь — от первых «Стихов о долге» до недавней «Ипостаси»,— легко проследить, как с годами нарастало в этом художественном мире ощущение того, что «в реальности, вернее, в полуфантастической реальности быта — источник трагедии» (цитирую из книги винокуровских эссе). Связь повседневности с историческим мирозданием видна уже и в ранних стихах поэта, где в послевоенном вагоне, среди мешков и костылей, «слепые пели инвалиды неимоверные п с а л м ы». Всего лишь одно слово — и бытовой прозаической зарисовке придан библейский масштаб...

Ориентация на смелое совмещение разных м е р бытия сохранилась в поэтическом сознании Винокурова и по сей день.

Через толчею житейской гущи
я хотел бы до конца пути
чувство то, что мы единосущи
с вечностью,
по миру пронести.

Строфа важная для понимания винокуровской позиции: сопричастность вечному не вырывает поэта из будней. Напротив, обе меры, соседствуя, укрупняются. Таковы стихи 1967 года «Моего поколения люди», построенные на резком к о н т р а с т е (излюбленный прием поэта, недаром позднее одну из книг он так и назовет — «Контрасты»).

Вы в глубоких разведках седели.
Заставляли народы дрожать...
Вы на долгих собраньях сидели
И боялись от страха дышать.

Е в г е н и й   В и н о к у р о в. Самая суть. Стихи. М., Советский писатель, 1987.

Думается, в приведенных строках дана художественно очень убедительная формула драмы целого общественного типа. Сколько мы знаем судеб — одновременно героических и подавленных! Замечу, что в этом винокуровском стихотворении присутствует весьма говорящая «странность»: начав монолог с обращения на «вы», поэт, нарушая внешнюю логику, вдруг переходит на местоимение «мы»: «Моего поколения люди, мы ушли, отработав, в запас...» От первого лица Винокуров и кончает стихи:

Мы поем, и серьезные слезы
По серьезным морщинам текут.

У подлинного поэта случайностей — даже грамматических — не бывает. Так и здесь: внезапная смена адреса не случайна, психологически оправдана и звучит достовернее гладкописи. Начав как бы со стороны, поэт просто не мог не взять ответственность и на себя... Это урок: какие бы гражданские срывы ни приходились на долю твоего поколения, ты подлежишь суду совести наравне со всеми. Не вы, а мы!

...И как характерны эти живые слезы в морщинах — без конкретных деталей винокуровский пафос немыслим...

Пишет ли поэт о падении Российской империи или о домашней стирке, о 30-х годах, когда он был ребенком, о военных буднях или о Данте, воспевающем Беатриче,— никогда и нигде не забудет Винокуров уверенным жестом рисовальщика очертить подробности: институтский медальон бывшей графини, пену от крохотного обмылка, гильзы в мальчишеском деревянном пенале, драную шинель и зеленый фургон военторга или кресло великого флорентийца.

Именно эти «простенькие» детали, выхваченные из повседневности, одухотворяют вечные проблемы, волнующие Винокурова. Происходит это и на уровне лирического повествования, и внутри самого поэтического образа. «Только дух скрепляет мирозданье, словно бы известка кирпичи» — как это по-винокуровски сказано! Самые что ни на есть отвлеченные понятия поэт прогоняет сквозь сниженную метафору — тем самым возвращая боль и свет «истине ходячей». Вот как пишет он, скажем, о музыке:

Она и не видна и невесома,
И мы ее в крови своей несем.
Мелодии всемирная истома,
Как соль в воде, растворена во
всем.

Растворена эта мелодия и в мифе, интерес к которому с годами все более захватывает Винокурова. Художественная самобытность позволяет поэту с отвагой браться за «книжные», молотые-перемолотые и, казалось бы, особенных открытий не сулящие темы. Впрочем, почему живописцы из века в век могут писать, потрясая нас новаторством, море или листопад, и не могут — Федру или Прометея? Могут. Все дело в таланте и в ассоциативном богатстве.

Гете однажды в беседе с Эккерманом заметил: «Я даже советую браться за уже отработанные темы. Сколько раз, например, изображали Ифигению,— и все же все Ифигении различны, потому что каждый видит и изображает вещи по-другому, по-своему».

В одном из последних циклов, «Эллада», Винокуров берется за многократно воспетые в мировом искусстве образы и сюжеты Древней Греции и решает их впрямь «по-другому, по-своему», расставляя неожиданные акценты и ударения. Он пишет своих героев не в классически застывших позах, а в движении, в диалектике, в споре, высвечивая их страстную, современную, парадоксальную сущность. Так, энергичным слогом конца XX столетия написано стихотворение «Диоген»:

Грязен и одеждою
и телом,
Диоген вошел
в огромный зал,
где Платон
средь роз
в наряде белом
на пиру роскошном
возлежал.
Злобный циник,
нищий
и скиталец,
на полу разлегшись,
крикнул он:
— Попираю я,— и поднял
палец,—
гордость,
что живет в тебе,
Платон!..—
И мудрец, высокий лоб
морщиня,
Поднял чашу, влагою плеща:

— Диоген, сквозит твоя гордыня
через дыры твоего плаща...

Бесконечно отдаленный от нас обиход приближен, как в бинокле; сочными, зримыми мазками воссозданы два контрастных характера — в «античном этюде» пробивается чисто винокуровская, с приправой иронии, мысль о многоликости гордыни. Здесь «работает» основной принцип Винокурова, о котором уже говорилось: идею поэта концентрируют обыденные детали. Его гражданский и философский пафос всегда питается изображением вещного мира, а не декларациями. Причем делается это вполне осознанно, ибо еще в давнем стихотворении «Вещи» (увы, в разбираемой книге его нет) Винокуров признавался:

Я глубоко уверен в том, что вещи
красноречивей всяческих речей...

Вот колокол,— он созывал на вече
лудильщиков, кожевников, ткачей.

Вот горн,— им якобинцы возвестили,
что кончилась на свете эра зла!..

Вот кочерга, которой в Освенциме
помешивалась белая зола.

Об этом, кстати, лет двадцать назад писал Винокурову Корней Иванович Чуковский: «Я... почувствовал здесь Вашу главную силу — облекать в конкретные образы свои философские медитации...» И добавлял: «Вы умеете переводить философию в лирику».

Развивая суждение Чуковского, можно сказать, что всем своим творчеством Винокуров демонстрирует и мастерское умение переводить в лирику — мифологию. С истинным, выстраданным, пропущенным сквозь опыт сердца лиризмом написаны стихи об Одиссее — не традиционно, как о героическом и мужественном вонтеле, а как о грустном, утомленном, смертельно тоскующем без состарившейся с горя где-то за морем жены... Современность с ее перепадами высокого и низкого невидимым облаком окружает винокуровскую Элладу, напоминая нам, что мы в прямом родстве с историей, что прошлое не мертво, что всякий быт таинствен и многослоен. Недаром и лексика цикла подчеркнуто буднична («треп», «водить за нос», «косеть от вина» и прочее) — древность и наши дни являются для Винокурова единым и нераздельным материалом художественного постижения действительности.

В книге литературных эссе «Остается в силе» Винокуров писал: «История — это бывшее настоящее. Она существует и сейчас. Человек живет в истории, как рыба в воде. История — это та стихия, из которой лишь вытащишь человека, и он задохнется. История живет в поэте. Это ее форма существования. Поэту дано ощущать историю как реальность». Сказано это автором и о себе тоже. Естественное погружение в историческую стихию — свойство винокуровского дара, которое на протяжении его творческой жизни нарастает и видоизменяется. В первых стихах Винокурова История представала чаще в виде следов, которые поэт в поисках нравственной устойчивости обнаруживал на современной, условно говоря, территории:

О русские весн и грады!
Прошел я немало путей
И высшей не знаю отрады,
Чем доброе слово людей...

Это стихи 1951 года. Нынче — несколько иное. Цикл «Старина» (1983 год) решает более зрелую задачу, сформулированную поэтом в той же книге эссе: «Вернуть нам мир прошлого, и не просто вернуть, а еще и потрясти, очаровать им — задача поэта». В «Старине» Русь скоморошеская, богатырская, вольная — не стилизованная или походя окликнутая, а полнокровная и живая — диктует Винокурову разнообразие ритма и свободу мелодического строя. Тут и гимн народной смеховой культуре, и презрительно шаржированные портреты палача, холопов. Поэт ведет читателя по стародавним и столь родным просторам, дорогам, площадям, рынкам, не устанавливая лобовых перекличек с современностью, но будя историческое сознание читателя вдохновенной живописью.

«Самая суть» — долгая книга о повседневной вечности и о неувядающей истории — заражает читателя непраздной любовью к жизни и к ее дарам.

Татьяна Бек

Кто хозяин Стремянки?

Что присуще всему народу, присуще и малой части его. Описывая жизнь старинной вятской деревни Стремянки более чем за столетие ее существования, молодой прозаик Сергей Алексеев пробует разобраться в закономерностях жизни всего нашего общества, обращается к дню сегодняшнему, временам столыпинской реформы, к периоду коллективизации, послевоенным годам... Когда-то вятские мужики поверили в обещания Столыпина и отправились за счастьем в Сибирь, на богатые вольные земли, предводительствуемые молодым вожаком Алешкой Забелиным. Не однажды проклинали потом мужики Алешку за это переселение, выгоняли из деревни, но всякий раз возвращался он с новыми идеями, новыми утопическими замыслами и опять убеждал земляков в своей правоте. Уже в наши дни, когда у жителей разбогатевшей Стремянки появились собственные машины, видеомагнитофоны с порнофильмами, признается столетний старец Алексей Забелин в том, что обманывал раньше мужиков, и теперь, под конец жизни, намерен им всю правду выложить. Но никому слушать старика не хочется, никто ему уже не верит, да и сам он со своими фантазиями никому ныне не нужен, ибо царствует в Стремянке один бог — стремление к наживе, стремление урвать, ухватить для себя что-то немедленно, сейчас.

Параллельно с повествованием о жиз-

Сергей Алексеев. Рой. Роман. Наш современник, №№ 9—11, 1986.

ни Забелина рассказывается в романе и о жизни стремянского рода Заварзиных. Рушится крепкая когда-то семья Василия Заварзина, прошедшая тяжелейшие испытания, которые выпали на долю русской деревни двадцатого века. Мельчают люди, замыкаются в себе, разуверяются в былых нравственных ценностях, но и новых не обретают. Пустует в Стремянке огромный, специально построенный когда-то для трех сыновей дом Заварзиных, а братья, бывая наездами и встречаясь, будто не видят друг друга.

Наверное, одна из главных мыслей романа Сергея Алексеева в том, что, пока у жителя деревни не появится уверенности в праве на самостоятельное хозяйствование, в стабильности прочного экономического положения, никакие перемены, огромные государственные дотации не изменят положения в сельском хозяйстве страны. Мужик должен стать подлинным хозяином колхозной земли, сам решать все колхозные проблемы, проводить собственную долгосрочную хозяйственную политику. Но как все это внушить современному молодому селянину, живущему ныне в деревне, как говорится, лишь одной ногой, ибо вторая у него, как правило, в городе, где почти каждый оброс городскими родственниками, а городской образ жизни стал ему более близким?

Роман «Рой» — и о первых попытках возвращения беглецов из города на родину, в деревню — попытках, на мой взгляд, малоудачных. Вот вроде бы традиционный хэппи-энд — все три сына Заварзиных на пути возвращения в Стремянку, и автор нигде не оспаривает их решения. Но почему не испытываем мы чувства радости за героев, дочитывая последние страницы произведения? Может быть, этому мешает детективный сюжет, связанный с младшим из сыновей, рыбинспектором Тимофеем Заварзиным, убитым браконьерами вместе с женой чуть ли не в последний день своей работы, перед самым отъездом в Стремянку? Конечно же, нельзя не испытать чувства сострадания к наиболее достойному из сыновей Василия Заварзина: жаль шестерых его осиротевших детей, оставшихся на руках старого деда. Но, с другой стороны, мне показалась неорганичной эта вставная беллетристическая история об удачливом охотнике за браконьерами: заранее предчувствуешь, что кончится она трагически. Катер рыбнадзора с Тимофеем и его женой еще только свернул к берегу, преследуя наглых добытчиков, а мы, читатели, уже догадываемся: здесь-то герой и останется навсегда.

Не в этой героико-романтической новелле заключена трагическая нота повествования: автор как бы уходит от решения судьбы своего героя, потому что судьбу его предсказать не может.

Логическое движение характеров наблюдаем мы в развитии судеб двух других сыновей Василия Заварзина — Сергея и Ионы. Автор «приводит» их обратно в деревню, делает, по сути, первыми возвращенцами, а они еще и упираются, мосты за собой не сжигают; эмоционально вроде бы оба «за» это возвращение. Но «новыми» своими корнями явно «против». Сергей — кандидат наук, ученый, начинавший работу над докторской. В продвижении «наверх» ему помогает клан жены, ее родственники, друзья, закрепившиеся по городам Сибири. В этом клане Сергей — марионетка, не способная совершить самостоятельно свой выбор. В силу полнейшей инерции теряет он и ориентацию в определении истинных научных ценностей, в оценке собственных трудов: то считает себя полнейшей бездарностью, занявшей чужое место, то гордится своими открытиями в науке. Не верится в серьезное решение Сергея возвратиться в деревню. Бросил он жену и ребенка, бросил докторскую, бросил свой институт... Что предстоит ему бросить еще? Он сродни иным героям прозы недавних «сорокалетних» — мечущийся, «Гамлет без шпаги». В его желание вернуться к родным пенатам, заняться — то ли учительством в сельской школе, то ли садоводством, то ли еще чем-то полезным — не верят и окружающие. Сергей — один из немногих, кто искренне жалеет старого Алексея Забелина, осиротевших племянников, родного отца, теряющего веру во все, ради чего жил на свете. Но пассивна его жалость, землякам в пору пожалеть его самого. Даже преданный хозяину пес и тот уходит от Сергея в лес, постепенно дичает, пристает к слепому медведю. На Сергея нельзя положиться. Даже если он и вернется в Стремянку, протянет там год-другой, это будет жизнь дачника, а не деревенского хозяина, работника. Такой тип аутсайдера жизни — постороннего — характерен для семидесятых годов: добрые, но безвольные, совестливые, но пассивные, они плывут по течению, не веря ни во что. Течение могло «донести» Сергея до высокой служебной карьеры. Но попробуй он оказать сопротивление, попробуй плыть не туда, куда советуют другие, сразу же будет отброшен на исходные позиции. И плывут такие типичные представители поколения семидесятых годов в своих лодках без весел, понимая, что это наиболее удобная и безопасная форма существования.

Критик А. Латынина в одной из своих статей размышляет о подобном аутсайдерстве, считая его одной из форм сопротивления злу. Я не могу с этим согласиться: неучастие в жизни, в активной деятельности на руку тем, кто участвует, расширяет границы зла.

Сергей Заварзин понимает, что его пассивность, отстраненность от дел и забот жизни и есть как раз та форма

участия, которой до поры до времени удовлетворены те, из чьих рук он кормится. Сергей уезжает подальше от неприятных городских игрищ, не желая в них участвовать: он не умеет активно сопротивляться дельцам от науки. Но и в деревне царствуют свои «зоны зла», новые пришельцы, тотальные преобразователи природы типа Ревякина, живущие минутной выгодой: сорвал нынче куш на чем угодно — на кедровых лесах, пушнине, пчелином меде — а завтра хоть трава не расти. Значит, и в деревне Сергею Заварзину предстоит выбор: бороться со злом или пассивно проходить мимо, потворствуя ему.

Мало надежд и на прочное возвращение Ионы, старшего сына Василия Заварзина, одного из многочисленной армии руководителей «среднего» звена, как нынче говорят о них. Иона — прагматик, расчетливый практик, пристрастившийся к алкоголю, за что и пострадал в наше трезвеющее время. Он, как и брат, тоже расстался с семьей, был переведен с понижением на заведование какой-то конторой Вторчермета. Поистине, перефразируя пословицу,— из князи, да в грязи! Вот и решает он с горя вернуться домой, считая, что уж лучше быть первым на деревне, чем последним в городе. Но и он, думается, со своим комплексом неудачника ничего, кроме вреда, родной Стремянке не принесет. Иона обозлен на жизнь, на женщин, на родителей, кругом ищет виноватых. Могут ли такие деревенские возвращенцы помочь своей малой родине?

Автор романа еще верит, питает надежды на возрождение неудавшихся жизней своих героев, старается и читателю своему внушить оптимизм по отношению к их судьбам. Но, увы, слишком мала реальная основа для подобного оптимизма. Навсегда уходит из жизни старый тип крестьянина, а что будет с новыми поколениями? Какая судьба ожидает деревенскую усадьбу Заварзиных, зависит, судя по роману, не от обозленных или равнодушных детей крестьянина Василия Заварзина, а теперь уже от его внуков, остающихся жить с дедом Василием: среднее поколение и для деревни тоже можно считать почти потерянным.

Круг за кругом расширяется пространство романа, вбирая в себя мир города и деревни. Для более широкого охвата событий С. Алексеев часто выводит своих героев за границы села, отправляя их то на золотые прииски, то на стройку. Экстенсивное освоение материала — работа не столько вглубь, сколько вширь.

История села Стремянки разрастается чуть ли не до истории земли Сибирской.

«Рой» — это роман-притча со сложными символическими ходами, но все его метафоры «посажены» на добротный реальный, этнографически точный бытовой материал. Жизнь пчел сравнивается с жизнью людей, и надо хорошо знать жизнь пчел, как знает ее проживший много лет на пасеке Сергей Алексеев, чтобы найти такие убедительные сравнения. Чуть ли не с научной достоверностью описывает С. Алексеев, почему распадается пчелиный рой, как гибнут дотоле здоровые пчелиные семьи. А когда наступает пора рассказа о семье Заварзиных, сравнение напрашивается само собой, без авторского нажима. Рушится пчелиный рой, рушится семья Заварзиных, доживает последние дни деревня Стремянка.

Символичен и еще один герой романа — слепой медведь, бывший хозяин бывшей тайги. О нем — первые страницы «Роя», о нем же, доживающем последние дни в былых своих владениях,— и эпилог. Тревожна нота финала романа — ощущение обреченности сибирской природы. Гибнет, убегает, исчезает все живое — пчелы, собаки, медведи, леса, река, горы, озеро становятся враждебны человеку, забывшему об извечном своем предназначении — быть рачительным хозяином на земле. Роман «Рой» Сергея Алексеева — это грустная притча о том, что будет, если человек окончательно перестанет им быть, превратится в бездушного оккупанта. И ведь, увы, почти в каждом из нас живет его частица. Когда в выходные дни мы едем в ближайший лес, рвем все подряд — цветы, грибы, ягоды, походя топчем все живое под ногами, разве приходит в голову нам это сравнение?..

Реалистическими приемами письма, вроде бы лишенными всякой условности, создается притча о современном обществе, проходящем сквозь мрак неверия и сомнения и все же выживающем, находящем силы для восстановления потерянных связей с землей. Не всегда удачно проходит этот переход в романе от повествования к метафоре. Иные главы перегружены излишними подробностями, тяготеют к очерковой форме; в иных заметно, наоборот, искусственное сближение бытовых семейных историй с чуть ли не космическими общечеловеческими коллизиями. Но не подобные сбои определяют течение романа. Настроенность на актуальные общечеловеческие проблемы, изображение подлинной действительности в целом отличает произведение молодого прозаика от потока «бытовой прозы», сосредоточенного главным образом на изображении сугубо индивидуального. Впрочем, такова все более заметная тенденция современной прозы.

Социальная проблематика романа «Рой» близка всем нам. И дело здесь не в отрицании прогресса, а в понимании того, что, отвечая за природу, мы тем самым отвечаем за жизнь будущих поколений. И мы переживаем вместе с

героями романа горечь утраты, понимая, что это наши общие утраты.

Создается впечатление, что автор призывает нас не поверить тому, что он описывает в романе, а если и поверить, то понять дальнейшую невозможность подобной жизни. Роман призывает читателей проникнуться идеей не завоевателя, а строителя, работника. Хочется, чтобы хлеборобы Стремянки вновь почувствовали себя хозяевами на родной земле. Жаль если старинный род Заварзиных, пока не вырастут внуки — надежда будущего — в этом новом переустройстве участвовать не сможет.

Владимир Бондаренко

Пробудить в людях духовное...

Книга Матса Траата «Избранное», безусловно, будет интересна тем читателям, которым уже известно имя эстонского прозаика и поэта. Ну а те, кто прочтет ее впервые, откроют для себя художника самобытного: с первых страниц повествования автор покоряет правдивостью, подлинностью слова и мысли.

В поисках ответов на вопросы, поставленные современностью, Траат обращается к прошлому, далекому и близкому, пишет о крестьянском труде, об отношении человека к земле, которая кормит его.

Действие романа «Были деревья, вещне братья» происходит в Лифляндии в середине прошлого века. Минуло более двадцати лет после отмены здесь крепостного права, но крестьянин по-прежнему не чувствует себя хозяином земли. Жестокость мызного надсмотрщика кубьяса, произвол судебного исполнителя, который мог засечь, наложить непосильный штраф, а то и хутор отобрать, жизнь впроголодь, тяжелая работа без праздников и выходных — удел молодого крестьянина Хинда Раудсеппа, ставшего хозяином хутора Паленая Гора в нескольких верстах от Тарту, но и в этих тяжелых условиях сумевшего сохранить человечность, открытую, добрую душу. Бросить все, уйти в теплые края и начать новую жизнь — мысль эта временами овладевала Хиндом. Но вопреки всему он остается на хуторе, не может бросить землю, на которой жили и умерли его предки,— остается, чтобы перетерпеть все. «Жизнь все гуще замешивается на насилии; насилие как спорынья в закромах бытия»,— с горечью размышляет герой Траата.

Хинд — одинокий воитель. Он сражается с неправедным миром, воюет с ленивым и тупым работником Яаком Элн. И, хотя оба они поставлены в такие условия, где в одинаковой степени бесправны, владелец хутора нравственно оказывается выше батрака с психологией раба, равнодушного ко всему вокруг и желающего лишь одного — непременно стать хозяином. Мы расстаемся с Хиндом Раудсеппом, когда его по злому навету — «клеветал на государя и подбивал народ к бунту» — в кандалах уводят в Тарту. Впереди суд, каторга, Сибирь, но дух его укрепляет мысль: «Все это нужно молча, про себя, перетерпеть, чтобы перегореть, подобно еловым поленьям в отцовской угольнице под землей и дерном, в блестящий древесный уголь...» Он вернется, вселяет надежду писатель, чтобы вновь пахать и сеять, чтобы не порывалась цепь поколений, трудившихся на этой земле.

Примерно сто лет отделяют действие романа от развязки другой жизненной драмы, разворачивавшейся неподалеку от Паленой Горы, но уже в двадцатом веке. Герой романа «Танец вокруг парового котла» (1971) Таавет Анилуйк возвращается из Сибири домой, на «землю обетованную, из которой его безжалостно выдернули, как чертополох, как крапиву... Потому что на земле его отцов хотели основать новую жизнь, и он, со своим белым овчинным полушубком, вздувшимися венами на шее и старой подшивкой газеты «Постимээс» на полке, путался под ногами». Годы тяжкого труда, горечь несправедливости состарили, но не сломили крестьянина. Об этом свидетельствует выразительная деталь: вернувшись домой, Таавет достает из чемодана Почетную грамоту и прибивает ее к стене.

«Настоящая Почетная грамота выдана передовому хлеборобу совхоза «Заря» Давыду Матвеевичу Анилуйку за выдающиеся показатели в социалистическом соревновании на уборке хлебов»,— переводит Таавет, и в голосе его звучит гордость.

Мийли вопрошающе смотрит на него.

— Да, имя переделали,— говорит Таавет.

— Они могли бы и здесь дать тебе Почетную грамоту. Зачем возить в такую даль... Только государству убытки...

— Это да,— соглашается Таавет.— Рабочий человек нигде не пропадет, хоть вези его на Северный полюс».

Анилуйк вернулся на родную землю, чтобы любить ее и работать на ней, веря в будущее. Так завершается роман, действие которого охватывает около полувека: две мировые войны, годы буржуазной республики, трудное послевоенное время. Менялись режимы и правительства, флаги и вывески, названия улиц и газет, но стойким оставался национальный характер в бесчисленном многообразии его проявлений.

В романе «Сон-трава, лекарство от печали» (1982) герой, наш современник с необычным именем Ра, живет на хуторе в семье агронома и пишет книгу о далеком прошлом, об исчезнувшем шесть веков назад племени ливов. Автор переносит нас из современной эстонской деревни в Ливонию тринадцатого века, время, когда распространение христианства на землях Прибалтики сопровождалось жестокостью и насилием. Герой исторического повествования — сын ливского старейшины, мальчиком похищенный немцами и воспитанный в духе христианства, Акке, теперь уже августинский монах, возвращается в родной край как проповедник. Но он чужой среди своих. Этот просвещенный, тонко чувствующий красоту юноша, исполненный сочувствия и любви к людям, обречен на гибель: сородичи, готовясь к очередной кровавой схватке с иноземцами, увозят его в море и оставляют одного в утлой лодчонке, без весел.

Вглядываясь в прошлое, обогащенное опытом настоящего, герой Траата, писатель Ра, воссоздает в своем воображении трагические противоречия далекой эпохи и задается вопросом: в чем же благо? Оставаться свободными, сохранив языческую веру и простоту далекого от цивилизации состояния, или силой оружия быть обращенными в чужую веру, которая несет с собой новую, высокую культуру? Размышляя вместе с писателем над этой альтернативой, мы задумываемся о цене прогресса, о сложности связи добра и зла в истории.

Траат обращается к теме памяти народной, задумывается над вопросом: может ли бесследно кануть в небытие народ, его культура, исторический опыт? Ответ однозначен: нет, не может, необходимо бережно хранить память,— и в этом герой Траата видит гражданский долг писателя, как, впрочем, и сам автор книги. Эстонский прозаик дал нам почувствовать своеобразие эстонского национального характера, приобщиться к традициям и обычаям, бережно хранимым многими поколениями, помог открыть что-то новое в нас самих. Наверное, поэтому можно утверждать, что творчество Траата, глубоко национальное по сути, обретает интернациональный характер.

Один из его героев говорит: «Пробудить в человеке духовное — всегда дело невероятно трудное...» Прочитавший «Избранное» эстонского прозаика несомненно поймет, что это выстраданные слова, ибо смысл творчества Траат видит в том, чтобы пробудить и укрепить в человеке лучшие качества души, помочь ему осознать жизненное предназначение.

Э. Осипова

Матс Траат. Избранное. Перевод с эстонского С. Семененко, Э. Михайловой, Р. Минны. М., Советский писатель, 1986.

Так начинался поэт

«Вы еще полюбите Заболоцкого!» — предрекали нам когда-то старшие товарищи. Мы не возражали, хотя помыслами нашими владели в ту пору другие мастера того же блестящего поколения советской поэзии. Романтическая окрыленность Луговского, юмор Светлова, яростная энергия Багрицкого — вот что влекло тогда. Фигура Заболоцкого оставалась как бы в стороне. Да и то сказать: не фигура, а силуэт, видимый сквозь некую дымку. Если справедливо утверждение, что каждый поэт пишет всю жизнь одну книгу, то Книгу Николая Заболоцкого нам довелось читать с конца. С последних его стихотворений, последних прижизненных публикаций в журналах и сборниках. Потом одно за другим стали появляться «Избранные», но и там до поры до времени были представлены исключительно стихи поздней поры — классически строгие, мудрые и печальные. И лишь изустно, отрывочно — тоже до поры до времени — узнавали мы о том, что существовал и «другой» Заболоцкий, писавший стихи особенные, ни на что другое не похожие, вызывающе странные:

> Меркнут знаки Зодиака
> над просторами полей,
> спит животное Собака,
> дремлет птица Воробей...
> Колотушка тук-тук-тук.
> Спит животное Паук...

Или такое вот восьмистишие:

> Сидит извозчик, как на троне,
> из ваты сделана броня,
> и борода, как на иконе,
> лежит монетами звеня.
> А бедный конь руками машет,
> то вытянется как налим,
> то снова восемь ног сверкают
> в его блестящем животе.

Стихи будоражили и озадачивали: почему конь «руками машет» — где у него руки? Почему ног — восемь? И почему они сверкают не где-нибудь, а в животе? Мы удивлялись, посмеивались,

Николай Заболоцкий. Вешних дней лаборатория. Стихотворения. (1926—1937 годы). М., Молодая гвардия, 1987.

но «странные» стихи властно укоренялись в памяти, несмотря даже на пропажу рифмы во втором четверостишии. И не только стихи, не только слова, но и, как по волшебству, картина, даже не картина, а кинокадр, сюжет которого точно определен автором в заглавии: «Движение». Да, конечно, именно движение, которое иными средствами, пожалуй, и не изобразишь! Необычный поэтический язык настойчиво утверждал свою правоту и необходимость. Вас смущают, к примеру, пресловутые восемь ног? А вы попробуйте и в самом деле сосчитать ноги у мчащейся лошади! Еще и не столько насчитаете! Это вы заранее, априорно знаете, что их четыре, а вы взгляните на мир как бы впервые, насладитесь тем, как он свеж, неожидан, непредсказуем!

Поэму «Торжество земледелия» читали и перечитывали по старой машинописной копии, долго потом перебрасывались строчками:

Тут природа вся валялась
в страшно диком беспорядке:
кой-где дерево шаталось,
там — реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
над безумным ручейком.
Идет медведь продолговатый
как-то поздно вечерком...

Так и тянуло, в угоду «правильному» хорею, прочесть «ш е л медведь продолговатый» — ан нет: стихи сопротивлялись всяческому приглаживанию. Они хотели быть только такими, какие они есть: непричесанными, угловатыми, как бы даже косноязычными, но вместе с тем удивительно свежими, выразительными и живописными. Их живописность в чем-то сродни старому европейскому примитиву, русской иконописи и лубку: там тоже смещены пространства и времена, нарушены пропорции, и где-нибудь в уголке «реки струится прядка», и какой-нибудь зверь продолговатый неторопливо шествует.

Вот этот «другой» Заболоцкий как раз и представлен в книге «Вешних дней лаборатория», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в серии «В молодые годы». Точнее сказать, не «другой», а «первый», изначальный, такой, каким он пришел когда-то в поэзию, удивив и поразив современников точно так же, как продолжает удивлять и поражать сегодня нас. Не скажу и сегодня, что все до конца мне ясно и понятно в молодом Заболоцком. Есть периоды, строфы, строки, вроде бы не поддающиеся никакой расшифровке:

Ликует форвард на пожар,
свинтив железные колена,
но уж из горла бьет фонтан,
он падает, кричит: измена!
А шар вертится между стен,
дымится, пучится, хохочет...
(«Футбол»).

Но тут же — великолепная, беспощадная, сочная живопись. Вот калеки на рынке, у одного вместо ноги — обрубок, «а на обрубке том — костыль, как деревянная бутыль». Вот девица прогуливается с собачкой в саду Народного дома — «а та собачка пречестная, весенним соком налитая, грибными ножками неловко вдоль по дорожке шелестит». Какие неожиданные, парадоксальные и в то же время точные эпитеты и сравнения: «деревянная бутыль», тоненькие, словно у гриба-поганки (пожалуй, даже с соответствующими «воротничками»), ножки комнатной собачонки! Или еще: «жирные автомобили». Тут все: и жирно посверкивающий под фонарями лак, и выпуклость боков, и самое главное — жирное самодовольство хозяев-нэпманов. Речь-то ведь о разъезде после пирушки «в глуши бутылочного рая», в пивной, кощунственно именовавшейся «Красная Бавария».

Нет, молодой Заболоцкий не был творцом парадоксов ради самих парадоксов, необычность его языка — отнюдь не из желания быть необычным во что бы то ни стало. Ни один серьезный поэт не стремится быть сложным, наоборот: он всегда стремится к простоте, чтобы возможно более прямо и адекватно выразить мир и себя. Тот мир, в который пришел молодой Заболоцкий, был сам по себе молод и парадоксален: старое и новое, героика и мещанство, «труда и творчества закон» и дисгармония повседневности — все переплеталось в нем. Этот мир невозможно было выразить традиционными, привычными средствами, хотя такие попытки и были. Вадим Шефнер в своей автобиографической книге «Имя для птицы, или чаепитие на желтой веранде» цитирует уморительные стишки тех же примерно лет: «Я загрезил над станком летним днем, летним днем...» Да что там безвестный сочинитель — опытнейший Брюсов терпел неудачу, когда призывал в 1920 году строителей будущего мира «вселенского нового храма адамантовый цоколь сложить». Многие поэты искали и находили тогда новые средства выразительности, нашел свое и Заболоцкий. И нельзя сказать, что нашел совсем уж на пустом месте. Арсений Тарковский в одной из статей проницательно заметил, что некоторые элементы поэтики молодого Заболоцкого восходят непосредственно к Пушкину, к знаменитому сну Татьяны: «Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке». Мы уже имели случай констатировать связь поэтических открытий Заболоцкого с некоторыми явлениями изобразительного искусства — в этот список можно добавить Иеронима Босха, Брейгеля-старшего, из современников поэта — Филонова и Шагала. Наконец, позволю себе и такую гипотезу: подобно тому, как, скажем, Прокофьев опирался в своей работе на частушку, Заболоцкий не

прошел мимо поэтического «самотека» своего времени, грамотных и полуграмотных стихов, хлынувших в редакции, песен, исполнявшихся на улицах и в поездах. Спорный вопрос, можно ли этот «самотек» считать народным творчеством, однако могу засвидетельствовать со всей определенностью: и сегодня в поэтической почте редакций, в учрежденческих стенгазетах среди массы беспомощных строк попадаются такие перлы парадоксальной выразительности, такие сочетания несочетаемого, такие отважные ритмические переходы, от которых не отказался бы в свое время автор «Столбцов»!

«Вешних дней лаборатория» — очень точно, строкой одного из сравнительно поздних, «переходных» стихотворений поэта названа эта книга. Перед нами действительно лаборатория — мир поэтического поиска, мир эксперимента. Но было бы ошибочно признавать за творчеством молодого Заболоцкого лишь «лабораторное» значение. В «Столбцах» и не изданной когда-то книге «Стихотворения 1926—1932», в поэмах «Торжество земледелия» и «Безумный волк» он талантливо и свежо, точно и причудливо запечатлел свое время с его борениями и тревогами, с его противоречиями и жаждой гармонии. Позднее, как известно, поэт достаточно критично относился к поэтическому экспериментаторству: «И в бессмыслице скомканной речи изощренность известная есть, но возможно ль мечты человечьи в жертву этим забавам принесть?» Не обойдем вниманием и стихотворное свидетельство Давида Самойлова: « — А я не сторонник чудачеств,— сказал он и спичку зажег» («Заболоцкий в Тарусе»). Тем не менее поэт никогда не отказывался от своего раннего творчества, а незадолго до смерти включил свои молодые стихи в тщательно разработанный проект собрания сочинений. И это понятно: хотя Заболоцкий, как никто другой из наших больших поэтов, отчетливо «делится» на «раннего» и «позднего», его творчество — единое целое. Без «Красной Баварии» и «Ивановых», «Свадьбы» и «Торжества земледелия» не было бы «Некрасивой девочки» и «Старой актрисы», «Снежного человека» и «Стирки белья», пронзительного цикла «Последняя любовь» и поэмы «Рубрук в Монголии» — общепризнанных поздних шедевров, стоящих по меньшей мере на грани гениальности.

Издательство «Молодая гвардия» выпустило, как ему и подобает, книгу молодого поэта. Книгу актуальную и поучительную, зовущую не подражать, но учиться, не оригинальничать, но дерзать.

Илья Фоняков

Достоевский: в конце пути

Было в биографии Достоевского такое событие, такой, говоря его словами, «всевыражающий пункт» бытия, в котором, как в фокусе, сосредоточилась для него — писателя и человека — вся сущность жизни. Это его встреча со смертью 22 декабря 1849 года, когда он на Семеновском плацу в ожидании расстрела пережил минуты мертвого, остановившегося времени. «Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!..»

Трудно переоценить громадность последствий первой встречи писателя со смертью. «Он побывал там и вернулся оттуда, вернулся, открыв бесконечную ценность жизни, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы,— пишет Ю. Ф. Карякин.— И не этой ли встречей со смертью и объясняется еще, что все вопросы он ставил отныне в самой предельной остроте, как вопросы жизни и смерти... всего человечества, как вопросы неотложные? И не отсюда ли еще и его провидческий дар? Отныне и до смерти своей всякую личную судьбу он и будет рассматривать в перспективе судьбы общечеловеческой».

Судьба гения достойна внимания в любой момент времени. Но есть глубокий смысл в том, чтобы увидеть и высветить ее финал, запечатлеть духовный образ великого человека в те мгновения, когда его уход оказывается неотвратимым. Итог жизненного и творческого пути писателя, подчеркивает И. Волгин, по-особому значителен: «Здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание».

В свой последний год Достоевский становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба. Написаны и опубликованы «Братья Карамазовы», вся грамотная Россия читает в «Дневнике писателя» Пушкинскую речь, триумфально прозвучавшую на московском празднике в честь великого поэта. Писатель умирает в период вели-

---

Игорь Волгин. Последний год Достоевского. Исторические записки. М., Советский писатель, 1986.

чайшего проявления своей духовной мощи — в то самое время, когда, по его словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной».

Исторический анализ столь ответственного момента в жизни России и в судьбе художника, предпринятый в книге, имеет первостепенный интерес.

Последние пятнадцать лет жизни Достоевского совпали с появлением на русской политической сцене революционеров-подпольщиков, которые, утверждая свое право на «кровь по совести», замышляли не рядовой террористический акт, а цареубийство. Возможная насильственная гибель монарха, явившего, по мысли писателя, пример мирного разрешения социального конфликта, осознавалась им как несомненное зло. Но вот парадокс: как раз подобный политический акт должен был, согласно одной из версий художника, совершить его любимый герой Алеша Карамазов.

Осмысляя такой сложный мировоззренческий и творческий феномен, И. Волгин вовлекает в круг размышлений не только события и обстоятельства 1880—1881 годов, но, по сути дела, коллизии всей жизни писателя и соотносит их с дальнейшим ходом русской истории. В центре внимания автора главный вопрос, из тех «проклятых», «вековечных» вопросов, которые никогда не отпускали Достоевского: о совместимости совести и преступления, о нравственном праве на насилие. В конечном счете речь идет об этической стороне тех идей, которые стояли у истоков русской революции.

Родион Раскольников, «по теории» зарубивший никчемную старуху Алену Ивановну, Петр Верховенский, «по расчету» убравший Шатова, и Алеша Карамазов, которому «по убеждению» предстоит совершить убийство царя, видятся писателю как звенья одной цепи. И в этическом смысле между ними — по Достоевскому — нет принципиальной разницы. Другое дело — кто стал убийцей.

Образ человека, видящего в идее насилия единственное спасительное средство в борьбе за правое дело, претерпел к концу жизни писателя существенную трансформацию и обнажил трагические противоречия в самой концепции «крови по совести».

Как же осознавалась она художником? «Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду»,— такова одна сторона проблемы. Пути к правде — другая ее сторона.

«Только то и крепко, где кровь протечет»,— размышляет Достоевский над неприемлемой для него формулой. И добавляет, резко возражая тем, для кого кровопролитие — лучший «политический клейстер»: «Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он, закон крови на земле».

Между этими двумя записями, наброском из незавершенного предисловия к «Бесам» и заметкой в последней рабочей тетради — почти целое десятилетие. К его исходу символом поколения оказываются уже не политические честолюбцы типа Петруши Верховенского, а как раз те бескорыстные правдоискатели, которые утверждали дорогие им идеи ценой собственной жизни; посягая на чужую кровь, они одновременно проливали и свою. Однако разрешение главного вопроса, «что считать за правду» — путями кровопролитными — уводило далеко от искомой правды, порождало ненависть и насилие. «Закон крови» в России был подобен заколдованному кругу»,— резюмирует исследователь: бомба, предназначенная императору и взорвавшаяся на Екатерининском канале, как бы случайно покалечила оказавшегося рядом мальчика. «Мировая гармония» и «слезинка ребенка» обнаруживали опасную взаимозависимость. Поэтому ситуация накануне цареубийства 1 марта 1881 года осознавалась писателем как политически и нравственно безысходная.

Но именно в обстоятельствах, заведомо неразрешимых, Достоевский вынашивает фантастическую мысль — об идеальной власти, которая послужит орудием нравственного переворота, поведет к полной духовной раскрепощенности и абсолютной свободе. В «Дневнике писателя» обосновывается радикальная этическая программа, и дальнейшее существование русского государства ставится в тесную зависимость от его способности воплотить подобную программу в жизнь. «Это не что иное,— пишет И. Волгин,— как еще одна утопическая, обреченная на неудачу попытка «идейного опекунства» над властью — традиция, восходящая еще к Пушкину и его кругу и завершенная в Достоевском. Это последняя (в русской литературе) попытка такого рода». Но какими бы утопическими ни были выступления автора «Дневника писателя», его деятельность давала пример высокого — в пушкинском понимании — общественного служения, благодаря которому он воспринимался русским обществом как учитель, проповедник, ибо взывал к чести, совести, справедливости своих сограждан. Он учил их в политике различать прежде всего ее нравственный смысл, а в нравственном подходе к событиям видеть высшую, лучшую политику. Трагедия, глубоко им осознанная и пережитая, заключалась в извечном несовпадении оценок политических и моральных, в проклятой «двойной бухгалтерии».

Смерть Достоевского, соединившая вокруг его гроба людей всех убеждений и верований, как бы осуществила то, к чему при жизни призывал писатель: он оказался тем человеком в России, кончина

которого примирила — пусть на одно мгновение — самых непримиримых. Его похороны стали своего рода манифестацией, которую И. Волгин вряд ли удачно называет «исторической фантасмагорией»,— скорее это было воплощением мечты, высказанной в знаменитой Пушкинской речи. Соотечественники писателя перед лицом его смерти, казалось, были готовы «смириться» и принять начала любви и добра — факт, как пишет автор, доселе невиданный.

Свой способ осмысления истории исследователь характеризует как «медленное вглядывание в обстоятельства и события... вслушивание в тон, в интонацию каждого из тех, кому предоставлено слово». Ни один факт здесь не принимается на веру — «ему надлежит получить подтверждение при перекрестном допросе свидетелей и обрести свое место в системе доказательств». Хочется подчеркнуть не случайность данного подхода: вслушивание в голоса тех, кому предоставлено слово, а также вовлечение в разговор как можно большего числа участников отличают повествование самого Достоевского. В этом смысле его произведения оказываются лучшей школой для историка: они учат видеть факты во всей совокупности их причин и следствий, во всем объеме мотивов и аргументов. А главным и самым надежным свидетелем становится время — категория поэтическая и историческая одновременно.

Точные хронологические расчеты, художественный календарь произведений Достоевского, особенно тех, которые насыщены злобой дня, дают возможность воссоздать подробную синхронистическую картину событий.

Как же работает логика времени в книге И. Волгина?

Гипотеза о личном знакомстве Достоевского с соседом по квартире народовольцем А. Баранниковым, арест которого мог послужить причиной предсмертной болезни писателя,— это и есть воссоздание скрытого контекста событий по методу, подсказанному поэтикой Достоевского. Историческая реконструкция автора обладает особой выразительностью: как в жизни писателя, так и в его художественном мире, «случайные неожиданности» и «роковые совпадения» оказываются глубоко закономерными и мотивированными. Мысль о том, что обстоятельства ареста революционера-подпольщика могли быть пережиты автором «Бесов» столь катастрофично, при всей ее гадательности, очень похожа на правду: Достоевский, как никто, платил высокую цену за свои идеи, страсти, поступки.

Устранение пробелов в биографии писателя, эта, казалось бы, частная задача историка и литературоведа имеет, несомненно, общественно значимый смысл, как часть реконструкции нашей исторической памяти. Место Достоевского в русской культуре трудно переоценить, но вокруг его личности и его творчества нагромождено немало легенд, домыслов, ложных стереотипов. Точное, а не приблизительное, сущностное, а не декоративное, сфокусированное, а не смазанное историческое знание способно противостоять неуверенности, неподлинности, эфемерности критериев.

Л. Сараскина

У истоков «русской идеи»

Сочинения Петра Яковлевича Чаадаева давно пребывали в ряду букинистических редкостей. Ведь последнее их издание состоялось в 1913—1914 гг. И вот вновь перед нами тексты Чаадаева. Под одной обложкой хронологически подобранные, разбитые по рубрикам, снабженные предисловием и комментарием (автор Б. Тарасов).

В течение долгого времени П. Я. Чаадаев фигурировал в трудах по истории русской философии, журналистики и критики по преимуществу как автор знаменитого «Философического письма». Опубликованное в 1836 году в журнале Н. Надеждина «Телескоп», оно вызвало один из самых громких литературных скандалов николаевской эпохи. Публика была взбудоражена, официальные лица восприняли «Письмо» как потрясение основ, в итоге журнал закрыли, редактора выслали, автора объявили сумасшедшим.

«Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли рука об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни Западу, ни Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода». Эти строки, характеризующие положение России XIX века в мире, начертаны на одной из первых страниц «крамольного» философского

П. Я. Чаадаев. Статьи и письма. М., Современник, 1987.

письма. Они задают тон размышлению, цель которого — определить состояние русской жизни, объяснить ее историческое происхождение и поставить вопрос о ее будущем. Письмо адресовано некоей любознательной даме, собеседнице автора, и подчинено более общей задаче: растолковать идеал достойного человеческого существования и предпосылки всеобщего благоденствия.

Известно, что Чаадаев в начале декабристского движения был близок к его деятелям, но не пошел до конца вместе с ними, усомнился в тайном обществе как теоретик, а впоследствии критично оценивал социальную подготовленность переворота. Однако собственная мысль Чаадаева вызревает на почве объективной ситуации последекабристского периода. «Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение разбросало нас в пространстве...» — пишет он. При этом местоимения «мы», «нас» относятся, с одной стороны, как будто к России и «народу нашему» в целом, а с другой — к русским интеллигентам, дворянским революционерам, общественным деятелям, берущимся решать народные дела. Чаадаев пытается одолеть философскими средствами конфликт между мечтой и жизнью, идеалом и действительностью. Новизна же чаадаевского ответа на вопросы времени в том, что он повернул свою теоретическую аргументацию в сторону истории, решил понять и объяснить, что же такое Россия, какова ее реальная и возможная судьба в мировом потоке. Как следствие, он очутился у истоков спора о существе «русской идеи», продолжавшегося в течение всего XIX века и перекочевавшего отчасти в век XX.

Русская тема в первом письме звучала по преимуществу негативно, что и породило взрыв нападок на автора. Правда, нападавшие не сумели заметить, что чаадаевская критика — это не голословная хула на общество и народ, а боль неудовлетворенности положением вещей и призыв к созданию глубокой программы исторического развития. Если к тому же принять во внимание, что последующие семь писем в свое время так и не попали в печать, то реакцию современников Чаадаева на его идеи трудно назвать адекватной существу предмета.

Когда Чаадаев называл себя «христианским философом», он, конечно, не лукавил. Выход к религиозным первоистокам казался ему необходимым звеном в поисках духовного фундамента, исторически и психологически более прочного, нежели проекты скоротечных гражданских преобразований. Чаадаев как бы уходит от политики в философию под впечатлением «рокового потрясения». Но злободневные политические обстоятельства проглядывают и в собственно религиозной части писем. Взывая к запредельному идеалу добра и совершенства, к сокровенным надеждам человечества, «христианский философ» озабочен земным осуществлением «Царства Божия»: «В христианском мире все необходимо должно способствовать — и действительно способствует установлению совершенного строя на земле...»

Эта тревога о «земле» — откровенное свидетельство светского характера религиозной философии Чаадаева. В ней как бы спрятан отклик на неудачу декабристов. Казалось, тут не обошлось без отступления в область чистого умозрения. Но именно привязанность к «земле» заставляет Чаадаева вернуться в ходе раздумий к вопросам историческим и социологическим.

В развитии народов и цивилизаций, размышляет философ, путеводную роль играют социальные идеи, которые становятся отправной точкой последующего исторического существования. Вослед Шеллингу Чаадаев сравнивает народы с личностями. И это не лишено смысла в том отношении, что человеческие общности действительно соотносятся друг с другом как некие индивиды.

В 1829—1830 гг. Чаадаев полагал, что Запад, Европа обладают преимуществом последовательного воплощения христианских идеалов и естественным социальным развитием, одухотворенным изначально разумной идеей. Он высоко оценивал способность католичества влиять на сферу практики. Петр Яковлевич уверен, что в Европе интересы всегда следовали за идеями: «люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние». Особо примечательно тут словечко «попутно». Потребность в свободе и благосостоянии признается, но их достижение предполагается производным от «вечных предначертаний божественной мудрости».

Чаадаев в своем признании особой роли идей и мнений в истории народов и прав, и не прав одновременно. Прав в том, что без высокой одухотворенности общественных интересов поиски свободы и благосостояния легко оборачиваются своей противоположностью, превращаются в погоню за миражами. Не прав — с современной точки зрения — в том что не учитывает взаимодействия духовных и материальных процессов.

Высокая оценка европейского мира с его успехами в культуре, просвещении и социальном устроении становится в письмах отправным пунктом для критики мира русского. Первопричину его отставания от европейского прогресса Чаадаев видит в «религиозном обособлении» России. Отсюда незатронутость России «всемирным воспитанием человеческого рода», отсутствие естественного роста в русской истории, прерывистость исторических традиций, неподвижность общественного быта. «Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели».

Мечтая о прямом естественном росте России, Чаадаев пишет картину русской и мировой истории резкими мазками, каждый раз выделяет какую-то одну мысль, один тезис. Неудивительно, что

при этом то и дело сгущаются краски, выдвигаются положения, требующие веских аргументов. Видимо, автор и сам понимал необходимость продолжить свои размышления. Не случайно в конце первого письма появляются оговорки насчет полноты европейского благоустроения, а в последующих сочинениях резкость сравнений и одноцветность красок будут неоднократно смягчены. Но это не изменило смысла главной проблемы, поставленной Чаадаевым, и характера философии, привлеченной для ее разрешения.

Запад — впереди, Россия — позади. Надо догонять Запад, но простое механическое подражание Западу чревато еще большим хаосом и отставанием. Надо осознать и вычислить свой исторический путь, свое историческое предназначение, не теряя из виду опыт европейской цивилизации, уроки всего рода человеческого. «Христианский философ» охотно отдает должное просветительству: «научимся жить разумно в эмпирической действительности». Но разум он хочет подкрепить «вечной божественной силой». Только с ее помощью есть надежда найти выход из тех противоречий, которые открываются мыслителю, столкнувшему лицом к лицу Россию и Запад.

Противоречия в размышлениях Чаадаева, конечно, есть. И едва ли не самое серьезное из них — в контрасте религиозно-метафизической схемы мирового исторического процесса и знания жизни. Однако это не только чаадаевские противоречия. Это противоречия русской общественной мысли XIX века, связавшей собственные искания будущности с западным «прогрессом» и ясно осознавшей вместе с тем, что история России требует, говоря словами Пушкина, «другой мысли, другой формулы» (Собр. соч. в 10-ти тт. М., 1962, т. 6, с. 324). Но вот какой мысли, и возможны ли тут формулы? — напрашивается вопрос.

Аргументы в пользу цивилизующей роли верований, покоящихся на вековом нравственном опыте народов, составляют сильную и примечательную сторону философии П. Я. Чаадаева. Эти аргументы созвучны современному пониманию того, что во все исторические эпохи люди сталкиваются с проблемой поддержания всеобщих социально-этических ценностей, обусловленных необходимостью *самосохранения* народов, обществ, всего рода человеческого. Эту тему самосохранения Чаадаев намечает самобытно и прозорливо в нескольких своих сочинениях, например, в «Отрывках».

Наряду с философскими попытками начертить универсальный образ русской судьбы Чаадаев неоднократно берется судить о живых общественных явлениях, откликается на потребности исторической минуты. В такие моменты его философия проходит полную проверку жизнью, набирает практический вес. В сочинениях Чаадаева рассыпано множество суждений о России и ключевых эпохах русской истории. Сегодняшний историк должен был бы составить длинный комментарий к каждому из этих мнений Чаадаева, проверить его суммарные выводы и с фактической, и с методологической сторон. Однако какой бы фрагмент исторических размышлений автора мы ни взяли, везде внутренней связующей нитью так или иначе окажется тема патриотизма. Чаадаев возвращался к ней постоянно. А ведь именно его патриотические чувства были подвергнуты сомнению! Размышление о патриотизме истинном и мнимом положено в основу «Апологии сумасшедшего», написанной ради оправдания и вместе с тем — дополнения к «Философическому письму». Впоследствии осмысление сути патриотизма займет ведущее место и в произведениях, посвященных анализу славянофильской доктрины.

Патриотическое кредо Чаадаева выражено ярко и уверенно, оно нацелено против узкого, слепого, обывательского взгляда. Он поборник патриотизма, объединяющего любовь к родине с любовью к истине, ему претит недалекий национализм. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной».

Поздний Чаадаев все более твердо выступает против духовной инертности, националистических предрассудков и политической близорукости. Он меньше апеллирует к божественному провидению и бесконечному прогрессу, но настойчиво требует строгого и трезвого мышления о жизни, «искреннего уразумения нашей истории». Показательно его напоминание о Карамзине: «Как здраво, как толково любил он свое отечество!» Чаадаев вникает в причины неудовлетворительного состояния общественных дел. «Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии»,— настаивает он не без надежды, что Россия приобретет именно такой (а не наивно-западнический или наивно-славянофильский) «почин». Чаадаев обнаруживает — в тенденции — движение от спекулятивно-критического толкования русской идеи к всестороннему познанию русской действительности.

Мощным аккордом, свидетельствующим о духовной зрелости позднего Чаадаева, звучит статья, написанная 15 января 1854 года под влиянием впечатлений Крымской войны. Тут достаточно ясно соотнесены философская тема русской «национальной сущности» и анализ текущей политики правительства; еще раз твердо оценены «ретроспективные» утопии новой национальной школы; конкретизированы понятия о роли элементов религиозного, бытового и географического. Если в религии Чаадаев

выступает против непримиримости исповеданий и дробления первоначальных христианских идеалов, более объективно сравнивает православие и католичество, то в политической географии он осознает опасность для русской жизни и культуры одибокого стремления вовне, вширь. Чаадаев как бы перефразирует здесь — быть может, бессознательно — мысль, корни которой восходят к идеям «Слова о полку Игореве». А именно — мысль о том,что подлинное благо русской земли — в сплочении ее внутренних сил, мудром и своевременном разрешении прежде всего внутренних вопросов. Вновь Чаадаев выдвигает требование глубоко познавать русскую действительность, ибо теперь «незнакомство с Россией становится угрозой для нашей безопасности».

В начале пути Чаадаев-мыслитель взял высокую проповедническую ноту. Эмпирическая жизнь явилась трудным испытанием для него, духовные искания были полны сомнений и колебаний. В письме к М. Ф. Орлову он вспоминает о своих надеждах на то, что «России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства», и горько восклицает: «Химеры, мой друг, химеры все это!» Поздний Чаадаев постепенно освобождался, как мы видели, от умозрительных «химер», но продолжал проповедовать принципы мудрости, справедливости и здравого смысла, шел навстречу жизни, хотя порой ему хотелось от нее бежать.

В одном из поздних писем он так формулирует свою человеческую позицию: «Умеренность, терпимость и любовь -ко всему доброму, умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось, вот мое исповедание...» Невольно задумаешься: не слишком ли умеренно и скромно это исповедание опального в прошлом философа, не угас ли возвышенный пафос его размышлений? Что ж, пожалуй, мы вправе сказать, что с возрастом Чаадаев стал строже в мыслях. С другой стороны, он отсеял из опыта жизни то вечное, прочное, на чем держится вера в себя и людей. Но обдумывая символ веры Чаадаева, необходимо помнить: никогда, даже в пору религиозно-метафизического экстаза, он не замыкался на односложных выводах, более всего ценил способность следовать голосу разума, овладевать его бесконечным пространством.

Александр Панков



Советуем прочитать

Сергей Есин. Константин Петрович. Роман. М., Советский писатель, 1987.

«Для нас Финляндия навсегда связана с биографией В. И. Ленина. Мы всегда будем признательны финляндским демократам, которые помогли уберечь нашего вождя и от царской охранки, и от ищеек Временного правительства». Эти слова М. С. Горбачева, сказанные уже после выхода книги С. Н. Есина, могли бы предварить повествование о том периоде в жизни Ильича, когда в канун Октября ему довелось жить и работать в Финляндии. Этот роман о том, как соратники Константина Петровича (псевдоним Ленина), по словам автора, на неделю, на день — иногда всего на несколько часов — «выходили к рампе мировой революции», соприкасаясь с судьбой Ильича, стремясь содействовать его многотрудной работе. Ленину в Финляндии помогали не только профессиональные революционеры: машинист и «барышня-конторщица», артист и рабочий-металлист, крестьянин и парламентарий, даже полицмейстер Гельсингфорса — все они пронесли через оставшуюся жизнь воспоминания о встрече с вождем русской революции.

Все запомнит только история. Эти слова сказаны автором не в оправдание художественного вымысла, право на который сохраняет любой писатель. Обобщив то, что написано в мемуарах и бережно хранится в музейных архивах, С. Н. Есин воссоздал один из значительных эпизодов истории.

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Поэмы. Литературные и житейские воспоминания. Переводы из Г. Флобера. Примечания Л. Сарбаш, Л. Лотман. М., Правда, 1987.

В конце XX века, когда средства массовой информации насаждают штампы и клише, портя литературный язык, перечитать Тургенева — огромное счастье. Но не только об этом хочется сказать.

Как не умилиться темпам журнально-издательской деятельности 1843 года, прочитав: «Когда появилась моя небольшая поэма «Параша»... я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых) и, не назвавшись, оставил его человеку один экземпляр. В деревне я провел около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных записок», прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме». Вот это сроки, вот это забота о молодых дарованиях!

Классики всегда современны... «Наступили новые времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военным — почти всегда инвалиды — и благо тем, которые вовремя умеют сами подать в отставку». 1869 год — «По поводу «Отцов и детей».

Владимир Солоухин. Похороны Степаниды Ивановны. Рассказ. Новый мир, № 9, 1987.

Острой болью, горестным чувством, смешанным с недоумением, сходным с шукшинским: «что с нами происходит?», проинзан рассказ Вл. Солоухина, написанный в 1967 году. Автор пишет о похоронах матери — тяжелейшем для каждого человека горе — и о том, как казенщина, бюрократизм, коснувшиеся неизбежно и дел кладбищенских, отравили последние минуты прощанья, вызвали горькие размышления о нравственности, морали, человеческих качествах тех, кто по должности своей связан со скорбным ритуалом, но — увы — способен превратить его в безобразный фарс, «процедуру». Гневные, пронизанные горечью и мукой страницы...

Майя Туровская. Памяти текущего мгновения. Очерки, портреты, заметки. М., Советский писатель, 1987.

Во вступительном слове М. И. Туровская, видный театральный и кинокритик, сообщает, что в ее книге собраны работы за последние десять — пятнадцать лет. Это и размышления о месте творений Шекспира в нашей жизни, и о проблемах экранизации литературных произведений, и о том, что такое «женский фильм». В книге М. Туровской соседствуют классика и современность — русская и зарубежная, имена Чехова и Шекспира рядом с именами А. Володина, А. Вампилова, Л. Петрушевской, В. Высоцкого. Анализируя явления в театральном и киноискусстве последнего времени, автор опирается не только и не столько на сиюминутные ощущения искушенного зрителя, но на широкое знание исторического и искусствоведческого материала. Многие статьи дополнены новейшим авторским комментарием под заголовком «Из ненаписанного». Здесь не только то, что было, вероятно, в свое время из редакционных соображений «сокращено», но и свидетельства кропотливой черновой работы критика, широко эрудированного в своей области.

В. Н. Ягодинский. Александр Леонидович Чижевский, 1897—1964. М., Наука, 1987.

«Моя стихия — великое беспокойство, вечное волнение, вечная тревога...» Один из виднейших советских ученых, профессор А. Л. Чижевский имел право в столь возвышенно метафоричной форме изложить свое жизненное кредо. Интерес ко всему окружающему, аналитический склад ума в сочетании с широчайшей научной эрудицией позволили ему оставить заметный след и в физике, и в астрономии, и в математи-

ке, и в медицине. Нелегко даже перечислить все области науки, в связи с которыми упоминание этого имени неизменно сопровождается словом «впервые». Современники называли его человеком, опережающим время: Чижевский — один из основателей космической биологии, автор теории солнечно-биосферных связей, поборник применения аэроионификации в народном хозяйстве, создатель математической модели кровообращения... И еще — автор стихов, участник первой мировой войны, сподвижник великого Циолковского.

В. Ходасевич. Державин. Фрагменты книги. Наука и жизнь, №№ 9—10, 1987.

Современному читателю книга эта пока неизвестна. Но она не может не привлечь внимания и к автору, Владиславу Ходасевичу (1886—1939), стихи и проза которого после долгих лет забвения появились в общественно-политических и литературно-художественных журналах, и к его герою, Гавриилу Романовичу Державину (1743—1816),— человеку трудного характера и поразительной судьбы. Солдат и сенатор, губернатор и подследственный времен Екатерины, автор высокопарных од и простодушных виршей, прославляющих обыкновенные человеческие радости, предстает в труде Ходасевича личностью живой и достоверной. Не принадлежа к передовым мыслителям своего времени, убежденным в необходимости уничтожения самодержавия, Державин был, однако, сторонником неукоснительного соблюдения законов — всеми, от мала до велика. Основу книги Вл. Ходасевича, которого Максим Горький считал «...большим строгим талантом», а Андрей Белый называл поэтом «божией милостью», и составляет трагическая борьба Державина с произволом, мздоимством, леностью — безнравственностью во всех ее проявлениях. Этой борьбе Державин отдал лиру и жизнь.

Я. Симкин. Семь лет из жизни Чехова. (1898—1904). Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1987.

Автор сконцентрировал внимание на последних годах жизни Чехова. Несмотря на болезнь, все сильнее сковывавшую его свободу и заставившую поселиться в Крыму, писатель продолжает самозабвенно работать: готовит к изданию собрание сочинений, пишет «Вишневый сад» и «Три сестры». И еще — сотни писем, в которых рассуждает о творчестве, любви, философии, театре, садоводстве... 2065 таких посланий создано Чеховым в последние годы жизни. Большинство из них не просто бытовые зарисовки с неизменным чеховским юмором, а серьезные размышления, изложение взглядов, в определенном смысле итожащих недолгую, но яркую жизнь писателя. В основе книги Я. Симкина не только эти письма, но и десятки архивных документов, свидетельств и воспоминаний современников, многие из которых впервые разысканы исследователем.



Адрес редакции: 103863, ГСП. Москва, Тверской бульвар, 25.
Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — 202-04-49, секретариат и заместители главного редактора — 202-30-29 и 202-73-10, отдел прозы — 202-71-97, отдел публицистики — 291-04-43, отдел критики и библиографии — 202-67-79, отдел поэзии — 202-98-80.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 05.11.87. Подписано к печати 03.12.87. А 07800. Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Учетно-изд. л. 23,27. Усл. кр.-отт. 21,17. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1567.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.